

# ВРЕМЯ ШМБТ 65 1989



*Раиса Берг*

Палачи и рыцари советской науки



*Лев Семенович Берг*

## В ЭТОМ НОМЕРЕ:

- РОМАН И.ЕФИМОВА  
АРХИВЫ СТРАШНОГО СУДА
- ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ  
МУДРЕЦОВ
- ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКАН-  
СКОЙ ГЛУБИНКИ
- НУЖНА ЛИ НАМ ВООБЩЕ  
ДЕМОКРАТИЯ?

# **ВРЕМЯ И МЫ**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ  
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ПРОБЛЕМ**

*Восьмой год издания*

**Выходит один раз в месяц**

---

**65  
1982**

**МАРТ-АПРЕЛЬ**

**НЬЮ-ЙОРК-ТЕЛЬ-АВИВ-ПАРИЖ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1982**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	КАРЛ ПРОФФЕР
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
МИХАИЛ КАЛИК	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АСЯ КУНИК	ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)
ЛЕВ ЛАРСКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман  
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд  
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX  
FRANCE

Представители журнала:

Англия Александр Штрмас  
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,  
Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND

Канада Юрий Лурьи  
305 Robson Hali Winnipeg, Manitoba Canada R3T 2N2  
t. (204) 474 9773

Западный Юесва Мисхижев  
Берлин Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Игорь ЕФИМОВ  
Архивы страшного суда . . . . . 5

### ПОЭЗИЯ

Марина ГЛАЗОВА  
Холодно розе в снегу. . . . . 90  
Элий ВАЙНЕРМАН  
Перекинь дорог. . . . . 96

### ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Борис ШРАГИН  
Авторитарные личности. . . . . 104  
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН  
Шестой конец красной звезды. . . . . 114  
Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ  
И вохровцы и зэки . . . . . 144

### ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Раиса БЕРГ  
Палачи и рыцари советской науки. . . . . 160  
Б.ШОССЕТ  
Эта прекрасная пресная жизнь. . . . . 232

### ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Шесть упитанностей шаблона. . . . . 245



*Игорь Ефимов*

## **АРХИВЫ СТРАШНОГО СУДА**

### **АВГУСТ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ВЕНА**

1

В последний раз упорная продавщица прокатила свою позвякивающую этажерку с напитками и закусками уже всего лишь за полчаса до Вены. Устало улыбаясь, она тянула ее по проходу вагона, медленно, как соблазнительную блесну, перед сонно-рыбными глазами пассажиров, и Цимкер не выдержал: купил сэндвич, банан, а потом и маленькую бутылочку виски, а к ней и жестянку клаб-соды. Стоило потерпеть еще немного, и тогда уж можно было бы вознаградить себя за утомительное путешествие нормальным обедом в ресторанчике на Шоттенпринге. Но нельзя же все делать только разумно, правильно и занудно! Нужны и спонтанные поступки, и взрывы страстей, нужно дать волю инстинктам. Потекла слюна на сэндвич — значит, тут же хватай его и ешь, и запивай виски с содой. А нормальные обеды будут у тебя потом всю неделю. И хватит об этом!

Вокзал Зюдбанхоф имел прямой спуск в метро, так что можно было не выходить на улицу, под все еще горячее солн-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

це. Окутавшись собственным грохотом поезд подземки нырнул в туннель, но Цимкер хорошо уже изучил эту ветку — держал темные очки наготове и тут же надел их, когда вагончики вылетели на поверхность.

С удовольствием перебирая в памяти эпизоды прошедшей поездки, он еще раз, пункт за пунктом, проверял, не допустили ли они с Маричком какого-нибудь нарушения, за которое Сильвана могла бы попрекнуть его потом. Но нет, кажется, все было по правилам. Встретились в Женеве, порознь купили билеты на прогулочный пароходик, там же обо всем переговорили, привалясь к перилам, любясь перевернутыми в воде горами. О, издевались, конечно, смеялись сами над собой всласть, над всеми этими детективно-шпионскими трюками и предосторожностями, а соблюдали. Ни о расположении лаборатории Маричек ни разу не проговорился, ни даже, в каком городе, ни сколько народа у него теперь работает, ни до какого этапа дошли. Отчет передал, как и положено, в плотно заклеенном конверте (а что если там просто старые газеты? что с вами тогда сделают, Аарон?), а адрес Фонда в Риме (номер почтового ящика) Цимкер надписал уже потом, оставшись один, прямо на почте — и тут же сдал клерку.

И все же главного Маричек скрыть не мог. Сиял. Не было сомнения — у него пошло. Цимкеру не нужно было знать ни деталей, ни главной идеи, ни принципов, которые применял этот вундеркинд, выброшенный рьяно-расточительной Москвой, — довольно было вспомнить, куда он метил, чтобы ладони, принимавшие пакет с отчетом, взмокли от пота.

Год назад это был всего лишь десяток машинописных листов: "Об использовании радиоактивных элементов для увеличения электроемкости конденсаторов". Недостающие в пишущей машинке, вписанные от руки буквы торчали, как вставные зубы, и все выглядело так безнадежно заурядно, что не всякий бы на месте Цимкера сумел тут же протянуть эту цепочку: конденсаторы — электробатареи — аккумуляторы в автомобиле — электромобиль — безбензиномобиль! И вот уже трещит, рушится свирепая, нежданная, долларово-нефтяная арабская мощь! Уже через пятнадцать минут разговора ему стало ясно, что и тонкошейей эмигрант, подобранный им в ХИАСе, эту цепочку крепко держит в голове и весь загорается даже при намеке на то, куда, к какому "сезаму"

она может привести. И вот теперь, над рябью Женевского озера, он явно не в силах был скрыть, что идет, движется, срабатывает, получается.

А таких мальчиков у Цимкера теперь по всей Европе и в Израиле было уже пятеро. И четверо из них занимались чем-то близким: искусственное топливо из мусора, электроплазменный двигатель (двое), новый тип солнечных батарей.

Ведь у кого-то, хотя бы у одного, должно было получиться! И если бы получилось всерьез, если бы удалось найти замену вонючей бесцветной жидкости и рухнул бы висящий над миром нефтяной шантаж, — о, тогда бы в очередной приезд в Хайфу он позволил бы себе нарушить кое-какие запреты Фонда, хоть что-нибудь да порассказать за семейным столом о том, какими путями и чьими руками и чьей головой все это делалось.

В цепочку ларьков, окружавших выход из метро на набережную, затесался новый стенд с журналами самого узкого направления, и глянцевоцветистые вариации на темы женской анатомии так отвлекли Цимкера, что он запнулся, пошел было не в ту сторону и вдруг сделал то, чего не делал уже много лет: купил для приезжавшей назавтра Сильваны букет гладиолусов.

Штурвал и морские флаги в окне кафе, марципановые клумбы на тортах, заходящее солнце прихватывает только рубку ползущего вверх по каналу кораблика, выпитое виски приятно кружит голову, и возникает странное, полузабытое чувство: вернулся домой. Трамваи задевают отросшую за лето бульварную листву, вспархивает и опадает бахрома поло-сатых тентов, голуби с чиновной деловитостью снова и снова пересчитывают сомнительные пятна на тротуаре. Араб-газетчик пытается объяснить что-то сидящему в машине туристу, а тот, высунувшись из окна чуть не по пояс и хлопая белобрысыми ресницами тычет пальцем то в карту, то в сторону подсвеченных домов за каналом. Араб прижимает газеты к груди, мотает головой, показывает обратно — турист не верит. Араб заводит глаза к небу, призывает Аллаха в свидетели, не дождавшись ответа, глядит по сторонам, замечает Цимкера и радостно машет: сюда, сюда, на помощь. Еще один турист тоже с картой и тоже со своим мнением — вылезает из машины, тоже расчерчивает воздух ладонью.

— Аэродром!.. Я показываю им ехать аэродром... Верить хотят нет, — изумляется араб.

Снисходительно улыбаясь, Цимкер подходит, засовывает гладиолусы под мышку, наклоняется над картой и в ту же секунду понимает, что случилось что-то невообразимо страшное, позорно безнадежное, непоправимое. Однако победные мечты, виски, приезжающая Сильвана так полно еще владеют душой, так наглухо отключают спасительный радар, что поднимающемуся из живота лезвию страха не по силам пробиться сквозь них, не по силам заставить тело рвануться, броситься в сторону, бежать, петляя, вдоль улицы. Он только смотрит онемело на торчащее из-под края карты дуло пистолета, поддается подталкивающим в спину рукам, покорно наклоняет голову, влезает на заднее сиденье.

Машина дождалась зеленого света, влилась в общий поток.

Араб как ни в чем не бывало пошел навстречу движению, помахивая газетами, сияя оранжевым жилетом.

Белобрысый водитель поднял стекло, включил кондиционер.

Двое сидевших на заднем сидении крепко держали Цимкера за локти. Дуло пистолета больно надавливало на печень.

На их лица он взглянуть не решался. В голове в разных комбинациях и с разной скоростью проносились только две фразы: "Так вот как это бывает..." и "Глупее нельзя было... глупее нельзя было попасться". То, что он не кинулся бежать в первую же секунду, наполняло стыдом, чувством поражения, парализующим "сам виноват". Во время остановок у светофоров он близко-близко видел людей в соседних машинах. Ему показалось, что одна пожилая дама смотрит на него с тревожным недоумением, но крикнуть он не решился.

"Ничего, ничего... Им что-то нужно от меня — значит, не все потеряно... Мы будем говорить, торговаться... Бывают случаи, что заложников отпускают... Возможно, придется сделать какое-нибудь заявление для газет... Или рассказать им про Фонд. Главное тут — не выкладывать все сразу, всегда оставлять что-то про запас".

Проехали мимо здания полицейского управления, свернули на мост. На другом берегу канала машина вырвалась из потока, пошла быстрее. Еще минут десять ехали в молчании,

пока не пересекли мост через Дунай, не добрались до загородного шоссе.

— Теперь уже, наверное, можно, — сказал водитель по-немецки. — А то ничего не успеем.

— Давно можно. Всегда можно, — сказал сидевший слева.

Он ухватил Цимкера за ворот рубашки, за галстук, рванул, опрокинул навзничь — сначала себе на колени, потом запихнул на пол, в проход. Цимкер попытался было стиснуть зубы, увернуться от резинового мячика, заталкиваемого ему в рот, но получил такой удар в пах, что захлебнулся, выгнулся, обмяк, послушно закусил кляп, дал завязать тесемки.

Теперь он видел их лица: один был то ли турок, то ли пакистанец, второй — явный итальянец, классический тип южанина — Калабрия, Сицилия. И еще он видел, что они что-то собрались делать с его левой рукой: надели наручник, пристегнули к спинке сидения, просунули пальцы в какое-то железное устройство.

Итальянец тем временем связывал ему ноги резиновым шлангом.

За секунду до того, как боль хлынула в руку, Цимкер понял, что это было за устройство: обыкновенные ручные тисочки, заурядный слесарный инструмент, каждый механик в его гараже имел такой. Две стальные планки, стягиваемые вместе поворотом винта. Спოდручно удерживать свариваемые детали, прижимать резиновую заплату к заклеиваемой шине, осторожно сплющивать концы медных трубок.

Сплющивать...

Он замычал, рванулся, стал биться головой в узком пространстве. Боль шла рывками, все острее и выше по тону, словно подсакивая сразу на несколько нот с каждым поворотом винта. Зачем, за что? Если им что-то нужно от него, почему они не начали с расспросов? Может быть, он смог бы сразу ответить, уступить их требованиям, не доводить до этого?

Турок ухватил его одной рукой за волосы, другой придавил к полу. За винт взялся итальянец. Боль неслась по руке, как вода в половодье, переполняла ее, выплескивалась в голову и грудь. Что он такое читал о спасительных обмороках, о потере сознания от боли? Казалось, все возможные пределы невыносимого уже перейдены, но мозг упорно отказывался отключаться, метался в поисках выхода.

Вдруг он ясно-ясно понял, что выхода не будет. Что, наверно, поэтому он инстинктивно так боялся взглянуть на их лица. А теперь, когда он уже видел их, они не дадут ему уйти живым. Ни за что. Значит, теперь будет только боль, боль, очень много боли, а потом — смерть.

Ему казалось, что мычание его давно перекрыло шум мотора, что оно должно разноситься далеко, как вой сирены. Ни сухожилий, ни кровеносных сосудов, ни костей не должно было уже оставаться между сходящимися стальными челюстями — одни лишь тонюсенькие белорозовые нервы, сдавленные до толщины бумаги. Но и в таком сплюсненном виде они сохраняли свою адскую способность заполнять болью все остальное тело, пронзать захлебывающиеся легкие, выдавливать глаза из орбит.

Ему вдруг страстно захотелось говорить с этими людьми. Нет, не для того, чтобы вымолить спасение — спасения не было, это он видел ясно. Но говорить, говорить! Чтобы в этом, так стремительно сжавшемся пространстве его жизни, сжавшемся до нескольких минут, может быть до получаса, было хоть что-то, кроме боли. О, он скажет им все — все, что они захотят узнать. Какое значение могли иметь теперь Маричек с его изобретениями, все секреты Фонда, приезжающая Сильвана, арабская нефть, израильская родня, племянники в солдатской форме. Все это вдруг унеслось бесконечно далеко, в прошлую, в прожитую жизнь. А все, что осталось, — пробежать оставшийся крошечный кусочек, оставленный ему, как необитаемый островок с раскаленным, жгучим песком. И ни одного живого существа. Только эти трое — самые главные теперь, самые близкие, заполнившие вдруг всю жизнь, сколько бы ее ни осталось.

Итальянец всмотрелся в его выпученные, слезящиеся глаза, что-то, видимо, понял и постучал в спину водителя.

— Герр доктор! Похоже, больной хочет что-то сказать нам.

Только тут спасительные шторы сработали, наконец, задержались, и Цимкер провалился в глубокий обморок.

## 2

Как проснувшийся человек первым делом кидается мыслями к самому важному, что он оставил перед сном, так Цимкер первым делом кинулся к боли. Боль была все там же, но

все же не хлестала с такой силой, текла вязко и густо, через локоть, плечо и шею — не дальше. Он увидел свою прикованную руку, посиневшие, торчащие из ослабленного зажима пальцы, кровь, сочащуюся из-под ногтей, струйками стекающую под наручник, на манжет рубашки, и поспешно отвел глаза.

Машина стояла под кустами, на обочине сельской дороги. Солнце уже зашло, но каменный амбар на другом конце поля был виден отчетливо, каждый гранитный валун в кладке очерчен известковым контуром.

Водитель, сидя в полоборота, листал записную книжку Цимкера, проглядывал бумажник.

— Что-то я не нахожу того, что нам нужно, господин Цимкер. Каракули у вас просто невообразимые. Не поможете ли? Итальянец развязал тесемки кляпа, выдернул мячик из стиснутых зубов.

— Я не знаю... Что вы хотите... Я очень маленький человек... Вряд ли от меня вам будет толк... Но все, что могу, конечно...

Онемевшие губы не слушались, язык тоже с трудом укладывал звуки в слова.

— Мы никак не можем встретиться с синьором Умберто. Он такой нелюдим. И со странностями. Никогда не дает своего адреса в телефонные справочники. А у нас очень заманчивое предложение для него. Очень, очень заманчивое.

— О, синьор Умберто... Вот кто вам нужен, понимаю... Действительно, он крайне замкнут... трудно доступен... Я и сам никогда не видел синьора Умбрето... Даже по телефону не говорил с ним... Знаю только понаслышке... Клянусь! — закричал Цимкер, видя, что водитель берется за рукоятку винта. — Я могу послужить посредником! Могу написать ему... Нет, не домой, конечно, никто не знает, где он живет, а на адрес Фонда... Знаю номер почтового ящика в Риме... Ему передадут... Так всегда у нас делается...

— Ну вот, как удачно. А говорили "маленький человек". Номер почтового ящика — это уже кое-что. Видишь, Кемаль, с герром Цимкером можно вести дела. Можно и нужно. Что еще вы можете рассказать о Фонде?

— Ну, вы же, наверно, знаете... Финансирование научных исследований... Главным образом таких, которые могут иметь промышленное применение... С тем, чтобы первыми

выйти на рынок... Риск, конечно, но Фонд считает, что оправданный... Одна удача может оправдать расходы на десять неудач...

Да, никто больше не поддерживает науку бескорыстно, никто. Всюду правит чистоган. Капитализм загнивает и смердит все пуще. Но все же непонятно, зачем такая секретность? Зачем все эти трюки, зачем подражать Джемсу Бонду, мистеру Смайли, Эркюлю Пуаро?

— Возможно, опасаются кражи технических секретов... Промышленный шпионаж теперь так развит... Фирмы охотятся... Меня, конечно, во все это не посвящают, это только мoidsгадки...

— Догадки нам не нужны. Расскажите лучше о себе. В чем состоят ваши обязанности? Кто отдает распоряжения? Куда вы переводите деньги?

— Я не знаю адресов... Только номера банковских счетов... И телефоны... Но все это у меня в конторе, в записной книжке ничего нет... Мы можем поехать туда, там вы найдете то, что нужно...

— В конторе вашей мы уже побывали. Остались очень недовольны приемом. Стальная дверь с сигнальной сиреной — это уже говорит о скверном характере хозяина. Но подключать к ней еще электрошоковое устройство — это просто антигуманно. Кемаль до сих пор не может опрaвиться. Правда, Кемаль?

— Долго все получается, камрад, — сказал турок. — Так долго нельзя. Пусть еврей поговорит, поговорит, а мы потом сразу будем ехать. Еврей говорит быстро, что знает, а мы едем скоро-скоро.

— Я знаю один телефон на память: 899-4437. Это в Испании, где-то под Барселоной. Я перевел туда недавно 50 тысяч немецких марок.

Водитель, записывая, одобрительно кивал, что-то жирно подчеркивал.

— Пятьдесят тысяч? Фонд так щедр? Почему я не пошел в науку? Или ты, Кемаль? И работа была бы чище, и деньги, и женщины бы нас больше ценили. И с Интерполом отношения были бы самые дружеские — не то что теперь. Но все же, чем занимаются все эти лаборатории? Хотя бы те, что поручены вам? Ну-ну, не надо хитрить, герр Цимкер, не надо бегать глазами... А то Джино снова возьмется за винт, он по профессии

механик, они, знаете, любят все закручивать до упора, чтоб было надежно... А ведь в этом нет нужды... Солнечными батареями, говорите вы? Новыми системами аккумуляторов? Плазменными двигателями? Вот куда вы клоните! Обычный честный автомобиль вас уже не устраивает? Хочется как-то обойтись без бензина. Выбросить всех этих диких арабов прочь из цивилизованного мира, где им не место. Обратнo в пустыню, к верблюдам! Они пасут овец и коз, мы пасем их. Пролетаем над головами в солнечно-плазменных самолетах и время от времени поливаем напалмом... Ну хорошо, допустим, вы не знаете адресов, не помните телефонов. Но имено-то? Вот вы звоните им по телефону. Не говорите же: "Здравствуй, икс-джей-сорок восемь". Джино, я читаю в твоих глазах такое недоверие, что разрешаю тебе два поворота... Не надо так вопить, герр Цимкер, все равно никто не услышит... А я не могу разобрать имен. Давайте-ка по буквам.

По раскаленному песку острова только так и можно было бежать: ни на секунду не задерживаясь, не задумываясь, прыгая от признания к признанию, от имени к имени, думая только о том, сколько еще осталось впереди, задыхаясь от боли и начиная всем сердцем любить неумолимо приближающийся финиш, избавление, конец, исход.

— Ну, а когда звонят из Рима? Отдают распоряжения, проверяют, сообщаются инструкции? Тоже ведь не робот, не кукла. Секретарша или менеджер говорит: "Доброе утро, синьор Цимкер". А вы: "Доброе утро..." — кто?

— Ее... его зовут Сильвио... Сильвио Фастанелли... Нет, кажется, Кастанелли...

— Он опять врет.

— Упрямый все же.

— Дай-ка сюда зажим.

— Нет, немного жди. Я буду расстегивать его штаны.

— Да уж, это вернее. Пальцы — это ничто. С пальцами расстаться не страшно.

Теперь было: будто добежал, подвывая, до поворота и увидел, что за ним не конец и даже не раскаленный песок, а расплавленная лава боли. Брошенный снова навзничь, ослепший от ужаса, он не помня себя вопил о самом сокровенном.

— Рувим!.. Я скажу вам все... Самое главное... Он не племянник мне... Он мой сын... Об этом никто не знает... Мы пря-

тались с сестрой от обстрела... Она прижималась ко мне от страха... Ничего не осталось, только смерть... Мы не помнили себя... Через месяц она вышла замуж... Никто не узнал... Он похож, но ведь это нормально... Дядя и племянник... На фотографии он крайний слева...

Они смеялись.

То есть так ему виделось в просветы между облаками страха и боли, наплывающими на сознание, — что они сидят и смеются. Белобрысый немец, — задрал лицо кверху, турок и итальянец, — подмигивая друг другу, похлопывая по плечам.

Потом был провал, какая-то полоса неясной тревоги.

И вот он снова сидит, прислоненный к кожаной подушке, тупо смотрит вперед. В сумерках видна уходящая по склону вверх дорога, и там, где она переваливает через холм, на фоне светло-зеленого неба возникает что-то медленно движущееся, грибовидно вырастающее, обретающее потом не одну, а сразу две ножки.

Да, это автомобиль, понимает Цимкер.

Автомобиль — это очень плохо. Потому что теперь эти трое будут пережидать, пока он проедет. А значит, мучительный бег к концу окажется еще длиннее.

Автомобиль переваливает через гребень, медленно катится вниз. Это автофургончик. Местные фермеры развозят в таких молоко. Он движется как-то неровно, то сползая на левую половину дороги, то кидаясь в противоположную сторону, чуть ли не в канаву. Похоже, что водитель пьян. Или какая-то неисправность в руле. Не доезжая до них метров тридцать, фургончик выплевывает из мотора сгусток черного дыма и застывает на обочине.

Две женщины в монашеских рясах выпрыгивают из него на дорогу и неуклюже бегут вперед.

Брошенный тарантас продолжает дымить, а монашки то зажимают уши, то оглядываются, пока одна — та, что постарше и погрузнее, — не падает, запутавшись в рясе.

Трое в машине с облегчением смеются, засовывают в карманы извлеченные было револьверы. А до Цимкера вдруг доходит: не может быть, чтобы такой нелепый эпизод был случайно врезан в его жизнь в такую минуту. Несомненно это Бог — забытый им, отвергнутый, необъяснимый еврейский Бог протягивает длань и подает знак. И знак этот имеет один

лишь смысл, одно значение: Он не хочет, чтобы песчинка избранного народа Аарон Цимкер исчезла из жизни, не сказав Ему прощального слова. В страшный смертный час своими неисповедимыми путями, он выкраивает ему эту краткую передышку — несколько минут для молитвы.

"О, Создатель покоя, Властитель вселенной, — забормотал Цимкер. — Просвети наши глаза, чтобы они увидели Твою направляющую силу во всей природе... От самых дальних звезд до самых наших потаенных мыслей".

Затянутые пятидесятилетней паутиной ящички памяти открывались с трудом, но уложенные в них с детства словесные кружева оказывались неповрежденными, выползали сплошной лентой.

"Внуши нашим сердцам любовь к Тебе и сделай Твою волю законом нашей жизни. Будь с нами, чтобы утешить нас в печали, укрепить наши силы в испытаниях, дать нам мужество служить Тебе на всех путях наших. Пусть слова наших молитв, произносимых и безмолвных, объединят нас в любви к имени Твоему, о Господи, наш Создатель и Избавитель... Мы благодарим тебя, о Боже..."

— Заткнитесь, Цимкер, — сказал водитель. — Не мешайте говорить с дамами.

— Пусть и он говорит, — хихикнул Джино. — Он у нас специалист по сестричкам.

Молодая добежала первой. Водитель, опуская стекло, сочувственно ахал и качал головой. Жесткие крылья накрахмаленного чепца закрыли почти все окно. Цимкер беззвучно читал молитву, уронив голову на плечо. Мысль о том, что эти монахини могли бы как-то помочь ему, позвонить в полицию, мелькнула в просвете черного предсмертного облака, но сразу пропала. Вернее, закрылась тенью любопытства: убьют их вместе с ним (заодно, на всякий случай, просто от кровавого зуда) или дадут уехать?

— Мы можем заплатить, господа. Если нам помогут, мы можем сразу заплатить, — повторяла монахиня, обегая тревожным взглядом лица сидевших в машине.

— Конечно... Рука помощи ближнему... Божья заповедь... Джино у нас лучший специалист по моторам... Никогда не оставит женщин в беде... Особенно христовых невест... Правда, сейчас он занят. Тоже очень благородным и богоугодным делом...

— Мы можем заплатить... Возможно, там просто перегрелась вода в радиаторе. Скажите вашу цену, и мы сразу же заплатим, — твердила монахиня, роясь в складках рясы.

Она извлекла оттуда что-то похожее на старинный кисет с деньгами и положила его на колени водителю. Потом достала второй и бросила его сидящим сзади.

Была секундная пауза, недоумение...

Затем ударил взрыв.

Вернее, два взрыва, но так близко друг к другу, что слились в один.

Цимкеру показалось, будто огромная резиновая лапа хлестнула его по груди и лицу, ослепила, прижала, распластала, вдавила в сиденье. Полуоглушенный, он судорожно дергал головой, закидывая ее назад, пока не высвободил лицо из-под залепляющей его резины, не набрал воздуха в легкие.

Все остальное тело оставалось туго спеленутым. В ушах больно звенело. Справа и слева от него слабо дергались его разноплеменные мучители, прижатые той же неведомой силой. Он видел перед собой зеленовато-блестящую поверхность, овално упершуюся в потолок. Казалось, гигантский аэростат по ошибке попытался раздуться внутри автомобиля и застыл, заполнив все доступное пространство.

Запрокинув голову для очередного вздоха, Цимкер рассмотрел в заднем стекле перевернутый и четкий на зеленеющем небе силуэт второй монахини с молитвенно протянутыми вперед руками. Потом снова грохнуло, но не так громко, как в первый раз. Протянутые руки подскочили, словно кто-то поддал их снизу.

Он поспешно сжал веки, спасая глаза от полетевшей в лицо стеклянной пыли.

Грохнуло еще несколько раз, и давящая на грудь тяжесть стала спадать.

Не было больше дерганья ни справа, ни слева.

Тихо свистел вытекающий из пробитого аэростата воздух. Турок валился вперед вместе с опадающей резиной. Итальянец окровавленной головой сползал Цимкеру на колени. Водителя не было видно — только рука, зацепившаяся за руль.

Открылась дверца.

Оглушенный Цимкер вглядывался в придвинутое к нему лицо (чепец свалился, и в приоткрытом воротах плохо выб-

рительный кадык разрушал недолгий маскарад), никак не мог понять, о чем его спрашивают.

— Ключ?.. У меня нет ключа... Ах, это... от наручников... Да, кажется, у того... справа...

Итальянца пришлось вытащить на обочину. Молодая монахиня (террористка? десантница? диверсантка?), стараясь не запачкаться, рылась тонкими пальцами в его карманах, перекадывала в ряску документы, нож, пистолет, какие-то связки гаек и болтов, обоймы с патронами.

Только после того, как найденный ключ щелкнул в замке, Цимкер смог выбраться наружу, стряхнуть с дрожащих ног обрезки резинового шнура. Островок с раскаленным песком и налетающей смертью быстро погружался, и новая бескрайняя жизнь наплывала скрежетом цикад, росчерками птиц по вечернему небу, запахом и шумом нагретой листвы. Наплыв был слишком огромен, а душа слишком мала для него — не вмещала, рвалась, таяла, истекала.

— Идти можете? Обопритесь на меня... Держите руку сверху, кровь вам еще пригодится... Теперь все будет хорошо, не волнуйтесь. У нас знакомый врач, примет вас немедленно... Грета, проверь, чтобы ничего не осталось... Подбери мой чепец. И аэробомбы, главное. Обе. Чтоб никаких следов... Понравились они тебе? Блеск, да? Ни дыма, ни огня... Их в самолете при случае можно будет попробовать.

В фургончике (который тем временем перестал дымить и уверенно фырчал, посвечивая фарами) у них оказался еще третий — молоденький хиппи в джинсовых обносках с бахромой. Отложив автомат, он помог Цимкеру забраться внутрь, уложил на надувной матрас.

— Грета, черт, выключи ты эту пищалку! Я тут почти оглох от нее. Почему она так разоралась?

— Недоучка несчастный. Чем ближе источник, тем сильнее радиосигнал — слышал? А источник у тебя почти под рукой.

Она присела рядом с Цимкером, расстегнула рубашку, вытащила медальон, нажала на кнопку.

Тревожные взвизги сирены, летевшие из кабины, мгновенно смолкли. Фургончик тронулся и поехал абсолютно ровно и нормально, чуть встряхиваясь на выбоинах старой дороги.

## 3

— Это такой стыд, Аарон, такой стыд, но оттого что я все последние месяцы ждала или чего-то подобного или хуже, знаешь, когда мне сказали, первое чувство было — облегчение: "Ну вот, это пришло, налетело, но он выжил, выжил! Боже милосердный и правый, благодарю тебя за чудо — он выжил!"

Чемодан Сильваны, все еще с авиационным багажным ярлыком, стоял тут же в палате, а сама она, не обращая внимания на медсестру, терлась щеками и лбом о здоровую руку Цимкера, осторожно гладила лежавшую поверх одеяла забинтованную культю.

— И знаешь, доктор заверил меня, что один сустав на указательном пальце будет работать. Так что ты сможешь брать любые предметы, печатать на машинке, поворачивать руль, щипать меня, держать телефонную трубку... Остальные три спасти было невозможно, сплошное крошево. Он сказал, что дверь должна была быть стальной, чтобы защемить с такой силой. Но допытываться о подробностях не стал. Еще сказал, что днем может сильно заболеть, поэтому ты не вздумай терпеть, сразу дай знать сестре, у них теперь очень хорошие болеутоляющие...

— Дерьмо, дерьмо, дерьмо...

— Ну перестань, не терзай себя, все это уже там, позади, смотри вперед...

— Нет, ты представить себе не можешь, каким я оказался дерьмом... соплей...

— Перестань, не верь, все это ложь — про людей, выдержавших пытки, нормальный человек не способен...

— Я все им рассказал... все... Даже про Рувима... Только твое имя не назвал, что-то уперлось внутри... Но еще минут пять — назвал бы и тебя...

— Теперь это уже неважно... Мог бы и меня... Теперь они не разболтают...

— И с этим теперь жить... с памятью об этом... навсегда уже, до самого конца...

— Ага, вот оно! Вот пошел ваш главный еврейский товар. Вы, — как бочонки, на которые можно клеить ярлык: "Чувство вины. Высшего сорта. Не слабеет от времени. Сделано

на горе Синай. Выдержка три тысячи лет". Открывай кран и пей.

— И почему они выбрали именно меня? Знали же, что с меня много не возьмешь, что, если уж похищать, то кого-нибудь повыше... Я думаю: потому и выбрали, что знали — дерьмо дерьмом и расколется в два счета.

— Слушай, а может, вас за это и гонят отовсюду? Может, и погромы, и сжигания, и желтые звезды — все за то же самое? Потому что, куда вы ни явитесь, вы этой своей вековой виной всех умеете заразить... как холерой... Вы никогда не научитесь, как сказать себе: "Я есть я, и Господь — Создатель мой — в бесконечном милосердии своем простит мне это". И, может, оттого, что вы ничего не забываете, и вас, проклятых, забыть не удастся.

— А хуже всего то, что я почти полюбил их. Главные люди в жизни, — вот кем они стали. Когда понял, что их убивают, это было, как шок. Хотелось крикнуть: "Нельзя, не смейте!"

— По-твоему, наверно, и я должна сейчас корчиться и самоубиваться: "Ах, я виновата, ах, я втянула его во все это. И вот что вышло, и неизвестно еще, что ждет впереди". Так вот, имей в виду: и не подумаю. Буду и дальше с ума сходить от страха за тебя, а каяться не стану. Потому что ты здесь — на своем месте. И работа по тебе, и ты в нее веришь, и делаешь ее классно. А потом являются бандиты, и ты тоже делаешь все правильно: включаешь "роланда" и отдаешься судьбе. И не имеет никакого значения, что ты вопил, когда тебе дробили пальцы. Ни в мученики, ни в страстотерпцы ты не нанимался, героем быть не обещал.

— Честно сказать, я и про "роланда" забыл. Наверно, они сами дернули его, когда швыряли меня в машину.

— В чем тебе повезло, — что они начали с конторы. Грета получила сигнал от замка двери, успела вызвать двух других. Ну и, конечно, то, что машина пошла в их сторону, через Дунай. Если б на запад, все могло обернуться гораздо хуже. Сигнал от "роланда" услышали бы, но вряд ли б успели.

— Ты не можешь представить себе, с каким блеском они это проделали. Какие люди! Где вы таких добываете?

— Ох, только не это. Только не кидайся из самоуничтожения в идеализацию. — Сильвана покосилась на медсестру и перешла на русский. — Если хочешь знать, старший, Макс, —

просто профессиональный наемник. Алжир, Конго, Родезия, Чад. Грета училась у "Красных бригад", но сбежала — слишком уныло и безнадежно. А год назад могла бы оказаться в машине вместе с теми. То же самое и Майкл: ИРА, стрельба по протестантам в Белфасте, мины под броневики. Надоело, догадался, что где-то за ту же работу могут платить гораздо лучше, и, как видишь, оказался прав. Это просто такая порода. Они есть всегда и везде. Подвернется политика — будут убивать за политику. Но могут и просто из снайперской винтовки по соседям. Или, как та девчушка в Штатах, — по одноклассникам и учителям. Тебе вот не нравится убивать — значит, ты никогда не научишься делать это хорошо и профессионально. Приходится нанимать их.

Когда рука подживет, первым делом пойду и непрофессионально убью газетчика.

— Так он тебя и ждал. Он уже где-нибудь в Бейруте или в Триполи. Да и вообще в Вене тебе нечего теперь задерживаться. Тем более что обсуждается твой перевод в Париж.

— В Париж? Но я же ни слова по-французски. А все мои мальчики?

— Мальчики остаются при тебе. В Париже тоже надо будет работать с одним русским. Попом-еретиком. Но это еще не точно, я дам тебе знать... Да нет, я никуда не уйду, какие дела? Почту твою Макс уже забрал, там один интересный пакет от Силлерса. То, что он вывез от своей русской. А больше нет у меня ничего... Я же к тебе приехала... Три недели ждала этого викенда, и вот дождалась... Ну и ничего, что в больнице, все-таки разнообразие... А то все одно: ресторан, концерт, постель... Буржуазная рутина, как сказала бы моя Ванда

— ...Но знаешь, если бы все обернулось хуже, эти трое не ушли бы от меня... Ох, я достала бы их... Ты еще не знаешь меня... Я за последние годы очень ожесточилась... Может быть, из-за работы. Вблизи от Умберто иначе не удержаться. "Мне тонкокожие не нужны, — говорит он, — я сам тонкокожий..." Что ты смеешься? Когда он впадает в очередной психоз, это совсем не смешно. Мы все на шепот переходим... Даже сестра его, которую он вообще-то боготворит... Э-э, да ты не смеешься совсем! Ты просто зубами скрипишь. И взмок весь! Сестра! Ради Бога, сделайте ему укол. Поглядите на этого супермена — он все еще хочет что-то доказать. Вкатите ему

как следует, чтобы отключился на двадцать четыре часа. А заодно и мне что-нибудь. Сердце очень печет... Не могу больше смотреть на него... Да, и я здесь пока на кушетке прилягу... Вот так... И будет теперь у вас два пациента.

## РЕФЕРАТ ЛЕЙДЫ РИГЕЛЬ, ВЫВЕЗЕННЫЙ ЧАРЛЬЗОМ СИЛЛЕРСОМ НА ЗАПАД

### БИОСОЦИУМ ТРАНСЦЕНДЕНТОВ

Данный реферат не является описанием исследований, проводившихся мною в течение последних пяти лет. Исследования эти еще очень далеки от завершения, и любое обсуждение результатов их было бы скороспелым и недостаточно обоснованным. Цель реферата: представить в самой популярной форме комплекс идей и наблюдений, приведших меня к концепции "Организм как биосоциум трансцендентов" и определивших направление исследований.

#### Вопросы без ответов

(Перечень далеко не полон, выбраны вопросы наиболее понятные)

##### А. Сфера гематологии

1. Накоплен огромный материал по систематизации групп крови, по исследованию генетических корней несовместимости различных групп. В лабораторных условиях выделены антигены, входящие в состав красных кровяных телец (эритроцитов), и доказано, что по химическому составу они идентичны. Почему же тогда кровь группы А воспринимает кровь группы В как враждебное вторжение?

2. Микробы некоторых заболеваний, раз побывав в организме, оставляют по себе такую память, что человек становится невосприимчив к этим заболеваниям (эффект иммунизации). Спрашивается: где годами хранится эта информация, если срок жизни кровяных телец всего лишь 120 дней?

3. Кровь — один из главных участников обмена веществ. Но кто (или что) управляет процессом доставки нужных веществ к соответствующим частям тела? Кровь очищает организм от ненужных и вредных веществ, выбрасывая их через

почки в мочу. Каким образом все кровяные тельца, "нагруженные" отбросами, знают, что им нужно пройти через почки, и проходят через них, в то время как с чисто гидравлической точки зрения, кровеносная система представляет массу обходных путей?

4. При современных способах хранения крови для нужд переливания ее свойства сохраняются в течение двух-трех недель. Почему внешняя сохранность телец наблюдается в течение гораздо более длительного периода?

5. Почему глубокое охлаждение или замораживание удлиняет срок сохранности крови? Каким образом даже при замораживании до  $-40^{\circ}\text{C}$  эритроциты не промерзают насквозь, а остаются внутри кристалла льда окруженными жидкой оболочкой? Почему замораживание до  $-196^{\circ}\text{C}$  обеспечивает сохранность до 4-х лет, а может, и больше? (Насколько мне известно, более длительные опыты еще не проводились.)

6. Почему молодые кровяные клетки хуже переносят хранение, чем старые?

7. Если селезенка выполняет все те важные функции в регулировании кровоснабжения, какие ей приписывают, почему хирургическое удаление ее не приводит к серьезным осложнениям и обмену веществ?

#### Б. Сфера токсикологии

8. Каков механизм воздействия быстродействующих ядов? Кураре, например, парализует дыхательные центры, еще не успев добраться по кровотоку до них. Каким образом?

9. Спасти от кураре можно, лишь быстро введя под кожу простигмин. Как срабатывает противоядие, которое явно не успевает вступить с ядом в химическое взаимодействие?

10. Многие быстродействующие яды не причиняют видимых разрушений организму, так что искусственное кислородное дыхание может спасти человека. За счет чего?

11. Смертельной дозой синильной кислоты считается 1 мг на 1 кг веса человека. Но зарегистрированы случаи, когда человек легко переносил концентрацию в 30 раз большую. С другой стороны, ничтожные концентрации ядов, используемые для анестезии (например, кураре при операциях на горле), в очень редких случаях приводят к мгновенной смерти. Почему разные люди по разному реагируют на яды?

12. Известно, что мать Нерона путем принятия малых доз

различных ядов настолько выработала в себе невосприимчивость к ним, что все попытки сына отравить ее окончились неудачей. Григорий Распутин тоже оставался живым очень долго после того, как ему дали смертельную дозу цианистого калия. Каким образом вырабатывается невосприимчивость к ядам?

#### В. Вопросы из сферы ворожбы, йоги, знахарства, гипноза

13. Каким образом бормотание знахаря над раной приводит к свертыванию крови? Снимает зубную боль? Рассасывает грыжу?

14. Как гипнотизер причиняет искусственный "ожог" холодной линейкой, прижатой к коже загипнотизированного?

15. Каким образом йог погружает себя в каталепсию? Замедляет пульс? Отключает болевую чувствительность? Направляет поток тепловой энергии к тому или иному участку тела?

#### Гипотеза биосоциума

Вопросы эти можно было бы продолжать и дальше — останавливаюсь за недостатком места. Предлагаемая мною гипотеза лежит, скорее, в сфере научной фантастики, поэтому я прошу у коллег-ученых прощения за выход из области чистых фактов и предлагаю рассматривать вводимую схему как умозрительную модель. Единственное достоинство этой модели: при помощи нее можно ответить на вышеприведенные вопросы и на множество им подобных.

Итак, если разрешить себе размах фантазии, обычно недопускаемый в естествознании, можно представить живой организм (и в частности, организм человека) в виде сложной машины, выстроенной, управляемой и населенной крошечными невидимыми существами — трансцендентами. Машина эта одновременно является и "государством" трансцендентов, так что многие ее внутренние функции мы разрешим себе рассматривать по аналогии с человеческим государством.

Так, например, кровеносную систему можно будет уподобить системе путей сообщения, а кровяные тельца (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и пр.) — различным транспортным средствам, а также боевым и рабочим машинам, исполь-

зуемым трансцендентами. Нервная система явится аналогом телефонно-телеграфной сети, но, кроме нее, мы позволим себе допустить также наличие невидимой связи между трансцендентами — по аналогии с человеческой радиосвязью. Используя предложенную модель, попробуем ответить на приведенные выше вопросы.

1. Наблюдатель из внешнего макромира, склонившийся над планетой Земля летом 1939 г., мог бы разглядеть движение машин, потоком идущих по дорогам Европы. Машины эти казались бы ему однородными, и он не смог бы понять, почему 1 сентября одни машины накнулись на другие и начали уничтожать их. Разница между немцами, поляками, французами, русскими была бы почти недоступна внешнему наблюдению. Не по этой ли аналогии следует нам рассматривать враждебную несовместимость различных групп крови? Не "национальная" ли рознь между трансцендентами разных групп приводит к тому, что эритроциты В, попавшие в каналы, заполненные кровью А, очень скоро вылетают из организма побуревшими и разрушенными, окрашивая черным цветом мочу больного?

2. В человеческих сообществах память об эпидемиях переживает непосредственных свидетелей бедствия и вырабатывает различные меры борьбы с опасной болезнью: вакцинация, карантин и пр. Точно так же и в социуме трансцендентов "память" об опасном микробе или вирусе хранится на протяжении всей жизни организма, так что его "узнают" и атакуют немедленно, не давая размножиться до опасных размеров. Любопытно при этом, что многие иммунитеты передаются также с молоком матери ребенку. Не говорит ли это о том, что трансценденты могут использовать для путешествий и другие транспортные средства? Не только кровь, а, например, грудное молоко или мужскую сперму?

3. Кислород нужен всем клеткам организма. Но разные питательные вещества должны направляться к разным участкам: кальций — на строительство костей, жиры — в подкожный слой, и т.д. Представить себе, что каждая частичка крови несет "всего понемногу" так же трудно, как допустить, что каждый грузовик на шоссе Таллин—Ленинград везет вперемешку рыбу, инструменты, ядохимикаты, консервы, торфяные брикеты, красители, известку, конфеты и пр. Невероятная сложность строения организма наводит на мысль о целенаправ-

ленной доставке нужных веществ к нужным клеткам, которая была бы невозможна без трансцендентов, управляющих "погрузкой—транспортировкой—разгрузкой". Точно так же и доставка отбросов к почкам кажется невысказанной без "сознательного" элемента, без "регулирующих" в системе кровообращения.

4. Если все тот же пришелец из макромира соскревет колону автомашин с любого земного шоссе и поместит их в изолированное помещение, они сохранятся там довольно долго внешне неповрежденными, но станут непригодными к жизни на дорогах, потому что от жажды и истощения умрут водители. Не так же ли и кровяные тельца сохраняют иллюзорную исправность? Не потому ли добавки к крови некоторых питательных веществ позволили увеличить срок хранения крови при +4° С до трех недель, что эти вещества оказались необходимыми для поддержания жизни "экипажей" трансцендентов в кровяных тельцах?

5. Охлаждение может удлинять жизнь крови по двум причинам: либо экипажи трансцендентов в кровяных тельцах умеют впадать в длительную спячку при низких температурах и таким образом выживать довольно долго; либо они вообще не боятся низких температур, но зато их "запасы продуктов" сохраняются довольно долго "не портясь", что и позволяет им держаться. Также возможно, что в замороженном виде не улетучивается столь необходимый им кислород.

6. То, что молодые клетки хуже переносят хранение крови, чем старые, конечно, выглядит наиболее парадоксальным. По нашей модели этот факт может быть объяснен тем, что у экипажа молодой клетки было гораздо меньше времени "запасаться" провиантом и кислородом, поэтому-то и живучесть ее вне организма оказывается короче. (Или предусмотрительности, по молодости, не хватило?) Поэтому же, возможно, и тромбоциты так быстро (уже через несколько часов хранения) утрачивают свои свойства: будучи гораздо меньше эритроцитов и лейкоцитов, они, — как слишком малые автомобили, не имеющие достаточного пространства внутри для хранения больших запасов.

7. По нашей аналогии, селезенка играет в организме роль огромного автоангара. В нем хранится избыток транспортных средств (при физических нагрузках селезенка уменьшается, отдавая излишки крови в систему кровообращения), в нем

транспортные средства — кровяные тельца — проходят проверку, может быть, ремонт, может быть, оснащение экипажами. Если же селезенку удаляют, все это — парковка, проверка, ремонт — осуществляется прямо "на улице", то есть в кровеносных сосудах. Не так удобно, но все-таки не смертельно.

8. Ощувив подозрительный или неприятный запах, мы часто искусственно задерживаем дыхание и спешим выйти из помещения. Когда капля воды или хлебная крошка попадают в дыхательное горло, задержка дыхания осуществляется организмом автоматически: мы надсадно кашляем, не можем вдохнуть воздух, давимся. Хотя на самом деле засорение дыхательного тракта может быть ничтожно, и воздух имеет вполне достаточно простора в трахеях, чтобы проходить в легкие и выходить из них, организм как бы впадает в панику, реагирует преувеличенно. Человек, говорим мы, подавился, он может даже умереть, если ему не окажут немедленную помощь.

Смерть от ничтожных количеств быстродействующих ядов, парализующих дыхательные центры, также является, скорее всего, преувеличенной реакцией на опасность, паникой биосоциума. Но именно стремительность наступления смерти наводит на мысль о том, что оповещение об опасности было передано каким-то мгновенным сигналом, обгоняющим движение крови, который мы договорились называть "радиосвязью трансцендентов".

9. Вторжение ничтожной доли быстродействующего яда в организм можно сравнить с высадкой горстки испанцев с огнестрельным оружием на берег нового континента. Весть о событии облетает миллионное государство туземцев, и оно рушится от одной лишь начавшейся паники, не пытаясь даже вступить в противоборство. Введение же эффективного противоядия действует на организм, как могла бы подействовать весть о высадке в другом месте смертельных врагов испанцев — англичан, — которые готовы снабдить туземцев мушкетами и порохом. Примечательна опять же скорость воздействия: благотворный эффект ощущается задолго до того, как могла бы произойти реальная встреча яда и противоядия в организме. Что снова наводит нас на мысль о наличии мгновенной "радиосвязи" в государстве трансцендентов.

10. Возможность спасти отравленного человека искусственным кислородным дыханием — еще одно доказательство

того, что многие быстродействующие яды не разрушают клетки организма, что они убивают "дезинформацией", внесением паники, расстройством дыхательной функции. Если аппарат искусственного дыхания возьмет на себя на пятнадцать минут функцию снабжения легких кислородом, трансценденты получают время оправиться и выбросить опасного пришельца из организма.

11. История колониальных захватов часто использует термины: "мирное племя", "воинственное племя". Некоторые племена сдавались пришельцам почти без боя, другие (столь же отсталые в смысле технического прогресса) почему-то отчаянно защищались. По этой аналогии можно анализировать разную восприимчивость разных людей к ядам: все зависит от "морального духа" биосоциума трансцендентов.

12. Иммунитет к ядам вырабатывается так же, как иммунитет к заболеваниям: на малых "учебных" дозах трансценденты обучаются быстро опознавать вредные вещества, обучаются не бояться их, вступать в схватку. И снова примечательно, что, хотя кровь — главное орудие борьбы с ядами, "память" об опасных пришельцах длиннее срока жизни кровяных телец.

13. Снова представим себе наблюдателя из макромира, склонившегося над клубками земных дорог, заполненных движущимся транспортом. Если бы он захотел мгновенно остановить движение всех машин в районе какого-нибудь города, что должен был бы он сделать? Ясно, что попытки механического перекрытия дорог не помогли бы: сеть их слишком разветвлена, транспорт находил бы обходные пути и продолжал движение. Единственный эффективный способ для этого макропришельца был бы один: настроиться на все местные радиоволны и передать голосом радиодиктора сигнал тревоги, что-нибудь вроде: "Внимание! Внимание! Важное сообщение! Всем автомобилистам, находящимся в данном районе, немедленно выключить моторы! Продолжение движения грозит взрывом! Немедленно остановиться!"

То же самое, очевидно, делает шаман, ворожея, знахарь, склоняющиеся над кровоточащей раной: опытом многих поколений они научились настраивать свой голос на радиоволны трансцендентов и отдавать простейший приказ, заставляющий присутствующие здесь тромбоциты активизировать свертывание крови или даже призывающий новые партии тромбо-

цитов из пораненной артерии на помощь.

14 и 15. Итак, коль скоро мы допустили наличие радиосвязи в биосоциуме трансцендентов, коль скоро мы допустили возможность вмешательства в нее, подключения к ней и даже возможность отдачи простейших распоряжений биосоциуму посредством нее, мы можем пролить свет на две обширные и загадочные сферы человеческой психики: гипноз и йогу.

Индивидуальная человеческая воля соотносится с биосоциумом, как правительство с обществом в человеческом государстве. Если мы представим себе умозрительно, что все линии связи, по которым правительство отдает распоряжения, перерезаны и подключены к другому источнику распоряжений (из Зимнего дворца — в Смольный), это будет наиболее точной аналогией феномену гипноза.

**Г и п н о з** есть узурпация власти в биосоциуме трансцендентов гипнотизируемого волей гипнотизера. Умение сопротивляться гипнозу характеризует силу биосоциума, его чуткость к опасности узурпации, умение не допустить ее. Как и человеческие сообщества, отдельные люди весьма различны по уязвимости для такой узурпации. Но уж если она произошла, подчинение может стать таким полным, что биосоциум не только будет посылать кровь к "обожженному" холодной линейкой участку кожи, но и может быть без труда направлен на самоубийственные действия.

В отличие от гипноза, являющегося как бы захватом власти над биосоциумом со стороны, искусство **й о г и** есть искусство расширения власти внутри биосоциума. Как абсолютизация власти в человеческом сообществе может прийти до того, что правительство захватит в свои руки всю внешнюю торговлю, транспорт, средства связи, финансы и многое другое, так и воля йога изощряется путем различных упражнений в захвате контроля над функциями дыхания, кровообращения, сердцебиения, обмена веществ, управления болевой чувствительностью. И в этих упражнениях йог (как и абсолютистское государство) может прийти до таких пределов самоизнурения, за которыми спасение от гибели без внешней помощи делается невозможным.

### **Возможности применения гипотезы о биосоциуме трансцендентов**

Научившись "разговаривать" с трансцендентами, мы могли бы раздвинуть горизонты медицины до невиданных ранее пределов. Можно было бы управлять свертываемостью крови при сложнейших операциях; наоборот, предотвращать или рассасывать тромбы; отключать болевую чувствительность в нужных местах тела на нужное время; "уговаривать" организм не отторгать вживляемый путем пересадки орган; спасать от отравлений; расширить возможности иммунизации и многое, многое другое.

К сожалению, успешная разработка гипотезы может оказаться чреватой и опасными аспектами: от возможности превращения людей в бесчувственных роботов до простых методов убийства, которое будет абсолютно неотлично от естественной смерти. Опасаясь такого использования, я вынуждена была отказаться от обнародования этой теории и вести свои эксперименты по возможности втайне.

Естественно, в кустарных условиях сделать удалось немного. Все же в двух направлениях были получены позитивные результаты.

Первое: проанализировав довольно большое число звукозаписей всевозможных народных заговоров, мне удалось выработать сравнительно несложную методику имитации их, овладеть ею, создать несколько "напевов", выучить их и успешно применить в нескольких случаях для быстрой остановки кровотечения и для местного обезболивания.

Второе: были проведены опыты по хранению "заговоренной" крови, которые показали, что при значительном охлаждении такая кровь хранится гораздо дольше, чем обычная. (Объяснение: трансценденты еще в артериях получают информацию о предстоящем долгом "путешествии в космосе" и успевают заполнить кровяные тельца необходимыми запасами).

Однако для дальнейших исследований нужна будет такая сложная аппаратура и такое количество сотрудников для обслуживания ее, что продолжать эксперименты в кустарных условиях оказалось невозможно. Я вынуждена была отказаться на время от продолжения их.

## СЕНТЯБРЬ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, МОСКВА

### 1

На этот раз лучшие грибы пробрались в верхние слои корзин не под напором тщеславия (сесть на пенек, не доходя до станции, и пересортировать красиво), а просто потому, что уже после трех часов блужданий по мытищинским рощам стало ясно, что класть больше некуда, что пора ехать домой и что за сыроежками, лисичками, горькушками и прочей второсортной мелкотой нагибаться было бы глупо — чистое плюшкинство. Но когда вернулись, когда высыпали добычу на кухонный стол, выяснилось, что, как водится, вначале отбор был не таким строгим, что от жадности хватало что придется и в нижних слоях, особенно в корзинке жены, несъедобного, спрессовавшегося барахла — предостаточно. Павлику-то казалось, что шутит он по этому поводу вполне добродушно и белые разрезы шляпок с узором червоточин подносит ей к очкам самым дружески-непринужденным образом; но она только поджимала губы и на пятом забракованном грибе не выдержала — швырнула нож и вышла из кухни.

Он вздохнул, погладил упругую оранжевую замшу подошиновика, поглядел в окно. Неделю дома — и уже хочется обратно в поле. Но следующая экспедиция не раньше апреля, значит, надо еще семь месяцев тянуть себя через домашние неурядицы, через перепалки с родителями, дочкины простуды, обиды жены, через стояние в очередях за гнилой картошкой или несчастным рулоном туалетной бумаги, через изморную борьбу с распадом жилья (валится штукатурка в ванной, вылетают планки паркета, трескаются оконные рамы, ржавчина проедает дверные петли), через долгие блуждания-ожидания в прокуренных коридорах Управления (сдача отчета, свары с бухгалтером, неизбежное привирание с зарплатой рабочих, выработкой, цифрами плана), через поиски — сколько лет уже! — какого-то фантастического (Гофман! Кафка!) размена квартиры, который устроил бы отца, мать, жену, жилконтору, районные власти, городские власти, Уголовный кодекс, кошку Фатиму, привыкшую к своему коридору, кактусы и агавы, могущие пострадать от другого микроклимата.

И что могло скрасить эту унылую череду? Тотализатор?

Скачки? Но полевой сезон был таким неудачным, дожди держали их в палатках неделями, из летнего заработка едва ли удалось бы вырезать сотни две — на это не разыграешься. Поездки с приятелями на рыбалку? Дергать скорую на обмороки плотву и замороженных окушков с палец длиной? Это после судака, жереха, тайменя? Сандуновские бани? Тоже стали рутинной. От одних разговоров про хоккей хочется иногда обдать кипятком всю компанию.

Вырваться снова в Таллин, в командировку?

Но нет — с тем приключением было покончено. Он писал ей несколько раз, письма были очень хорошие, он знал это, даже гордился слегка, и не откликнуться на них ни строчкой могла только какая-нибудь вертихвостка-динамистка — пустая душа. Да-да, любительница риска, дешевых эффектов, игр в опасность и загадочность. В Таллин тоже ехать не хотелось.

Дохлебывая компот из стакана, вошел отец. Новые шлепанцы его прилипали к потным ступням и затем, отклеиваясь, щелкали по полу при каждом шаге. Он оглядел грибные россыпи на столе, фыркнул.

— В наше время, кроме белых, мы и в руки ничего не брали... А это что? Неужто и за такой фитюлькой нагибался? Живот-то куда убирал при этом?.. Чайник ты ставил? Вскипел? Значит, ударим теперь по чайку. А сколько раз я просил, чтобы ручку не роняли, чтобы оставляли торчком. Ведь раскаляется — не ухватить.

Рядом с газовой плитой висели специальные фетровые хваталки с пестрой вышивкой, но отец к "этим сальным тряпкам" не притрагивался, предпочитал пускать в дело подол рубашки. Однажды был случай — он вышел голый по пояс, застыл в растерянности перед вскипевшим чайником, потом ушел к себе, вернулся в накинutom пиджаке и с торжествующим видом обернул горячую ручку приспущенным рукавом. Использованную заварку он хранил в стеклянных банках ("А вот вскочит чирей — тогда попросите!") до тех пор, пока пушистые клумбы плесени не покрывали ее целиком.

"Почему я, именно я, должен быть самым терпимым, понимающим, снисходительным? — Павлик осторожно стягивал с масленка нежный коричневый скальп с торчащей там и сям лесной трухой. — Почему я должен помнить, кто с кем не разговаривает эту неделю, к кому мы обещали пойти на свадьбу

к дочери (невесту видели один раз в жизни — еще с соской во рту), почему именно в мои обязанности входит отсиживать на родительских собраниях в школе, почему все перегоревшие лампы, оборвавшиеся вешалки, испорченные кофемолки, залипшие утюги месяцами могут дожидаться моего возвращения? Почему я должен ходить на цыпочках, уступать очередь в душ, выключать телевизор в одиннадцать? Почему в сорок лет я все еще Павлик — не Павел, не Никифорович, даже не Паша?"

В коридоре зазвонил телефон.

— Да, — сказала жена. — А кто его просит?.. Ну если вы знакомы по службе, то должны знать его отчество. Ах не по службе!?! По ипподрому?.. Но что же такого важного и срочного может происходить сейчас на ипподроме? Лошади искушали жокеев? Зрители помчались наперегонки? Кто-нибудь выиграл миллион?

Видимо, с терпимостью на его лице не все было ладно, когда он выскочил в коридор, — она поспешно протянула трубку, передала ее на вытянутой руке, как тикающую бомбу, и сразу скользнула к себе.

— Да?

— Павлик?

— Да-да, это я...

— Извини, что так вторглась... Ничего? Корабль семейной жизни дал легкий крен?..

— Откуда ты звонишь?

— Я в Москве... Конференция анестезиологов... Только сегодня приехала.

— Я тоже... То есть всего неделю как вернулся...

— Спасибо тебе за письма. Два пришли так вовремя — как раз в те дни, когда я совсем кончалась...

— Где ты сейчас?

— Я очень хотела тебя повидать, но тут всякие сложности...

— Я тоже очень. Где ты?

— Я, кажется, опять с этими... с всезнайками... Ну ты понимаешь... Никак не думала, что и в Москве тоже. Расслабилась, стала беспечной, а они тут как тут...

— У меня как раз сегодня вечер свободный...

— Хорошо, что я тебя застала напоследок... Может, потом и не удастся. Но ты не думай, не бойся — я из автомата звоню.

— Ты вот что... Ты успокойся... Возьми себя в руки... Может быть, это только фантазии?

— Я ничего... Я нормально...

— По голосу слышу, как "нормально". Не бойся, слышишь? Только скажи, где ты, и ничего не бойся.

— Ты же знаешь, у меня есть опыт, но тут как-то все не так оборачивается..

— Все будет нормально. У тебя опыт — ого-го! Ты профессор исчезательных наук. Справлялась ведь раньше, не первый раз. Только скажи, где ты сейчас?

— Ну хорошо...

— Да?

— Глупо мы это делаем...

— Давай-давай.

— Ты приезжай в гостиницу "Киевская"... Не "Украина" — это огромная, шикарная, — а та здесь же, но гораздо меньше...

— Учи-учи урожденного москвича.

— И поднимись в ресторан.

— Так.

— Ну закажи себе чего-нибудь. Если можно будет, я к тебе подойду.

— Договорились.

— Только сам меня не ищи. И головой не верти. Если я подойду, то буду холодная-холодная... Как незнакомая... Спрошу, свободно ли место...

— Будет свободно. Я доберусь через полчаса. Самое большее — через сорок минут. Держись.

Скинуть грибное затрапезье — полминуты.

Рубашка в розовую полоску, к ней брюки светло-коричневые (говорят, смотрится), сандалии тоже в цвет — еще две минуты.

Брился с утра — сойдет.

Заметался, пытаюсь сообразить, будет ли сегодня играть какую-нибудь роль, что трусы длинные, не модные, — со вздохом решил, что не будет, махнул рукой, но минуту на колебания потерял.

Брызнуть одеколоном, сунуть кошелек в карман, расческу — мгновение.

Еще минута: прокричать отцу, но так, чтобы жена за дверью слышала, что позвонила знакомая кассирша с иппод-

рома (придумывалось тут же, легко), которая достала "размеченную" программку для завтрашних скачек ("размеченная для своих, на каких лошадей ставить, — понимать пора такие вещи!"), что едет, чтобы срочно получить, вернется нескоро.

И вот уже лифт, ступени, дверь на улицу, вот инвалид Кеша тянет в гастроном ящик с пустыми бутылками (нет, издалека видно, не набрал еще на маленькую), вот и троллейбус подкатывает, как по заказу, и втиснуться в него удастся, хотя времени — самый пик.

Жарко что-то, ох жарко еще в Москве в сентябре.

Дрожит, зыбится в раскаленном воздухе Савеловский вокзал.

Подтаивают архитектурные завитушки на излишествах небоскребов сталинской поры.

Хрущевские дома, обнесенные железной сеткой по второму этажу, ловят в нее облицовочную плитку, выдавленную жаром из гнезд.

Ярко просвечены солнцем плексиглазовые заборы вокруг пивных ларьков (украшим столицу!), и вместо прежней угрюмой толпы, вымотанной утренней сменой, движется в оранжевом солнечном свете театр теней с кружками в руках, долетает гул ста диалогов — всегда одна, но с каким азартом разыгрываемая пьеса.

А вот редкий момент — салатные ворота Бутырской тюрьмы как раз приоткрываются, выпускают "воронок" и вслед за ним (или чудится?) будто клуб разогретого, спертого в одиночных камерах воздуха.

Горячи троллейбусные женщины, прижатые к Павлику со всех сторон, благо велика окружность сторон, есть к чему прижиматься.

И только на спуске в земную утробу, на ползущем вниз эскалаторе остается жара, остается поджидать на поверхности.

Сияя цветочными и фруктовыми витражами, похожая на храм бога садов и огородов, уплывает назад станция Новослободская. Поезд несется по кольцевой, перетряхивает пассажиров, — кого на выход, поближе к дверям, кого подальше к стенам, кого развесит болтаться на блестящих штангах, кому и присесть посчастливится.

Цепкий московский люд и тут не зеваает, не отдает даром

минуту: что-то почитывает в журналах и книгах (нет своих — можно скоситься к соседу), подучивает в учебниках, дописывает в конспектах, высматривает по цветной головоломке карт и маршрутов, перекрикивая грохот, обсуждает друг с другом, чего не успели дообсудить наверху.

Еще минут пятнадцать мелькают станции и туннели, и на Киевской Павлик уже не может сдержать себя, припускает вприскачку лавировать на обгон, и на эскалаторе не стоит, топает, обходя едущую шеренгу справа, и на улице почти бежит мимо цветочных ларьков, мимо пригородных касс, мясных пирожков, лотерейных обещаний, дымящейся фольги шоколадных пломбиров.

Только у самой двери гостиницы остановился на миг оглядеть себя, и тут вдруг страх остро и больно кольнул сердце. Так больно, что сбилось дыхание.

— Гражданин, вы туда или сюда? — спросили сзади.

— Да-да, — сказал он. — Сейчас.

## 2

Он уже почти покончил с "сельдью маринованной, соус орех." и наливал себе вторую рюмку тепловатой водки, когда она появилась в ресторанной зале и медленно двинулась по проходу. Равнодушно провела по нему взглядом, будто в рассеянности задержалась у другого столика.

"Вот если б я не знал ее и если б ничего еще между нами не было, — думал он, — застыл бы я так же, не донеся рюмку до рта? Пялился бы, как тот летчик и тот седой жох, и официант, и тетка в сползающем парике? Что в ней такого диковинного, привораживающего глаз? Нет, не фигура — только кажется высокой, а на самом деле просто бедра далеко от пола, ноги длинные — вот и все. Ну туфельки там не фабрики "Скорород", ну платье не из "Москвошвея", ну сумка, видать, не одну границу пересекла, чтобы у ней на плече повиснуть. Так мало ли сейчас по Москве модниц во всем валютно-сертификатном? Смотрит, конечно, пронзительно, без суетни, это самое редкое нынче, чтобы взгляд у человека не бегал. Чтобы такому и хотелось на глаза попасться и боязно. А исхудала-то как. Бог мой! Будто в больнице своей не смены отработывала, а сама в койке маялась.

Она играла хорошо, прошла кружным путем, спросила.

свободно ли, села независимо, уткнулась в меню. Заговорила тускловатым голосом, без выражения, поглядывая поверх его головы на люстру.

— Дрянь, дрянь, дрянь... Истеричка, размазня... Ведь почти год держалась, все правильно делала, чтобы тебя не вовлечь... А тут в последний момент расклеилась... Так перепугалась, что голову потеряла — бросилась звонить. Ты уж прости. Если они к тебе пристанут, говори только одно: случайная знакомая, встретились однажды в Таллине, зачем звонила, — не знаю. Наверно, замуж хочет. Мне, скажи, многие звонят, хотят от семьи отбить, потому что вон я какой из себя пышный...

— Они что — подходили к тебе? Уже здесь? Или просто слежка? Отчего ты перепугалась?

— Когда подойдут, поздно уже будет.

— В этих гостиницах они часто за иностранцами приглядывают. Может, и сейчас так — не за тобой.

— Нет, сейчас точно, без паранойи. Я ушла в душ, здесь, видишь ли, такая система, как в бане, а когда вернулась, соседка по номеру говорит: "Тебе звонила администраторша".

—Ну?

— Сказала, что меня разыскивает секретарь конференции. Что ему нужно поговорить о моем докладе.

— Может, так и есть?

— Загвоздка в том, что у меня нет никакого доклада. И не планировался. И любой секретарь знает, что мелкие сошки вроде меня с докладами не выступают.

— Представляешь хоть, что им в Москве от тебя нужно?

— Не очень. Хорошо еще, соседка умница (наша же врачиха из Тарту) на всякий случай сказала, что меня нет, что я, наверно, в город уехала. Тот сказал, — это администраторша велела мне передать, — что будет ждать в вестибюле. Стал бы настоящий секретарь ждать?

— Значит, тебе и из гостиницы не выйти?

Она начала было отвечать, потом умолкла, подняв глаза на подошедшую официантку.

— Что будем заказывать?

— Спасибо, пока ничего.

— У нас с "ничего" не сидят, приезжая дама. Это в ЦПКО на пляже без ничего можно, а тут ресторан.

— Ну хорошо... Вот... Принесите это.

Официантка нагнулась, следя за пальцем Лейды, крикнула, посмотрела на нее с гневным изумлением.

— Да вы когда-нибудь, приезжая дама, пробовали это?

—Нет.

— Что ж тогда заказываете?

— Попробовать. Звучит красиво — беф-а-ля-татар.

— Да вы знаете, что это просто сырое мясо? Фарш, намешанный с луком.

— Люди ведь едят.

— Так то какие люди! Специальные татаре. Они и конину будут есть, и улиток, и им все ничего.

— Слушайте, красавица... — начал было Павлик.

— А вы, гражданин, ждите свои шницеля и не вмешивайтесь. Я же вашу приезжую даму оградить хочу, мне это ни на что не нужно, чтобы ей тут худо сделалось. До туалета у нас тут бежать не близко.

— Во-первых, она никакая не моя...

— Я вам, приезжая дама, лучше котлету по-киевски принесу...

— Идет. И водки.

— Норма — сто грамм.

— Давайте норму.

— А во-вторых, если вы сейчас же...

— Не пугайте меня, гражданин, я и не таких больших видала. И если у вас тут тайная свиданка, то все равно оскорблять не позволятся. Надо было заранее о приезжей даме подумать, а не морить ее голодом так, что она сырое мясо готова есть.

Она фыркнула, почесала пробор под кружевной наколкой, пошла прочь, кидая подолом юбки вправо и влево,

Лейда прижала обеими ладонями руку Павлика к столу, посмотрела на него — прямо в лицо, впервые не прячась, — начала тихо смеяться.

— Ну вот, видишь... Как мы ни играем, как ни притворяемся, а всем видно, что у нас происходит... Тайная свиданка. Свиданка с приезжей дамой.

— А я-то, и правда, хорош. Совсем с пустыми руками. Ни шаманской песни, ни пленки, ни другого какого подарка. Ты прямо как снег на голову. Не могла предупредить заранее? Не хотела?

— Пока она там ходит, плесни мне твоей водки.

— И селедочный хвост возьми.

— Я до последнего момента и на вокзале в Таллине все себе твердила: "Не позвоню... не позвоню... нельзя, не впутывай..." Только ночью в поезде поняла: не смогу. Не удержусь. А там — будь что будет. Вертелась на полке и всякие слова готовила. А вышло все не так: глупо, со страху. И конечно, на жену нарвалась и гладко соврать не сумела.

— Какие были слова? Вспомни хоть что-нибудь.

— Не сейчас.

— Все же горько мне было, что ты не писала. Ни разу.

— Знаешь, как бывает при долгой зубной боли? Уговариваешь себя, что вот, кончится — и тогда все будет не просто хорошо, а что-нибудь такое особенное позволишь себе. Какой-нибудь маленький праздник. Поедешь к старым друзьям на взморье. Или возьмешь недельный отпуск и будешь днями валяться на диване в гряде модных журналов. Или еще что-нибудь. Так и со мной было все эти месяцы. Страх стал, как зубная боль. А обещанный праздник: когда кончится — позвонить тебе.

Он замер, приоткрыл рот, растроганно потянулся к ней через стол, погладил по плечу.

— Но все не кончалось и не кончалось. — Она виновато прикусила губу. — И вот позвонила наоборот, — когда накопился острый приступ.

Вернувшаяся официантка со стуком бросила перед Павликом тарелку со шницелями и, чтобы уже совсем добить, стала показывать на Лейде, как все могло бы быть, "если бы с ней — по-человечески": бережно укладывала нож и вилку, протирала запотевший графинчик, рюмку, шептала интимно что-то о красной рыбке — "только сейчас привезли, даже в меню еще нет, не желаете?.. Я мигом".

— Послушай, — начал Павлик, — мы все делаем очень просто. Спокойно доедаем и допиваем. Ты идешь в свой номер. Выносишь свой чемодан-саквояж-баул. Я беру его и спокойно выхожу на улицу. Подцепляю такси. Жду у выхода. И тогда ты спускаешься в лифте, быстро проходишь — не бегом, но решительно и деловито — через вестибюль, на типа — ноль внимания. Или нет, даже говоришь: "Минуточку, я тут же вернусь, и мы все обсудим". Он растеряется, не посмеет руками тебя хватать. А ты прыгаешь в такси, и мы едем

к самым верным моим друзьям, у которых квартира, как стадион. Черта с два они тебя там найдут. Ну как?

— Мне нравится только первый пункт: доедаем и допиваем.

— Почему?

— Потому что со всезнайками никогда не знаешь, насколько сильно ты им нужен. И если очень сильно, то и за такси не поленятся поехать, и не только тебе, но и твоим верным друзьям могут сильно нервы потрепать.

— Хорошо. Давай нальем, выпьем, и после этого я скажу речь.

Он смахнул ножом половину своей порции на ее тарелку, чокнулся и перед тем, как выпить, что-то невнятно профырчал над рюмкой.

— Ну вот. Я знаю — вижу, — каково тебе. Но я хочу, чтобы и ты знала, — каково мне. Хочу, чтобы поняла: все твои старательные "не вовлекать его, не втягивать" давно уже не работают. Поздно. Вовлекла. Неважно, что мы и вместе-то были всего несколько часов. Если добавить сюда все время, что я о тебе думал, ждал писем, вспоминал, ругал последними словами, — месяцы наберутся. Я не могу описать тебе, какую брешь ты во мне пробила, какое осталось ощущение охлаждающей пустоты вокруг того места в душе, где ты. Может, оно бы и заросло постепенно, затянулось, если б не эта напасть твоя, не лапа проклятая над твоей головой. А при ней каждый день, когда от тебя ничего нет, можно предаваться мыслям о том, что лапа упала, прихлопнула. Воображать детали, про которые столько уже раз читал: "...Руки за спину... Шаг влево, шаг вправо — побег... Не разговаривать... Раздеться... Повернуться... Нагнуться..."

— Милый, не надо.

— И позор беспомощности. И неизвестность. Хоть ты и не велела, я звонил несколько раз. И каждый раз такое облегчение было услышать: "Она на работе... Ушла в магазин... Уехала в гости..." Но тут же и злость: "Ага, значит, живет себе нормально. Ничего ей не делается. А ты тут корчись от тревоги и неизвестности".

— Да, я понимаю. И по письмам видела, что с тобой происходит. Дрянь, кругом дрянь. Сил на все не хватало.

— Ты не можешь снова со мной такое проделать. Не имеешь права. Тогда, в Таллине, ты говорила, что тебе может понадобиться помощь. Что тебе нужен кто-нибудь, про кого они

не знают. Если вдруг этот тип внизу заберет тебя с собой, что я могу сделать? Передать записку кому-нибудь? Позвонить, предупредить? Дай мне что-нибудь, не оставляй снова отрезанным начисто.

Официантка, видимо, что-то почувствовала в нем на этот раз, не посмела больше куражиться — молча разгрузила поднос на стол и исчезла.

— Да-да, — сказала Лейда. — Да, помощь. Очень нужна. Есть как раз одно дело. Но ты скажи еще что-нибудь... Уговори меня. Скажи, что вывернешься, что не попадешься никогда... Что тебе все нипочем, не на такого напали...

Он уговаривал, она поддавалась, но медленно, осторожно, и, когда ему удалось наконец заставить ее говорить о деле, это было, как отползание вдвоем от проруби по тонкому льду — без резких движений, без больших надежд, не понять, кто спасатель, кто спасаемый. Сквозь нарочитую невнятицу ее речи (не переставая жевать, опустив лицо к тарелке) зерна смысла пробивались с трудом, но он вышелушивал их спокойно и сосредоточенно, не боялся останавливать ее, возвращать к пропущенному и также спокойно укладывал себе в память: номер секции, блока и самого ящика в автоматической камере хранения на Рижском вокзале, куда Илья (да, он прилетал вчера, специально для этого, чтобы ей самой не везти, не рисковать) поставил серый чемодан (ничего страшного, не взрывчатка же, но все ее записи, магнитные ленты, анализы крови, все, над чем билась пять лет), и открыть ящик можно ее годом рождения, если набрать наоборот ("а ты разве не знал? да, вот так-то, не первой уже свежести") и потом просто отвезти чемодан на улицу имени одного критика прошлого века, нет, не Белинского, другого, эх ты, невежа и недоучка, ну да, ну правильно, но зачем же кричать?

Вот я напишу здесь на салфетке квартиру и дом, а то слишком много цифр, ты не запомнишь...

И просто отдать им и сказать, что это энциклопедия Гранат, которую у них заказывали. И все. И сразу уйти и все-все забыть.

Нет, я сама позвоню, когда будет можно. А если не смогу, если они меня не отпустят, ты недели через две позвони Илье в Таллин и скажи про энциклопедию — прочел мол, и все в порядке. Или нет. Он поймет. Ведь дадут же рано или поздно

свидание матери с сыном, и тогда я узнаю, Ты представить себе не можешь, как много это будет для меня значить. Тебе в жизни не доводилось и не доведется сделать для другого такую же важную вещь. Если, конечно, не считать — родить кого-нибудь. Или убить.

Потом настала ее очередь уговаривать: уходи, уходи, уходи. Он упирался так долго, что она по-настоящему разозлилась, и он, идя между столиками, расплачиваясь с официанткой, спускаясь по лестнице, все еще слышал ее свистящий злобный шепот: "Ну вот, снова геройство, честь мундира, господа офицеры не приучены отступать, предпочитают дать перехватать себя и перестрелять". Но на площадке она вдруг догнала его, повернула к себе и, пробормотав: "Не чума же у меня, не холера", — нырнула губами в его пропахшую селедкой и шницелем бороду.

Когда минут пятнадцать спустя с чувством непонятого облегчения и твердым намерением поспать хотя бы полчаса она подошла к дверям своего номера, дежурная по коридору окликнула ее, и тотчас из-за угла вышел молодой и очень плохой актер и пошел ей навстречу, на ходу подбирая подходящую маску, переключая с одной на другую, не зная, на чем остановиться: недовольство и усталость? — "мы тут делом заняты, а вы шляетесь"? "ну вот и повстречались"? "сколько лет, сколько зим"?

### 3

Не было ни машины с зарешеченным окном, ни железных раздвижных ворот, ни обыска с раздеванием, ни будки с часовыми и вообще ничего похожего на сцены из ночных кошмаров, изводивших ее последние полгода. Был заурядный московский дом новой застройки. Была трехкомнатная квартира на четвертом этаже, была финская мебель и книжные полки и озабоченный хозяин, в рубашке с закатанными рукавами и с трогательным седым чубчиком, упавшим на глаза, — подполковник Ярищев.

Он поднял голову от книжно-бумажного развала на столе, извлек какой-то журнал, помахал им в воздухе и горестно сказал.

— Ну что, Лейда Игнатьевна? Что с Португалией-то будем делать? Похоже, проморгали мы Португалию.

— А Греция? — спросила Лейда наугад, лишь бы заполнить паузу.

— О, Греция это особ-статья, особ-статья, — оживился подполковник. Он обошел стол, сдвинул в сторону бронзового Лермонтова, обнимавшего ствол электрической лампы, приткнулся на уголке и жестом пригласил ее в кресло. — Но вам-то больше об Италии теперь нужно думать.

— Италия и без меня не пропадет.

— Похоже, что синьор Умберто прочно там обосновался. Значит, вам прямая дорога в Италию.

— Я бы предпочла Эстонию.

— Как это?.. Нет, постойте... Мышеедов, вы что? — ничего Лейде Игнатъевне не объяснили?

— Виноват, товарищ подполковник. Ждать их в гостинице пришлось очень долго. А потом так спешил, что только на дорогу смотрел. Транспорт напряженный был, час пик.

— Это надо же! На дороге! Да вы должны уметь руль одним пальцем удерживать, а остальными девятью на скрипке играть и из пулемета стрелять. Ну лейтенант, ну стыд! Чему вас только в училищах учат.

— Виноват, товарищ подполковник.

— Так вот, Лейда Игнатъевна, такие приятные новости: решено было отправить вас на годик в Италию.

"Я просто ничего не буду отвечать, — подумала Лейда. — Наверное, это самое правильное: молчать и хлопать изумленно глазами".

— Было у нас совещание по этому поводу. Из Таллина тоже наши товарищи приезжали и, признаюсь вам честно, очень сердито о вас говорили. Мало того, что всякими прятками голову вы им морочили. Такую операцию сорвали! Все ведь, все потом открылось, как вы в Ленинград ездили и гомика длиннозубого спугнули. Так что мнение складывалось твердое: шуток больше с вами не шутить, а поступить по всей строгости. Годиков, скажем, пять — на раздумья. И чтоб климат не мягкий, не расслабляющий. Вот как все оборачивалось, Лейда Игнатъевна.

Он погладил Лермонтова по нагретой спине, вернулся за стол, сел. Сцепил пальцы рук в замок и двинул их вперед, в бумажные торосы, как нос ледокола.

— Но я стал им говорить то, что я уже много лет и руководству повторяю: что наша интеллигенция в общем-то хо-

рошая, только очень идеалистическая и наивная. Что образованные люди у нас, — как дети. Что многие из них нас не жалуют, даже не выносят, но именно так, как дети не выносят порой родителей и наставников. Потому что им кажется: убирать бы наставников и родителей и милиционеров — ох, жизнь бы пошла развеселая да привольная, ух какие игры да пляски у них завертелись бы. А представить себе, какие драки у них сразу пойдут, как начнут кровянить и мучить и убивать друг друга посреди веселья, — на это ведь фантазии не хватает.

Лейда следила взглядом за разноцветными мигалками (красный-белый, красный-белый) сползающего вдаль по вечернему небу самолета, не поддавалась напору тишины, молчала.

— Но именно вот, если взять их идеализм и обернуть его лучшей стороной, то много полезного можно получить даже от их несмышленности. Вот если мы дадим Лейде Игнатъевне последний шанс, отправим ее в Европу, куда ей, по неопытности, так хочется, если встретится она вплотную с этими людьми, то что ж думаете, — не придет в ужас? не увидит, что все эти умберты из себя представляют? Что все они — бездушные бандиты и убийцы, для которых есть только две вещи на свете: власть и деньги, деньги и власть. Да именно за разрушенные свои мечты и идеалы она сама захочет отомстить им, сама захочет нам помогать. А чтобы не поддавалась соблазнам, не сбилась с пути, семья ее, конечно, здесь остается. И товарищи тогда со мной согласились. Решено, значит, дать вам еще один шанс.

— Нет, — сказала Лейда. — Я не хочу. Без семьи никуда не поеду.

— Да почему? Вот вы в Москву в командировку без семьи приехали. Так и там то же самое: командировка. Поработаете в свое удовольствие, поездите по Италии, осмотритесь, познакомитесь с людьми, а вернетесь — расскажете нам о своих впечатлениях. Нам все теперь про этого Умберто интересно. Может, хоть фотографию его привезете. А то даже не знаем, как он выглядит.

— Нет, это все не по мне. На такие задания специальные люди нужны. Тренированные. А у меня зубы будут стучать и язык заплетаться от страха. На второй же день им все про меня будет ясно.

— Как нам голову морочить, — вы не боялись. А как помочь родине нужно, — "ах, не могу, ах, спужалась".

— У вас, я знаю, гуманный подход, забота о человеке. А там, сами говорите, — закон джунглей. Мафия, "Красные бригады". Они церемониться не станут. Чуть что — взорвут, застрелят, собьют автомобилем — и концы в воду. Или как я в кино видела: в цементную балку замуруют. Стой потом, подпирай какой-нибудь мост или небоскреб.

— Ты послушай только, Мышеедов, как складно объясняет. С какими примерами. И в глаза посмотри — честность и сияние. А на самом деле перевести это надо так: "Не буду я на вас, душегубов, работать, не дождетесь".

— Так точно, товарищ подполковник. Строгость с ними необходима.

— А я вот, знаешь, иногда так устаю от их глупости, что думаю: а что если всем нам взять и уйти на месяц в отпуск. Всей организации, со всеми республиканскими и областными отделениями. Не то чтобы забастовка, а по-настоящему отдохнуть: порыбачить, позагорать, с детьми в лесу погулять, успокоить нервишки. И заодно посмотреть, как они все без нас будут обходиться. И они, чтобы тоже убедились, — как запахнет паленым из всех углов, когда нас не будет, какое самоедство у них начнется.

— Но ведь я почти то же самое говорю, — сказала Лейда. — Нельзя таких необученных вроде меня на такую ответственную и нужную работу.

— Опасность была бы, если б мы вас действительно засылали со спецзаданием. Втираться к ним, пролезать в организацию, но с вами-то все не так. У вас все для нас как по заказу складывается, Они сами вас зовут, работу в своем Фонде предлагают. Это ж, как выиграть в лотерею — один билетик из тысячи. Нельзя пропустить такой шанс. И все ваши темные махинации, все преступное непослушание и изворачивание — все мы вам простим за такую работу. А дел-то всего: раз в два месяца заходить в один китайский ресторан и вместе с чаевыми отдавать официанту микропеночку. Или даже записочку. А он, как у них положено, будет вам подавать "печенья судьбы" с запеченными в них вопросами и заданиями

— Да у меня это печенье в горле застрянет.

— Нет, вы не понимаете, Лейда Игнатьевна. Мы ведь не уп-

рашивать вас сюда привезли. Это вас квартира, видимо, с толку сбивает, книги по стенам, подушка с вышивкой. Не такое у вас сейчас положение, чтобы говорить: "не хочу". Тут выбор простой: либо в Италию на год, либо в Мордовию — на пять. А в мордовских лагерях — ох тоска для культурного человека. Да что я вам говорю. Сами, небось, в книжках запрещенных читали, все про эти места знаете.

По лилово-черному экрану окна поползли очередные красно-белые блески, и далекое гудение полилось в наступившую в комнате тишину. Подполковник Ярищев обмахивался журналом и глядел в потолок. Бронзовые эполеты Лермонтова слепили глаза.

— Из Мордовии все же возвращаются, — тихо сказала Лейда. — И там не нужно будет дрожать с утра до вечера. Или принимать решения. Мне все время, каждый день нужно что-то решать, решать, делать выбор. Нет больше сил.

— Ну что ж, как знаете, как знаете, — сказал подполковник, наматывая чуб на палец. Голос его звучал тускло и равнодушно. — Уговаривать вас — тоже у нас времени нет. И так уже дотемна просидели.

— Нужны ведь, кажется, какие-то формальности? Мне должны сказать, в чем меня обвиняют, предъявить какие-то бумаги?

— За этим дело не станет. Лейтенант, ордер на арест у тебя? Давай его сюда. А сам позвони из прихожей, вызови машину.

Лейтенант Мышеедов, забыв убрать с лица маску приветливой и вдумчивой озабоченности, передал ему бумагу, вышел.

"Вот и все, — подумала Лейда. — Вот наша птичка и долеталась".

Щемящая пустота в груди и звон в ушах — больше, казалось, не осталось ничего на свете. Раньше, когда она воображала себе этот момент, ей представлялось, что она испытает огромное облегчение, сможет расслабиться, отпустить пружину, державшую ее в напряжении весь последний год. Куда там! Пружина лишь переползла из сердца в голову и закручивалась, закручивалась там мучительной спиралью вопросов — один тягостнее другого. Будут ли вызывать на допросы детей? Кого-нибудь из родственников? Бывших мужей? Чем

им будут грозить, что смогут вытянуть? Что ей надо говорить чтобы не подвести друзей, помогавших ей? Букиниста, передававшего материалы в ту квартиру на окраине Таллина? Хозяйку квартиры — старую секретаршу отца? Загребет ли ее ненасытный полицейский невод? Отыщет ли, затащит ли Павлика? Серый чемодан? А что если и адрес на Добролюбова давно им известен? Что если там — ловушка?

Она услышала тяжелое сопение, подняла глаза. Подполковник сидел, уперев лоб в сцепленные пальцы, слегка покачиваясь взад и вперед. Потом повернул голову к окну и сказал сдавленно.

— Ну что ж, Лейда Игнатъевна. Хоть и глупо вы решили, а на этот раз — с выигрышем. Переупрямили судьбу, ваша взяла. Поедете с семьей.

"Не верь, — сказала она себе. — Просто сиди и молчи. Разве трудно — просто сидеть и молчать? И жди, что будет. А надеяться не смей"

Вернулся сияющий лейтенант.

— Машина будет через десять минут, товарищ подполковник.

— Выйдите, Мышеедов. И ждите в прихожей. Я позову.

Подполковник Ярищев помотал головой так, словно и сам относился с недоверием к тому, что собирался сказать.

— Поедете, Лейда Игнатъевна, по обмену. Нет, не по культурному, а, я бы сказал, по сугубо человеческому. Человек на человека — вот так. До того вы вашей умбертовской банде нужны, что они ни перед чем решили не останавливаться. Похитили одного из наших в Риме. Прислали ультиматум: менять на вас. И ведь знали, кого выбрать. Севу Архипова! Такого человека нашли, чтобы наверняка. Чтобы мы за него не то что запутавшуюся в махинациях дамочку, а и настоящего агента готовы были выпустить. Но все это пусть будет между нами. Поедете обычным путем — по израильской визе.

— Я не еврейка, — выдавила Лейда. — У меня и вызова-то нет.

— За этим дело не станет. Тем более, у вас сын наполовину еврей. Нам ведь много не надо: была бы хоть четвертинка, хоть осьмушка — вот и жид. Оформим вызов на него.

— Разве можно — на несовершеннолетних? Ему только-только семнадцать.

— И это не проблема. Годик накинём. Но вот одну вещь вы должны будете для меня сделать. Вот я пишу на карточке номер телефона. Вот возьмите. Это наше посольство в Риме. Так, на всякий случай. Вдруг тошно станет. Вдруг омерзает Фонд, синьор Умберто и вся эта шайка. Захочется что-то сделать, понадобится помощь. Вдруг... — сердитое сопение подполковника неожиданно перешло в слезливый вскрик. — Вдруг Россию станет жалко! Что вы все о своей Португалии да Греции плачете?! Россию! — Россию-то кто пожалеет, а? Кто, я вас спрашиваю?

Не дождавшись ответа, он всхлипнул, высморкался, сдвинул бумаги на столе, нажал на открывшуюся кнопку звонка. Вошел Мышеедов.

— "Воронок" можно отправить, лейтенант. Лейду Игнатъевну в своей машине отвезете в гостиницу. Пусть заберет вещи — и в аэропорт. Ей срочно надо вылетать в Таллин. Едет за границу. С семьей, по израильскому вызову. Я позвоню майору в Таллин, предупрежу. На сборы — две недели. Все. Рабочий день окончен.

## ОКТАБРЬ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, ТАЛЛИН-БЕРЛИН-ВЕНА

### 1

— Нет, я никогда не чувствовала себя здесь чужой, — говорила бабка Наталья, теребя черную вуалетку на пропахшей нафталином шляпе. — Никогда. Даже в двадцатые-тридцатые годы русская культурная жизнь в Эстонии была ключом. Выходили журналы и газеты на русском, работали театры, в церквях пели русские хоры. МХАТ приезжал на гастроли с лучшими спектаклями. Вы, конечно, слишком молоды и не могли видеть Михаила Чехова на сцене. А я помню его как сейчас. Боже, каким он был в "Эрике Четырнадцатом"! А Калугин, игравший Бориса Годунова! И как он говорил Ивану Грозному: "Кириллин день еще не кончился..."

Взмокший от беготни Мышеедов слушал ее краем уха, но на лице удерживал: "Как я мог жить до сих пор, не зная

всех этих поразительных вещей?" Очередь улетающих, выстроившаяся перед залом таможенного досмотра, подвигалась медленно. Крыло аэропорта, отведенное для международных рейсов, не было рассчитано на такие горы багажа, на такую толпу провожающих, и люди, устав от ожидания, послушно оставались там, где их зажало, издали улыбаясь друг другу, чертя пальцем в воздухе, кивая.

— Мой муж был недолгое время депутатом эстонского парламента, поэтому мы всегда имели контрамарки в правительственную ложу. И я могу вам сказать, что на русские спектакли съезжались сливки культурного общества Таллина. Причем всех наций. Даже на конференциях новых балтийских государств делегации Польши, Литвы, Латвии, Эстонии разговаривали, — на каком бы, вы думали, языке? Поневоле говорили на русском, потому что его знали почти все участники. Я была еще совсем девочкой, когда приезжал с концертом сам Вертинский. Как? Вы не знаете даже Вертинского? "В бананово-лимонном Сингапуре... пу-у-у-ре..."

Слушатель, которому некуда убежать, — это было именно то, что зажигало в бабкиных глазах охотничий блеск, заливало щеки и шею молодым румянцем. Лейда старалась не слышать с детства навязших в памяти фраз. Весь предотъездный марафон, с добыванием справок, разрешений, подписей, печатей, с толпой прощающихся, советующихся, помогающих в опустошенной квартире, вымотал ее настолько, что за две недели так и не нашлось получаса спокойно пройтись по городу и проститься. Да и сейчас вся атмосфера в зале, беспомощно-пустяковые реплики друзей, суетливое, в десятый раз, перебирание необходимых бумажек в сумочке и карманах, участливая опека шпикив (кроме Мышеедова, тут же вертелся и коротышка с усиками), тревога за какие-то памятные мелочи в чемоданах (фотографии, письма — пропустят или нет?) — все казалось таким унижительно мелким, недостойным, несовместимым со словом "навсегда".

Единственное, что грело: что ей все же удалось провести день с Павликом. Слежки за ней не было ни разу с самого приезда из Москвы, поэтому она не побоялась встретить его на вокзале, повезла в Кадриорг. Там было пусто, палая листва доходила до щиколоток, но клумбы разноцветного мха еще держались тут и там по каменным уступам, и это было почти похоже на начало, на то свидание, которое они

обещали друг другу прошлой зимой, — с поцелуями на холодном ветру, с отогреванием запущенных под одежду рук, с восхитительным чувством успешной кражи — другого, ненадолго, для себя. Сказочное избавление от кошмара, под которым она жила больше года, сделало ее такой болтливой, что она умоляла его останавливать ее время от времени, не давать выплескивать всего сразу. А он, гордый тем, что успел все же разделить с ней опасность (серый чемодан был успешно доставлен на улицу Добролюбова, и "энциклопедия Гранат" какими-то тайными путями пробиравась сейчас для встречи с ней в Риме), наоборот, выспрашивал, изумлялся, допытывался, заныривал все глубже в ее жизнь, в ее дальнейшее и ближнее прошлое, куда раньше она со страху его не пускала. Отношения с детьми, с бывшими мужьями, больница, ее опыты с кровью и всяким шаманством, воспоминания об отце — депутате-социалисте, канувшем в лагерной пропасти еще в 1944-ом, встречи и переписка с Силлерсом, вызовы на допросы — обо всем, казалось, теперь можно было говорить, потому что все это уплывало назад, как берег, отрезаемый расширяющейся полоской воды, все мельчало, утрачивало былую значимость.

И когда к вечеру, подзамерзшие и голодные, они приехали в домик на окраине, и деликатная старушка — хозяйка квартиры — ушла к соседке на "чай с бриджем", и они извлекли друг друга из вороха захоладовавшей одежды и нырнули вместе под пахнувшие корицей простыни, все было не так горячо и безрассудно, как тогда, в первый раз в гостинице. Оба были словно напуганы чем-то или смущены, оба осторожничали в касаниях, в поцелуях, в словах.

Потом она полежала лицом вниз и сказала в подушку, как будто извиняясь:

— Вздор, будто этим нельзя заниматься без любви. Можно, и очень даже самозабвенно, и совсем-совсем без любви, правда? А вот с любовью, но совсем-совсем без будущего — это оказывается потруднее.

И еще, добежав до холодильника и вернувшись потом с бутербродами и бутылкой пива, прижатой к голому боку:

— Когда подполковник сказал "поедете с семьей", конечно, в глазах все поплыло, но где-то в мозгу, знаешь, отпечаталось: впятером. То есть и с тобой тоже. А ты бы поехал?

— Замолчи, прошу тебя. Мы целый день этого не касались

и правильно делали.

— Интересно, что если б я сказала: "без него не поеду".

— Тебя бы отправили в другую сторону. И хочешь знать правду? Это было бы огромным, бесстыдным, бесчеловечным облегчением для меня.

Сейчас он стоял на узком балконе над залом, среди провожающих, смотрел печально и неотрывно, надрывал, злодей, сердце. Чего, собственно, она боялась, прося не подходить к ней в аэропорту? Что шпики возьмут его на заметку? Что хитрый подполковник, узнав, как-нибудь вплетет и его в сеть нового шантажа? А может, Эмиля, с его безошибочным чутьем и припадками белоглазой ревности?

Прийти на эмигрантские проводы в полной капитанской форме — это было типично в духе Эмиля. Он стоял в стороне, положив Оле руки на плечи, улыбался, вслушивался в ее слова, склонив голову, понимающе кивая. Лейда мысленно попыталась убрать очки в широкой оправе, фуражку и вспомнить это лицо — не лицо, а перекошенную белую маску со следами ее ногтей на фоне свисающих лоскутьями штор, содранных обоев, опрокинутых цветов, рассыпанной на столе земли. Нет, не получалось. Казалось слишком несовместимым. Да и тогда, десять лет назад, когда с ним впервые это началось, мало кто из знакомых верил ей. И все же сейчас она не могла бы сказать с уверенностью, с чего началось ее охлаждение к нему: с безумных сцен, драк и скандалов или вот с этого важного всепонимания, с вдумчивой назидательности, которая была сейчас на его лице, склоненном к дочери.

— Вот, попытка уговорить остаться со мной. Не хочет.

Они подошли, все еще полуобнявшись, но та поспешность, с которой Оля выскользнула из-под его руки и нырнула матери под мышку, ясно показывала — ей тоже было не по себе с отцом.

— Ну как ты? Не жалеешь? Не страшно? Я все же так и не могу понять: что тебя вдруг сорвало? Да еще так стремительно. Жила себе налаженной жизнью, никто тебе не досаждал. Кроме бывшего мужа, правда, хе-хе. А там? На что ты рассчитываешь?

— Как-нибудь устроимся. Так уж все сошлось, знаешь, пришлось срочно ехать. Много причин. И работу мне там обещают, есть знакомые. Не пропадем.

— Кажется, из всех провожающих у меня больше всего шансов увидеться с вами.

— Думаешь, тебя и впредь будут выпускать в заграничье? Родственники за границей — они ведь этого не любят.

— Во-первых, как тебе известно, у меня и другие дети есть — здесь, в Таллине. Заложников хватает. А во-вторых, наш брат-капитан почти не сбегает. Слишком высоко мы здесь стоим, слишком больно будет там падать.

— Оля напишет тебе, когда мы устроимся. Прости, если навлечем на тебя какие-нибудь громы. Поверь — выбора не было.

— Переживем, переживем... Только... — он наклонился к ее уху, взял за плечо. — То, о чем я тебе в письмах писал... Ну ты знаешь... про новое замужество... Это остается в силе... Я не допущу... не смогу стерпеть...

— Да кто меня возьмет — старушку с таким обозом, — попробовала отшутиться она.

— Нет, я серьезно... Очень... Ты же знаешь — это сильнее меня.

Он поцеловал ее в губы, всмотрелся долгим взглядом в лицо, кивнул. Потом чмокнул на прощанье дочь и бабушку Наталью, стал пробираться на выход — круглым путем, чтобы позвать руку и назидательно погрозить пальцем Илье.

Лейда рассеянно гладила по голове Олю, всматривалась в компанию, окружавшую сына. Там пили шампанское, смеялись, кто-то наигрывал на гитаре. Илья — все еще ошеломленный, не знавший, как реагировать на то, чего в жизни у него никогда не было — завистливое изумление кругом, — стоял в центре, часто утыкая лицо в стакан, облизывая исклотые пузырьками шампанского губы. Отец его был очень напуган их отъездом (он и без того еле держался на работе) и приехать на проводы не решился. Но Виктория примчалась два дня назад и теперь, зареванная и нетрезвая, висела на плече Ильи, бормоча что-то в ухо, пачкая помадой. Кажется, они тоже ухитрились выкроить время и проститься как следует. Их объяснения насчет затянувшейся на всю ночь вечеринки у приятелей звучали куда как путано. Вот, значит, и дожили: у моего сына женщина. Ох, только бы не всерьез. Впрочем, какое это имеет теперь значение? Все это остается где-то там, за расширяющейся полоской, уплывает, растворяется в дымке. Но неужели это физически возможно: пере-

стать дрожать за детей? Неужели пройдет несколько часов, и опухоль под названием "что они сделают с детьми?" исчезнет?

— Лейда Игнатьевна, вы следующая, — сказал Мышеедов. — Я предупредил, чтобы к вам не очень придирались.

— Да-да. Спасибо.

— В Вену мы сообщили вашим друзьям время прилета. Вас встретят. Вы уж уговорите их, чтобы они без фокусов. Чтобы Архипова сразу отпустили. И целехоньким.

— Я постараюсь.

— Вы же видели подполковника, поняли, какой он человек. Он ведь на свой почти риск на обмен пошел. Такого человека грех обмануть. Он за Архипова, если с ним что случится, вас на дне моря найдет и тут же акулам скормит. Извините, конечно.

— Да, я понимаю. Золотое сердце.

Прощаться нужно было перед входом в таможенный зал — оттуда уезжающих уже не выпускали. Поплыли в последний раз лица друзей: улыбающиеся, заплаканные, что-то говорящие. Мелькали и незнакомые — медсестра из больницы? Оли-на учительница? Свесился с баллюстрады Павлик с поднятой рукой, она замахала — вижу! помню! не упади! В последний момент вынырнул коротышка с усиками, стал с энтузиазмом жать и трясти руку.

— Вот так, значитца, обернулось... Уезжаете... Счастливы... Не забываете нас.

— Вас забудешь, как же.

— По всякому жизнь играет. Не довелось нам это самое... поближе... Удачливая ты... курва...

Именно этому словечку суждено было оказаться последним, что она слышала в прежней, доотъездной жизни. Потом стеклянно-матовая дверь таможенного чистилища задвинулась, и все голоса и звуки оттуда слились в ватный загробный гул.

## 2

Видимо, чувствуя что-то непристойное в том нервном и радостном возбуждении, которое охватило их в самолете, эмигранты старались сдерживаться, не привлекать внимания прочих пассажиров, вести себя достойно, как ведут выписанные из больницы под взглядами недавних соседей по палате. Но во время пересадки в Берлине, когда летевших на Вену

отвели в специальный зал ожидания, ликование стало прорываться открыто — размашистым жестом, громким смехом, готовностью заговорить с незнакомым. Полились обычные эмигрантские байки и легенды.

— ...А мой шурин, представляете, решил вывезти несколько бриллиантов в каблуке, но в последний момент испугался и перед самым таможенным залом обменялся ботинками с братом. А кто-то, видимо, еще раньше донес. Потому что в зале его сразу на обыск и сразу: "Снимай ботинки". Искрошили в мелкие куски — и полный конфуз. А шурин приободрился, кричит: "Я босиком в Европу не поеду. Вы не имеете права меня без обуви выгонять". А они: "Мы вам не обувной магазин. Возьмите у кого-нибудь из провожающих ботинки и летите с глаз долой". Тут брат его разувается и — ха-ха! — чего не сделаешь для родного человека! — отдает ему ботинки. Так шурин и улетел с бриллиантами.

— Да, удачно. А вот из Грузии, говорят, подпольный миллионер уезжал. Все, конечно, понимали, что он будет миллионы вывозить. Но как? Уж обыскивали их, уж смотрели — каждую вещь лазером прощупывали. А у него и вещей почти не было. Так — одежонка, фотоаппарат, ковер, обручальные кольца. Правда, мебели дешевой купил в магазине. Уж таможня эту мебель щупала, нюхала, скребла, ковыряла. И ничего — так и отпустили. А он приехал в Израиль, получил по морю свою мебель и все гвозди тут же из нее клещами повытаскивал. А гвозди-то из платины. Вот так-то.

Бабка Наталья тоже нашла собеседницу: молодую женщину, не слышавшую песен Лещенко, стихов Северянина, не выдавшую в кино Мэри Пикфорд, считавшую, что Эстонию русские отвоевали у Англии во времена Крымской войны. Илья, отведя Олю к высокому окну, складывая и разводя ладони, объяснял механику самолетного крыла.

— Называется закрылки — видишь? Вот он разгоняется, и сейчас закрылки пойдут вниз. Видела?! видела?!.. И сразу подъемная сила возрастает и джи-и-их его — вверх. А когда садится, теми же закрылками — тормозит. Будем опускаться в Вене, я тебе покажу.

Стюардесса, опершись изящной попкой о барьер, листала модный журнал. Красавица на обложке изнывала в счастливой истоме: вязаный шарф и шапочка заполняли последний пробел в списке исполнившихся мечтаний. Другая стюар-

десса пришла по проходу, вчиталась в бумажный квадратик, который был у нее в руке, с трудом, по слогам произнесла:

— Фрау Лейда Ры-гель?..

Лейда подошла к ним.

— Это я.

Стюардесса извиняющимся тоном произнесла какую-то тираду, в которой несколько раз повторялись слова "битте... телеграмма... Вена... битте..."

Илья и Оля, повернув головы от окна, с тревогой смотрели в их сторону.

— Я вернусь через пять минут, — крикнула Лейда. — Телеграмма из Вены. Наверно, от Чарльза.

Она помахала им, улыбнулась, пошла вслед за стюардессой. Коридор повернул вправо, влево, уперся в лестницу с узким эскалатором сбоку. Лейда ступила на ползущие ступени, стюардесса, улыбаясь, пошла рядом по каменным. Маленькая игра — кто быстрее. Потом снова был коридор и двери, автоматически раздвинувшиеся в просторный, гудящий зал.

Телефоны, скамьи, багажные тележки, чемоданы, одежда людей, лампы, пепельницы — все другое. Заграница. Первый раз в жизни. Очень много голого бетона. Крупно и угловато. Наверно, так им нравится. Или не принято замечать. Или стало привычным с детства, с бомбоубежищ. И эта военная форма, так открыто копирующая ту, прежнюю. Только свастику добавить. Но ничего. Мы здесь проездом. Только несколько минут.

Стюардесса подошла к почтовой стойке, показала клерку бумажку. Он порылся в своих ящиках, развел руками. Она начала настаивать. Он показал пальцем в другой конец зала. Стюардесса сердито кивнула, поманила Лейду за собой, быстро двинулась сквозь толпу. Лейда поравнялась с ней, показала руку с часами.

— Flugzeug... Versaumen...

Стюардесса повернула к ней застывшую улыбку, похлопала по руке.

— Успевать... все карашо... раз-раз — быстро... Самолет ждать...

Зал тянулся бесконечно, уводил их все дальше. Страх, тугой и холодный, как резина, начал раздуваться в груди. Сама она уже не смогла бы отыскать дорогу назад. И что мог-

ло быть в телеграмме? Не могут встретить? Надо будет ждать в аэропорту? Или самой ехать, отыскивать Фонд?

Названия городов ползли по световому табло в россыпях загадочных цифр: Zurich, Buenos Aires, Washington; Madrid; Delhi, Kairo... Указующие стрелы с непонятными надписями распоряжались людским потоком, дробили его на ручейки, направляли в нужные русла. Каждые две минуты гул взлетающего самолета заливал зал от пола до потолка, вытеснял все прочие звуки. Стеклянные витрины с сувенирами, с туристской рекламой, с пирожными и шоколадом, с дорожными сумками, журналами, лекарствами, снова сувениры...

Наконец появилась стойка и надпись над ней: Telegraph. Клерк слушал стюардессу, кивал, тыкал пальцем в бумажку, потом в ту сторону, откуда они пришли. Стюардесса покраснела, начала что-то гневно кричать сквозь шум очередного самолета. Клерк прижимал одну руку к груди, другой указывал вверх (на Бога? на начальство?).

— Dummkopf... Entschuldigen sie!.. Они относить телеграмма самолет... Туда назад... А нас звать сюда... Гонять, как баран...

Стюардесса не находила слов от бешенства.

Обратно они почти бежали. Встречные пассажиры едва успевали шарахаться в сторону. Вот наконец раздвижные двери, лестница с эскалатором. Коридор, опустевший зал ожидания... На летном поле ветер ударил в спину, туго облепил, защелкал полой плаща. Самолет ждал, другая стюардесса маячила наверху у открытой двери, придерживая шапочку рукой. Лейда начала подниматься по трапу, цепляясь за ледяные перила, махнула своей провожатой, выкрикивавшей снизу последние entschuldigen.

— Скорей, пожалуйста... Мы задержались... Битте...

Они едва успели войти в самолет, как трап начал отъезжать.

— Здесь ваш телеграмм... Они стали приносить сюда... Вышло неудачно... Кто-то не понял... Но теперь все ничего, хорошо...

Облегчение, тепло, улыбающиеся лица эмигрантов. Бабка Наталья привстает из кресла, машет ладошкой. Лейда плюхнулась рядом с Олей, подставляя шею безжалостному объятию. Стюардессе пришлось самой вытягивать концы ремня застегивать на ней пряжку.

Самолет уже полз в сторону взлетной дорожки. Желто-синий бензовоз в иллюминаторе уплывал назад, контрольная башня поблескивала трапециями окон.

Оля, вытянув шею, высматривала что-то впереди, в проходе между креслами.

— Мама, а где Илья?

Лейда рванулась прочь из кресла, забыв расстегнуть пояс.

— Что ты?.. Что?.. — бормотала бабка Наталья. — Мы думали, он с тобой... Позвонили по телефону, сказали, что ты просишь его прийти на почту... Что есть телеграмма на его имя из Ленинграда. Разве нет? Что случилось?

— Да ничего страшного, — говорила женщина, не слышавшая о Лещенко и Северяnine. — Подумаешь, отстал парень. Прилетит следующим рейсом, никуда не денется.

Подбежавшая стюардесса давила Лейде на плечи, пыталась усадить.

— Так нельзя... Пожалуйста... Самолет взлетать... Невозможно... Читайте телеграмм... там все объясняют...

— Остановите немедленно! Я никуда не лечу! Негодяи! Будьте вы прокляты!

Самолет, наливаясь дрожью, несся по взлетной полосе.

— Что?.. что вы хотел сказать?.. Успокойтесь, пожалуйста... Я приносить воду... Но обязательно садитесь... В телеграмме все объясняют... Так они сказали... Нужно читать телеграмм...

— Я вернусь! Я все равно тут же вернусь!.. Никакого обмена не будет!..

Оля плакала, цепляясь за нее руками.

— Мама, что с тобой?.. Мама, скажи что-нибудь!

Лейда продолжала что-то беззвучно кричать, рвалась из рук, царапала пальцами пряжку.

Дрожь под ногами вдруг исчезла — самолет взмыл в воздух.

Стюардесса едва успела выдернуть и раскрыть бумажный пакет, уткнуть в него лицо Лейды.

Пассажиры смотрели брезгливо и сочувственно.

— Конечно, два взлета в один день.

— Да еще нанервничаетесь...

— Непривычному человеку много ли надо.

— Меня уже в таможне от страха чуть не вырвало.

— А тут еще сын отстал...

Когда светящиеся таблички разрешили отстегнуть ремни, стюардесса отвела Лейду в уборную, помогла умыться. Только вернувшись на место, смогла она распечатать конверт, поднести к глазам скачущие строчки.

Телеграмма-письмо от полковника Ярищева

"Надеюсь, Вы успокоились теперь и сможете ясно оценить ситуацию.

Во-первых, с Ильей ничего плохого не случится. Но так как выяснилось (Вы сами подтвердили документально), что ему уже восемнадцать, придется послужить в армии. Три года. И в течение этих трех лет мы будем рассчитывать на Ваше сотрудничество, на Вашу помощь. Судя по тому, что Вы предпочли лагерь разлуке с семьей, Ваши материнские чувства еще живы. Потом отпустим его на все четыре стороны.

Во-вторых, Севы Архипова не существует. Он — вымысел. Небольшой спектакль по системе Станиславского. Которая, как видим, все еще срабатывает, что бы о ней ни говорили поклонники сценического модерна. То есть никто выменивать Вас не собирался. (Много чести.) Вы появляетесь в Вене на правах обычной эмигрантки, сами связываетесь с Фондом, сами поступаете к ним на работу.

Хочу подчеркнуть особо: у них не должно быть никаких подозрений насчет Вашего знакомства со мной. Именно поэтому в гостиницу лейтенант пришел не с вызовом на допрос, а представился секретарем конференции. Именно поэтому Вы едете не по туристской визе (они бы не поверили), а по израильской.

По поводу же Ильи Вы в с е м (Фонду, друзьям, семье) будете говорить следующее: что он с самого начала не хотел уезжать; что у него в Ленинграде — любовь; что согласился на все это лишь для того, чтобы помочь уехать Вам (единственная половинка еврея в семье); что у Вас все же сохранялась надежда, что он передумает и останется с Вами и что именно поэтому Вы так переволновались в Берлине, когда увидели, что он намерений не изменил и повернул назад.

Настоятельно рекомендую: не пытайтесь играть со мной в игры, не выкидывайте трюков. Поймите: малейшее подозрение у синьора Умберто — и Вас не берут на работу в Фонд. Если же Вас не берут в Фонд (или берут, а потом увольняют), я расцениваю это как саботаж с Вашей стороны, и Илья

немедленно получает перевод из обычных войск в войска лагерной охраны. И отправляется охранять заключенных на урановых рудниках. А там, Вы сами знаете: если и выживают, то как бы наполовину. Нормальными людьми не выходят.

То же самое — если Вы забудете позвонить раз в месяц нашему человеку в Риме (телефон заучите, прежде чем уничтожить телеграмму) или откажетесь выполнять его распоряжения.

Напоминаю: все это на три года. Как воинская повинность. Потом "демобилизуем". Даже если захотите вернуться обратно, — и это устроим.

Вам, конечно, сейчас трудно в такое поверить, — что можно захотеть вернуться. Как и все интеллигенты, Вы воображаете, что жизнь устроена по логике: человек по своей охоте полюбит что-то, поверит во что-то и тогда начинает по доброй воле выбранному делу служить. Ан нет, все наоборот. Если жизнь заставит вас служить чему-то, заставит безжалостно, жестоко, даже под страхом смерти, вот тогда только сумеете Вы полюбить то, чему служите. Может, и с Вами произойдет такое: послужите Родине — и полюбите ее.

Все.

Лирическая часть окончена. Деловая — тоже. Можно приступить к исполнению.

Отныне Ваш непосредственный начальник, полковник Я.

## **НОЯБРЬ, ПЕРВЫЙ ГОД ДО ОЗАРЕНИЯ, РИМ**

1

— Ну, так как же вам удалось вырваться? Это просто невероятно. Когда Аарон позвонил и сказал, что вы в Вене, я не могла сначала понять, о ком он говорит. Хотя как раз недавно мы снова обсуждали, как помочь вам уехать. Этот ваш реферат, вывезенный Силлерсом, — он был просто сенсацией. Правда, не среди медиков — те воротили нос. Но синьор Умберто был в восторге. И Джина тоже заинтересовалась. Хотя ее трудно чем-то удивить. Джина — сестра синьора Умберто. Она старше его и... Нет, подождите. Сейчас будет один труд-

ный въезд и после него — хайвей. Тогда начну рассказывать по порядку.

Сильвана перехватила покрепче руль, покосилась в зеркальце, потом назад и резко добавила газ. Фиат рванулся вперед и вылетел на наклонный трехленточный изгиб шоссе.

— Мы поедем не через город, а в объезд. Так спокойнее, можно поговорить. Соборы, музеи, колизеи — все посмотрите потом. У вас будет время. Главное, я хочу рассказать вам немного о синьоре Умберто и его семье. Чтобы вы могли внутренне подготовиться к первой встрече. Чтобы некоторые — как бы их назвать — странности в их доме не шокировали вас с непривычки. Фанцони еще и в прошлом веке были знамениты экстравагантностью. Каждый был с каким-нибудь вывихом. То, что досталось Умберто, далеко не худшее. Всего лишь страсть к азартной игре. Это сделалось очевидно в нем уже к пятнадцати годам. Вы, конечно, знаете, что такое рулетка?

— Читала у Достоевского. Роман "Игрок", письма к жене. "Дорогая Аня, мне нет прощения, я опять все проиграл... Заложи шаль и брошь, вышли 20 талеров..."

— С той лишь разницей, что и Достоевский сам, и его герои вечно проигрывались в пух, а Умберто нет. У него это, как талант. Он способен был уйти на взлете удачи, уйти с выигрышем. И способен уйти, как только фортуна поворачивалась спиной. Правда, покинув рулетку, он тут же шел к бильярду или к карточному столу, но и там на смеси искусства и чутья обычно выигрывал. Отец проклинал его за порочную страсть, но, по чести сказать, больших неприятностей семья с ним не имела. Устав от домашних скандалов, он уехал в Америку учиться, женился там, получил очень хорошую должность в электронной фирме, потом работал в патентном бюро, еще где-то, получил гражданство, развелся, осел в Нью-Йорке, занимался то тем, то этим, но главное — играл. И семью это мало трогало до тех пор, пока жив был старый Фанцони.

Сильвана сняла перчатку, потянулась за сигаретами. Шоссе шло по склону горы, делая в ней правильный треугольный вырез. Каменистый срез вертикального катета поверху был украшен бахромой из пожелтевших кустов, травы, свисающих корней.

— Джина после похорон отца немедленно вылетела в Нью-Йорк. Она всегда имела сильное влияние на брата, умела найти подход к нему. И тут тоже: не стала взывать к совести, к чувству долга, не жаловалась на то, что им, женщинам (мать еще жива), не управиться с запутанными финансами и всеми фирмами, принадлежавшими к тому моменту конгломерату Фанцони. Она просто спросила: сколько часов тебе удастся выкроить в день на игру? Четыре? Максимум пять? А если ты возьмешь в свои руки управление делами, ты сможешь играть двадцать четыре часа в сутки. Ибо нет более азартной и более интеллектуальной игры, чем бизнес. Ты сможешь делать последние ходы и ставки, уже лежа в постели, уже засыпая, а результаты будешь получать, проснувшись утром, сможешь возобновлять игру за утренним кофе и газетами. И представьте, это сработало. Умберто вылетел с ней обратно в Рим. Хотя раньше и слышать не хотел об участии в семейных делах. Может быть, потому что был на ногах с отцом. А тут прилетел хозяином. И с тех пор самолично распоряжается всеми финансовыми и промышленными делами. Довольно успешно. Но в своеобразном, многих отпугивающем стиле.

— Вы давно работаете у них? — спросила Лейда.

— Скоро семь лет.

— И как вам этот "своеобразный стиль"? Вас не отпугивает?

— Видите ли, оказалось, что у меня тоже пристрастие к игре довольно сильное. Даже если в игре мне отведена роль пешки. Насилюя метафору: меня волнует, когда Главный Игрок берет меня пальцами и передвигает на другую клетку. Ведь пока игра жива, пешка тоже полна жизни: она таит в себе угрозу даже для крупных фигур, она может защитить короля, может прорваться в ферзи. Все неудобство же сводится лишь к тому, что вы никогда не можете предугадать следующего хода Умберто. Обычный бизнесмен обязан подчиняться в своих делах одному критерию: выгоде. Он может заблуждаться, может ошибаться в расчете, может быть дезинформирован, но так или иначе вы заранее знаете: он двинется туда, где обстоятельства сулят максимальную прибыль. Не то с Умберто. Он может увлечься оригинальным поворотом игры и при этом наплевать на возможный проигрыш. Игра для него дороже денег. То же самое и в отношениях с людьми.

И это вам обязательно нужно помнить. Для него нет нужных-ненужных. Есть те, с кем интересно играть, и те, с кем нет.

— Но какое отношение это может иметь ко мне? Если мне действительно дадут лабораторию и полную свободу действий на год, у меня и поводов не будет встречаться с Главным Игроком. Чарльз говорил, что у него...

Да, месяцами про вас могут не вспоминать, но вдруг... Направление работ, финансы, местоположение лаборатории, состав сотрудников — он может вмешаться во что угодно. И не станет объяснять, почему он делает то или другое. Так что у вас может зародиться подозрение, будто это делается нарочно, чтобы разозлить вас, досадить, наказать, испытать, унижить, показать власть. И вполне возможно, что так оно и окажется. А точнее вы никогда не узнаете, что было на самом деле. Непредсказуемость! Обманные ходы игрока, втянутого в игру на ста досках. Но если вы хотите удержаться в Фонде, нужно быть к этому готовой.

Дорога перестала подниматься, выровнялась. Внизу блеснула река, а дальше, за холмами — панорама города, задернутая пасмурной дымкой. Все, что раньше было лишь картинками под папиросной бумагой в отцовской энциклопедии, миражом несбыточных путешествий — собор святого Петра, замок Ангела, дворцы Фарнезе, Квиринал, — теперь оказалось неправдоподобно конкретным, стоящим на земле, отяжелевшим от времени, влажности цепляющих за кресты и шпили туч.

— Второе, что вам необходимо знать: про Джину. — Интонации Сильваны неуловимо изменились, голос стал суше, напряженной. — Не в пример брату, она окончила два университета. Профессор химии, обладательница всяких почетных степеней. С огромными связями в кругах научной братии. Естественно — главный советник Умберто по Фонду и вообще по всему кругу лабораторных работ. Ваши отчеты тоже в первую очередь будут попадать ей. Если она сочтет себя не компетентной, всегда найдет, кому послать на отзыв. Не замужем. Имела роман с аспирантом лет на десять моложе ее. Дело почти дошло до помолвки. Но случилось несчастье. Ужасное. Взорвалась подложенная кем-то бомба. Ей оторвало ноги.

— О Господи, — выдохнула Лейда.

— На левой — лишь ступню, но правая — выше колена.

В университете, в помещении кафедры. Может быть, целили и не в нее, в кого-нибудь другого. Хотя она-то считает — в нее. Студенты ее любили, и по взглядам она была довольно розовой. Но, во-первых, богачка, а во-вторых, очень против насилия. У нас могли, конечно, и за это. Однако возмущение было таким всеобщим, что ни одна из банд не призналась. Это произошло шесть лет назад, год спустя после того, как Умберто вернулся в Италию.

— А аспирант?

— О, он готов был "сдержать слово", но именно так, как они умеют — знаете? Стиснув зубы, выкатив желваки. Она отказалась принимать жертвы, отпустила его. После больницы пыталась вернуться в университет, ей устроили грандиозную встречу, кресло засыпали цветами так, что колеса едва торчали. Но через неделю она поняла, что не сможет. Что шок был слишком силен. Что про каждого встречного будет думать: "А вдруг о н ?" Пришлось расстаться с университетом. Умберто готов был отдать ей любую отрасль, любой банк в ее распоряжение, но все это только нагоняло на нее тоску. Она хотела заниматься наукой. У нее не было своих идей, зато были талантливые друзья, не имевшие средств на исследования. Она упростила Умберто отдать им пустовавший этаж одной из фабрик, и неожиданно, через год, эта доморощенная лаборатория под ее руководством выдала необычайно эффективные результаты. Принесшие Фанцони весьма ощутимый доход.

— Так зародился Фонд?

— Поначалу — только как игрушка для Джини. Но постепенно и брат и сестра стали увлекаться им все сильнее, все больше вкладывать денег и времени. Хотя никаких сенсационных открытий пока не сделано, несколько наших патентов сейчас охотно раскупаются во всем мире. Так что и деньги уже возвращаются с лихвой. А главное — Джина просто ожила. С утра до вечера она занята только делами Фонда. И еще безопасностью.

?..

— Со времени покушения ее, видимо, не оставляла мысль: как оградить Умберто, мать, себя, всех нас от повторения этого ужаса. Как защититься? Это ведь главная профессорская иллюзия: что если хорошенько посидеть и крепко подумать, то можно разработать стопроцентно надежную

систему на любой случай жизни. И тут ученого осла не переупрямишь. Нет, ради Бога, Лейда, я не имела в виду...

— Ничего, ничего. Водится за нами этот грех, с правдой не поспоришь.

— Конечно, многое ей удалось улучшить. Она верно подметила, что подавляющее большинство убитых террористами погибли у порога собственного дома. Поэтому ни один из видных служащих фирмы Фанцони не дает своего домашнего адреса или телефона в телефонные книги или еще какие-то справочники. Конечно, если очень надо, убийца пронюхает, где вы живете. Но все это дополнительный труд, хлопоты, время, а ему же не терпится разрядить на ком-то свою ненависть и, как правило, все равно на ком. Чем больше хлопот вы ему подсунете, тем меньше шанс, что он выберет вас. По тем же причинам нам категорически запрещено разговаривать с репортерами. Ведь ты даешь интервью, а где-то в дешевой квартире юноша с благородным лбом и автоматом Калашникова под подушкой читает его, подчеркивает нужные детали, уточняет план атаки. Так что тщеславным людям у нас нелегко. Как у вас с этим?

— С тщеславием? Наверно, плохо. Хочется иногда под фотовспышки, под телекамеры.

— Об этом забудьте. Если, конечно, хотите работать в Фонде.

— Очень хочу.

— Потому что произошло то, чего и следовало ожидать. Вы ставите новые замки на дверях, решетки на окнах, телекамеры у ворот, сигнальные системы и прочее. Но кто-то ведь должен откликаться на сигнал тревоги, быстро являться на место происшествия. На полицию надеяться невозможно. Так что логичный профессорский ум вынужден сделать следующий шаг: завести охрану. Вооруженную. И Джине от этой логики никуда было не деться, при всей ее ненависти к насилию. Конечно, начали происходить всякие эпизоды. То какой-то взломщик был ранен, схвачен и сдан в полицию. То погнались за подозрительным типом, крутившимся около ограды одной из фабрик, а бомба, спрятанная у него за пазухой, возьми да и взорвись. Случались и перестрелки.

— Но с кем? Кто их подсылает? Или бывают и просто грабители?

— Часто мы даже не знаем, кто на нас нападает и с какой целью. На расследование у нас уже ни сил, ни времени не хва-

тает. Мы просто пытаемся защитить себя. Но так как мы это делаем довольно успешно, так как появляются убитые и раненые, нам начинают мстить. Кто-то (опять же, мы не знаем кто) считает уже нас кровным врагом. Кто-то воображает, что с таким старанием, как это делаем мы, можно защищать и охранять лишь несметные сокровища, а значит, надо приложить все усилия, чтобы добраться до них. И все постепенно перерастает в тягучую, изнурительную войну с невидимым врагом. Мы, — как королевство, окруженное со всех сторон дикими разноплеменными кочевниками. Никогда не знаешь, откуда они нападут, какой породы, куда скроются. И то, что пытаются делать Джина, увы, тоже похоже на возведение Великой Китайской стены. Так же логично, великолепно, дорогостояще, громоздко и в конечном итоге уязвимо.

Парад виноградников на окрестных холмах медленно поворачивался вокруг нескольких черепичных крыш, красневших в лощине. Сельская дорога тянулась справа, и старенький грузовичок пылил по ней, по-улиточьи высывая нос из-под горы плетеных корзин, навязанных сверху. Прорвавшееся солнечное пятно одиноко лежало на дальней горе.

— В Вене вам помогал Аарон Цимкер. Заметили его руку? Он сказал вам, как потерял пальцы?

— Нет.

— Все так же. Еще весной все его пальцы были на месте. А потом — встреча с кочевниками. И при этом — счастливо отделался. Охрана подросла в последний момент. — Сильвана покосилась на Лейду, хлопнула по руке. — Я не запугиваю вас, нет. Но Джина попросила меня описать вам, как обстоят дела в королевстве Фанцони. Она считает, что играть надо честно. В отличие от Умберто. При Умберто она бы не решилась все это рассказать. Ибо он-то убежден: пешку не спрашивают, хочет ли она занять свое место среди других фигур. Чем меньше пешка знает, тем лучше. Кстати, при этом будет обращаться с пешкой так галантно, что она может легко вообразить себя ферзем. А на вас у него вообще какие-то особые виды. То, что он приглашает нового сотрудника к себе домой, — небывалый случай. Ага, вот и наш поворот. Теперь уже совсем рядом — две минуты.

Асфальтированный въезд поднимался к воротам виллы размашистой дугой. Трава, аккуратно расчесанная на полосы газокосилкой, все еще зеленела. За оградой тоже была остав-

лена открытая лужайка, и лишь потом вставала стена из кустов и деревьев, скрывавшая само здание почти до крыши.

— Представьте себя на минуту кочевницей-террористкой, — поясняла Сильвана. — Вы не можете приблизиться незамеченной ни пешком, ни на машине. Гранатомет или ракета тоже становятся бесполезны благодаря саду. Вас удивляет, что ворота при этом не заперты? Сейчас увидите самое интересное.

Стоило им въехать между распахнувшимися створками, как две стальные штанги упали сзади и спереди, как шлагбаумы, заперев их в тесном пространстве. Еще одна штанга, с литой декоративной вазой на конце, наклонилась к стеклам, и из горлышка вазы блеснул глазок телекамеры. Сильвана улыбнулась глазку, помахала рукой. Только после этого все три штанги поднялись, и машина зашуршала дальше по ракушкам дорожки.

Двухэтажное здание имело все завитушки, лепные гирлянды, ниши, фигурные водостоки, необходимые, чтобы попасть в разряд архитектурных памятников. Только в рисунке фасада чувствовалась какая-то диспропорция, новомодняя искусственность. Всмотревшись, Лейда поняла: первоначально внизу был еще один ряд окон, полуподвальных. Штукатурка выглядела чуть светлее в местах заделки, и гладкая стена поднималась от цветочных грядок до подоконников первого этажа довольно высоко — рукой не достать.

Дверь при их приближении тихо щелкнула бронзовой ручкой, открылась сама, впустила их в небольшую прихожую. Сильвана уверенно повернула направо, открыла еще одну дверь, пропустила Лейду вперед. Зал был без окон, свет шел от застекленного потолка. Пестрый кафельный пол обрывался ступенями, ступени уходили в голубоватую воду бассейна.

— Для начала гостям предлагается приятный сюрприз.

Сильвана сняла жакет, подошла к широкому "зеркалу у стены, начала расстегивать блузку.

— Но у меня нет с собой купальника, и вообще...

Лейда поймала легкую усмешку Сильваны, умолкла, пожала плечами. Раздеваясь, они косились друг на друга в зеркале — сначала украдкой, но потом встретились взглядом, поймали друг друга на подсматривании, рассмеялись.

— Как видите, бассейн идет от стены до стены, так что вы не можете попасть внутрь дома, не искупавшись. Раньше вы-

давались и купальники, но потом Джина решила, что это излишество. Теперь только резиновые шапочки. Вот возьмите.

Сильвана не сразу убрала руку, погладила Лейду по проступившей решеточке ребер, по впалому животу, завистливо зацокала языком.

— И как вам это удастся? Я сижу на диете месяцами, а все без толку.

Она забрала в горсти валик жира, шедший по спине и бедрам, гневно оттянула его. Участки незагорелой кожи на ее теле были похожи на три узкие ленточки — последняя дань пляжным условностям. Такие узкие, что темные пятна вокруг сосков почти касались загара. Побросав всю одежду в пластмассовую корзину, она задвинула ее в нишу к стене.

— О Господи, — сказала Лейда, выдергивая ногу из воды.

— Холодная?

— Нет... Вода нормальная, но там... Я видела чьи-то руки. Кто-то принял у вас эту корзину.

Нам вернут ее на том берегу. Теплой, прямо из-под утюга.

— Но ведь это... Получается, что дело не только в приятном сюрпризе гостям...

— Боятесь произнести грубое слово "обыск"? Да, отчасти так. Но согласитесь — обставлено с изяществом.

Сильвана зажала нос, зажмурилась и с комической покорностью судьбе, боком плюхнулась в воду. Лейда взвизгнула, прикрываясь от брызг, нырнула следом.

## 2

Брат и сестра были очень похожи друг на друга, но с той неумовимой разницей черт, при помощи которой бездушные гены устраивают порой свои жестокие шутки. То, что у него выглядело утонченностью, у нее было доведено до костлявости; к паре больших черных глаз — таких же, как у него, — ей было чуть недодано длины век, и при этом влажная томность исчезала, а оставалась только настырная пучеглазость. Черные волосы, спокойно кудрявившиеся у него до плеч, у нее были завиты природой чуть круче, что мгновенно превращало их в жесткую, круглую шапку, доступную разве что ножницам садовника.

Но все эти различия Лейда разглядела потом, а в первую минуту они улыбались ей навстречу так дружно и искренне, что выглядели почти близнецами. Джина приподнялась в крес-

ле, притянула ее к себе за шею, чмокнула в щеку.

— Наша милая, невероятная беженка! Наконец-то. Чем все же хорош деспотизм — он непредсказуем. Хочу — казнь, хочу — помилую, хочу — сгною, хочу — отпущу на все четыре стороны. А значит, человеку всегда оставлен просвет надежды. Может, на этом просвете он, деспотизм, и держится так прочно?

Умберто кивал, гладил ей руку, обводил глазами с ног до головы.

— Теперь все будет славно... Не надо больше беспокоиться ни о чем... Работа, будущее, устройство — во всем положитесь на нас. Вы даже представить себе не можете, как вы нам нужны, и именно сейчас. То, что вас отпустили, — тут явно не обошлось без вмешательства высших сил. Во всяком случае, тех, что на нашей стороне.

Его американизированный английский Лейда понимала с трудом. Он был ниже ее ростом, но при этом как-то ухитрялся смотреть на нее свысока. Может быть, так казалось из-за его манеры заводить глаза к потолку. Он как бы постоянно рвался воспарить мыслями в заоблачные сферы и лишь по доброте и снисходительности заставлял себя всякий раз спускаться к собеседнику.

— Я слышала, что сын ваш решил остаться? Как это вышло? Так влюблен? Вы, наверно, очень переживаете? Дети в этом возрасте ужасные сумасброды. И при этом вопят только об одном: что их не понимают. Ни у меня, ни у Умберто не было своих, но я насмотрелась на студентов. Да и Сильвана нам рассказывает время от времени. Что нового у Марио? Оставили его в университете?

— Слава Богу, да. Выяснилось, что он не принимал участия в сожжении портфеля этого профессора. Он просто проходил мимо, и у него одолжили зажигалку. Какие-то старшекурсники. Он даже не был знаком с ними.

Сильвана закончила расставлять стаканы и бутылки на низком столике у дивана, еще раз вернулась к бару, принесла лед и орешки. Умберто подкатил кресло с Джиной, что-то тихо спросил по-итальянски, принялся смешивать коктейль. Вся стена гостиной с этой стороны была почти целиком закрыта старинным гобеленом. Пышная кавалькада всадников не спеша ехала к воротам замка, и тигры, олени, вепри, носоро-

ги, медведи с злобной завистью глядели им вслед из придорожных кустов.

— Лейда, прошу вас, вон туда — на диван. Чтобы мы могли вас видеть. Нужно поговорить о делах до прихода остальных. Я налью вам того же, что и Джине — идет? Итак, прежде всего: реферат ваш был послан на отзыв двум специалистам по гематологии, не знающим друг друга. Они прочли его, и оба единодушно заявили — один покороче, другой подлиннее, с доказательствами и обоснованиями, — что идея, в нем изложенная, — Умберто с мечтательной улыбкой завел глаза к потолку, помедлил и закончил с интонацией еле сдерживаемого торжества, — ...абсолютно антинаучный бред, мистика и чушь.

Джина с тревогой потянула его за рукав, но он отмахнулся, сосал дольку лимона, насаженную на край станакана, снова закрыл глаза.

— Лейда должна знать — и, чем раньше, тем лучше. Пусть у нее не будет иллюзий, что ее работу всюду встретили бы с распростертыми объятиями. Чтобы она не сказала год спустя: "Ах, они меня заманили, сбили с толку, а так я без труда могла бы получить кафедру в любом университете". У нас ведь уже бывали подобные ситуации — помнишь?

— У меня нет никаких иллюзий, но все же... Я не понимаю, какой отзыв можно написать на реферат, если там не описана проделанная работа? В лучшем случае они могли бы заявить, что это не перспективно, не достаточно продумано, не внушает доверия, нуждается в проверке.

— Хорошо, не будем больше про этих ученых педантов. Успешная научная карьера начинается с ампутации фантазии — это мы знаем. Джина, не поджимай губы, к тебе это не относится. Мы оба еще сохранили какие-то крохи воображения. Поэтому и даем Лейде попробовать. Лаборатория, оборудование, сотрудники — все это у вас будет. Но не сразу. Несколько месяцев спустя. Уже после того, как мы переберемся... Ну что, сказать ей?

— Какой смысл тянуть?

— Переберемся в Америку. Да, Лейда, мы решили, что для нового проекта, задуманного нами, Европа тесновата. Настоящий размах, настоящий успех возможен только там. Я прожил в Нью-Йорке десять лет. Этот город похож на гигант-

ское колесо рулетки. И тысячи шариков скачут, стучаются, подлетают — только успевай делать ставки. Но мы — мы приедем со своим собственным, большим-большим шаром.

— Умберто...

— Хорошо-хорошо. Никто не считает невылупившихся цыплят, никто не делит шкуру неубитого медведя. Но мы ведь договаривались? Ты сказала, что дашь мне попробовать и не будешь смотреть умоляющими глазами каждое утро.

— Ты знаешь, из-за чего я согласилась переезжать.

— Дорогая моя, в Нью-Йорке бандитов и стрельбы ничуть не меньше, чем здесь.

— Но они там по крайней мере безыдейные. А кроме того, ты же говорил, что мы поселимся не в большом городе.

— Все так, все верно... Но хватит об этом. После. Лейда из всей фантастической околесицы, которой вы наполнили свой реферат, меня больше всего разволновал последний пункт. Неужели это правда? Вам действительно удалось "угорворить" кровь храниться дольше обычного?

— Чарльз позвонил мне в Вену и сказал, что чемодан благополучно прибыл. Когда я получу его, мы сможем вместе посмотреть результаты опытов.

— Но на сколько дольше? Примерно?

— Примерно в два-три раза. Правда, это все делалось для температур —20°C. У меня не было аппаратуры для сверхглубокого замораживания — до —196°C. Существует предположение, что при этой температуре, при помощи всяких дополнительных составов, кровь можно сохранять очень долго.

— А заговоренную еще дольше?

— Возможно.

— Но почему — предположение? Разве никто еще не проводил опыты?

— Проводили, но очень мало. Нет практической необходимости хранить так долго. Для нужд переливания вполне хватает тех двух-трех недель, которые можно обеспечить питательными растворами.

— И все же: сколько лет — максимально — медики могут сохранять сейчас жизнеспособную кровь?

— Последнее, что мне доводилось читать, — около пяти лет. При температуре —196°C, в специальных растворах. Но, во-первых, это стоит безумно дорого. А во-вторых, вы не може-

те гарантировать ее качества. Лабораторные тесты показывают, что около 90% кровяных телец выживает. Но как они поведут себя внутри кровеносной системы? Чтобы ответить на это, нужно ставить опыты на живых людях. И не один раз. Кто же пойдет на такой риск, когда нет насущной необходимости?

— Хорошо, с этим ясно. Теперь попробуем перейти с научного языка на язык притч и примеров. Возьмем историю нашего города. Существует поверье, что Рим был основан Энеем. Он спасся из Трои, после долгих скитаний попал на новое место и начал строить там город с точно такими же домами, какие были в Трое. Хорошо, пусть легенда. Но англичане, бежавшие в Америку в семнадцатом веке, тоже строили точно такие дома и амбары, какие были у них на родине. И это уже исторический факт. Даже города и штаты свои называли соответственно: Нью-Йорк, Нью-Хэмпшир, Нью-Бедфорд, Нью-Лондон.

— Ты всегда начинаешь издали-издали — зачем?

— Возьмем ближе. Если осторожно соскрести сейчас две-три тысячи человек с римских улиц и перенести их на новую планету, пригодную для жизни, что, по-вашему, возникнет там через сотню лет? Вырастут такие же каменно-промышленные джунгли в путанице проводов и дорог, в каких люди живут сейчас. И называться будут Нью-Рим, Нью-Милан, Нью-Болонья. Хотя никакой готики, никаких дворцов в них уже не будет.

Джина усмехнулась.

— Это при условии, что подопытные итальянцы не превратят новую планету в бесконечное футбольное поле.

— По вашей, Лейда, аналогии, могу я представить себе процесс зачатия подобным же образом? Эти ваши трансценденты забираются в корабли под названием сперматозоиды и отправляются на поиски новой земли. Миллионы гибнут, но один корабль-счастливчик находит подходящее место — женскую яйцеклетку, населенную приветливыми и услужливыми трансцендентами-туземцами. И вместе они начинают весьма быстро и успешно строить то единственное, что знают и умеют, — человечка. Нью-Некто. Очень похожего на родителей, но в чем-то и отличного. Как вам такое?

— Не знаю. Может быть, я должна выпить еще два-три коктейля, чтобы сказать "да".

— Хорошо, пойдём дальше. Многие растения размножаются и семенами, и отростками, и черенками. Это значит, что вся информация, необходимая для строительства нового растения, хранится в достаточном объеме в любой веточке, обрезке клубня, луковице. Не может ли быть, что подобное возможно и в животном? Что в потенции кровяные тельца или обитающие в них трансценденты "знают" все необходимое для строительства человека, знают не меньше сперматозоидов и яйцеклеток? Что если бы им предоставить подходящие условия, они могли бы справиться не хуже? Ведь строят же они новую кожу на месте пореза, сращивают поломанную кость. А так как им не нужна яйцеклетка, они могли бы без постороннего вмешательства сотворить не нового, а воссоздать точно того же человека, из которого они вышли?

— Ну уж это слишком. Так даже моя фантазия не разыгрывалась. Нет, нет и нет. Даже после десяти коктейлей.

— Да? А я знаю, например, в Париже одного человека, который может о-о-очень заинтересоваться такой идеей. Очень-очень образованный и строго мыслящий священнослужитель. Необычайно увлеченный проблемой воскрешения людей. Я думаю, мы должны подкинуть ему эту концепцию.

— Умберто, умоляю. — Джина раздраженно подтянула сползший с колен плед. — Я никогда не понимала твоего интереса к этому попу, не понимаю и сейчас. Что у тебя на уме? Все это мне очень не по душе. Явно отдает каким-то громоздким розыгрышем, злорадным богохульством. Раньше за тобой такого не водилось.

Умберто перегнулся над ее лицом, нежно поцеловал в лоб. Потом вдруг резко опрокинул кресло назад.

Джина, вскрикнув, вцепилась в подлокотники. Протез ее задрался вверх, беспомощно дергался. Умберто раскачивал кресло, откровенно любуясь ее беспомощным барахтаньем.

— Что же тебе не по душе? Что я интересуюсь другими религиями? Или даже ересями? Что пытаюсь преодолеть барьер между верой и наукой? За кого ты больше боишься — за веру или за науку? Или ты просто рассердилась на то, что я сравнил вашу женскую сердцевину, вашу святая-святых со строительной площадкой?

В перерывах между фразами он пытался то ли целовать ее, то ли покусывать. Задеревяневшая улыбка стянула кожу

его лица, заострила нос и скулы, сузила глаза.

— А кто обещал не вмешиваться? Кто обещал доверять? А если и розыгрыш — что с того? Неужели только все деньги, деньги, деньги грести? А если я действительно уверовал в то, чему учит отец Аверьян? Посиди-ка здесь и подумай хо-рошенько.

Он выпрямил кресло, откатил его в угол — и щелкнул внизу рычажком тормоза. Потом оглянулся, поднял руку и поклонился, как циркач после удачного кульбита.

— Умберто, перестань... Что за детские шутки?.. Ты опять за свое... Сколько можно?

Джина с напряжением толкала ободья колес, пытаясь повернуть кресло лицом к залу. Умберто, продолжая кланяться и посылать воздушные поцелуи, пошел прочь от нее, кружа и пританцовывая. Вдруг застыл перед Лейдой и хлопнул себя по лбу.

— Тест! Мы забыли проделать тест. А без него — о какой совместной работе может идти речь?

Он потянул ее за руку, увел к окну, повернул спиной к себе.

— Это очень просто... Похоже на школьную игру. Вы поднимаете руки в сторону — вот так. И падаете плашмя назад. Не бойтесь, я вас подхватываю над самым полом. Главное — держаться абсолютно прямо. Сможете? Ну-ка: раз, два...

К этому моменту Сильвана кончила возиться с тормозом кресла, выкатила Джину из угла. Лейда зажмурилась, чтоб не видеть их застывших, встревоженных лиц, напряглась и повалилась навзничь послушно, как костяшка домино, которую толкнули пальцем. Игла страха пошла от живота быстро-быстро вверх, сгустилась в ожидании неминуемого удара, но цепкие пальцы действительно подхватили ее в последний момент, и она повисла в нескольких сантиметрах над полом. Словно приключенческий фильм так быстро, что все вместились в две секунды: катастрофа, отчаяние, спасение и умиленная благодарность к спасителю.

— Bravo! Не согнулась, не завизжала — молодец. Бесчувственный чурбан не смог бы упасть лучше.

Умберто помог ей подняться, заглянул в глаза.

— Страшно было?

— Угу.

— Но вы понимаете, что тест не на смелость?

— На глупость?

— Нет, на доверие. В ближайшие месяцы от вас будет зависеть очень многое. Как я могу доверить вам судьбу моей любимой затеи, если не буду знать, что и вы мне доверяете слепо?

— В ближайшие месяцы? Но что я могу?.. Чтобы развернуть лабораторию, мне понадобится как минимум полгода.

Умберто замотал головой, зажал кончик языка между зубами, потом взял ее под руку, повел вдоль окон.

— Вы замечали, что у нас в Италии все идет полосами? В Возрождение были в моде живопись и поэзия — и все пытались рисовать и писать сонеты. Потом три века подряд пели. Поют и до сих пор. А что еще добавилось? Что, ну?

Он затеребил ее локоть, торопя с ответом, сбивая столку, пытаясь разогнать до своей скорости в разговоре.

— Кино?

— Именно. Нынче все мечтают сниматься. Или снимать. Я тоже хотел когда-то стать режиссером. Видимо, сидит во мне это до сих пор. Многие замыслы у меня в форме сценария. И нынешний тоже. А вам — одна из главных ролей. Понимаете, что это значит? Кинозвезды так капризны. Я должен быть уверен, что вы не сбежите посреди съемок, не предадите меня.

— Я от вас целиком завишу. Разве этого мало?

— Мне — мало. Мне нужно, чтобы вы полюбили сценарий. Чтобы он стал для вас родным. Ну вот сами вы, — чего ждете от своей работы? Какой результат вас устроил бы? Какой показался бы невероятным чудом? удачей? победой?

Деревья в саду мирно желтели, там и сям нахохленные птицы на верхних ветках демонстрировали мудрую задумчивость, но последовать их примеру не было никакой возможности: Умберто то прижимал, то дергал ее локоть, быстро нагнувшись заглядывал в глаза, резко поворачивал, доведя до угла комнаты, и сыпал, сыпал густую смесь вопросов, намеков, загадочных сравнений, колкостей, сбивая ее с толку, запутывая, прибирая к рукам.

— ...Ну да, я знаю — лечить! Клятва Гиппократата! Вам хотелось бы научиться излечивать и то, и другое, и третье. Замечательно! Все правильно! Ну а дальше? Вы победите рак, продлите средний возраст людей до девяноста, до ста лет —

и что? Земля наполнится одряхлевшими, выжившими из ума стариками. А мы будем надрываться, поддерживая и сохраняя их ничтожные жизни. Это ваша цель? Предел желаний? А если я предложу вам нечто несравненно большее? Пусть мечту, пусть невероятную, пусть азартную — может это вас увлечь? Как вы насчет Большой-Большой Игры?

Она молчала в растерянности.

— Ладно, не будем сейчас про это. Сколько вам понадобится времени, чтобы перевести реферат обратно на русский?

— День. От силы — два.

— Начинайте завтра же. Я кое-что приписал там — переведите и это. Сильвана, как только перевод будет готов, немедленно высылайте его Цимкеру. И пусть он сразу везет его в Париж. Все инструкции у него уже есть. Мы должны успеть все подготовить к Рождеству. Если будут какие-то заминки, пусть звонит прямо мне. Дайте ему номер зеленого телефона.

На каждом слове он тыкал в воздух пальцем, словно нажимал кнопки невидимого пульта. Лицо снова было задрано вверх, пряди волос подлетали, будто обдуваемые ветром.

— По-моему, кто-то уже приехал, — сказала Джина. — Минуту назад я слышала шум мотора.

Умберто отошел к маленькому телевизору, стоявшему в стороне. Вглядевшись, усмехнулся, сглотнул слюну.

— Профессор Бассано с новой женой. Немного раньше времени, но ничего. С Лейдой о главном мы договорились. Детали обсудим после.

Он переключил телевизор, но Лейда, проходя мимо, успела скосить глаза на экран и увидела, как из бассейна выходили мужчина и женщина, держась за руки и сияя незагорелыми треугольниками на ягодицах.

## **ДЕКАБРЬ, КАНУН ОЗАРЕНИЯ, ПАРИЖ**

### 1

Воздух в машине быстро прогревался. Цимкер с досадой сбросил шляпу и шерстяные наушники на лежавший рядом портфель. Декабрьская морось налипала на боковые стекла, обманчиво близко придвигала дома, киоски, толпу на тротуарах.

Он так и не понял, почему на этот раз ему велели остановиться в центре Парижа, а не в том отеле на окраине, где они обычно останавливались с Сильваной. Понадобятся контакты с прессой и телевидением, нужно быть к ним поближе — так ему объяснили. Впрочем, сам отель ему нравился. Беда была лишь в том, что из-за одностороннего движения на улице каждый день он вынужден был проезжать мимо недавно возведенного здесь Центра искусств Помпиду. И это переплетение синих, красных, желтых труб, решеток и лестниц, похожее на внутренности гигантского грузового корабля, каждый раз погружало его в неодолимое уныние.

Конечно, будь он в обычной командировке, такой пустяк едва ли мог задеть его. Только в соединении с общей неловкостью и стыдливостью авантюризма его нынешней миссии архитектурные новации становились источником раздражения. И то, что Сильвана в телефонном разговоре на его вопросы отвечала уклончиво и повторяла лишь, что нужно слепо следовать инструкциям, тоже добавляло всей ситуации унижительный, марионеточный оттенок. Она даже не стала объяснять, почему он должен явиться к отцу Аверьяну одетым непременно в плащ на меховой подстежке, в шляпе и зеленых наушниках, зачем — с потертым рыжим портфелем. И если вся цель первой встречи была — вручить в запечатанном пакете реферат, написанный Лейдой Ригель, почему нельзя было просто послать по почте?

Все же, видимо, они что-то знали там, в Фонде, про несчастного старика. Цимкер не мог припомнить, чтобы когда-нибудь в жизни его появление произвело на незнакомого человека такой ошеломляющий эффект. Отец Аверьян вышел из оранжереи на шум его машины, постоял немного, всматриваясь, щурясь на реденькое солнце, держа на отлете перепачканные землей руки. Потом — будто его ударили в спину — рванулся вперед. Он бежал, оскальзываясь на мерзлой дорожке, то прижимая к лицу ладони, то протягивая их вперед, а добежав, встал перед Цимкером, словно боясь прикоснуться, словно боясь с разгону проскочить сквозь счастливое видение, обнаружить его нематериальность. И потом, в доме, он едва мог выдавить из себя несколько слов — только радостно кивал на все и размазывал по лицу землю, смешанную со слезами.

Теперь, отправляясь на вторую встречу, Цимкер думал, что надо будет дать старику успокоиться и хотя бы через него осторожненько разузнать причину его волнения. Хотя как же тут разузнать? Сильвана была очень довольна его рассказом о первом визите ("Да-да, ты скоро поймешь, все идет очень удачно"), но строго-настрого наказала и впредь не отклоняться от заданной ему роли, соблюдать все включенные в нее детали: от нелепого маскарада до мины важного и снисходительного всезнайства, всепонимания, всепрощения.

На улице Риволи из-за ремонта машинам была оставлена лишь одна полоса — пришлось ползти еле-еле. Уставшие от живописи экскурсанты глазели из окон Лувра на живую уличную мокроту и давку. Ряды облетевших деревьев в Тюильри просвечивали насквозь, до другого края сада, и было видно, что там, по набережной, автомобильный поток несется на полной скорости. От площади Согласия открылся вид на реку и на самодовольную, с засунутой в облака верхушкой башню вдали, и Цимкер в который раз подумал, что у людей, возводящих в своем городе эйфелево-помпидушные кошмары, следовало бы отнять лувры, нотр-дамы, монмартры, сердито нажал на акселератор. Елисейские поля были еще не загружены, так что до кругового шоссе он добрался даже быстрее, чем рассчитывал.

## 2

На этот раз сохранить мину всепонимания и невозмутимости оказалось еще труднее. Мало того, что отец Аверьян вышел заранее на крыльцо, в черной рясе, с непокрытой головой, осеняя себя крестным знаменем и кланяясь, мало того, что жена его при виде Цимкера, вылезавшего из машины, тоже начала быстро креститься и бормотать слова молитвы, но еще в открытом окне были выставлены два ящика стереофонического комбайна, которые без предупреждения обрушили на голову подходившего гостя всю мощь ростовских колоколов. (Он чуть не выронил шляпу, которую как раз собирался приподнять в снисходительно-приветливой манере — "иностранный министр на трапе самолета".)

Стол был накрыт в гостинной — самовар, бублики, ватрушки, мед и единственный нарушитель национального колорита — сверкающий коричневой кольчугой ананас. Пластинку с ростовскими звонами, по просьбе Цимкера, остановили, окно

закрыли. Все трое уселись к столу, обмениваясь выжидательными улыбками, передавая чашки и блюда, уступая друг другу очередь к сахарнице.

— Не могу вам передать, — начал отец Аверьян, — не могу выразить, в какое волнение привела меня оставленная вами статья. Я слежу за научной литературой, за всеми начинаниями в медицине и биологии, которые могут быть связаны с проблемой воскрешения. Но за тридцать лет ничего подобного по близости к теме, по смелости, парадоксальности и в то же время ясности мне не попадалось. А уж то, что статья была привезена в а м и, — это снимало всякие сомнения, делало убедительными даже те пункты, которых я не в силах был понять...

Он замолк, вглядываясь в лицо Цимкера, словно подчеркивая готовность уступить ему ораторские права в любую минуту. Но тот только кивнул, взял искалеченной рукой кусок макового пряника и важно отправил его в рот.

— Эта женщина, автор работы — вы ведь упомянули, что она русская? Причем изгнанница? Это тоже для меня имеет совершенно особый смысл. Ведь воскрешение отцов как практическая задача — сама-то идея зародилась в России, с этим никто уже не поспорит. Хотя и считанные люди обратили внимание на слова Николая Федорова, открыли им уши свои, но кто они были? Лев Толстой, Федор Достоевский, Владимир Соловьев. Почем знать, — может, и мы доживем, когда "Философию общего дела", супраморализм, начнут изучать в университетах. В моей-то жизни все с Федорова началось, впервые глаза открылись. И я думал, что просто наставники мои в семинарии не знают про его учение, приносил им читать, выбирал самые ясные куски.

Он, не вставая, взял с полки книгу, открыл на закладке, протянул жене.

— "Бог отцов — не мертвых, а живых — по своему подобию создал человека, — начала та читать, слегка раскачиваясь взад и вперед в такт словам. — И сыны живущие, сыны отцов умерших, для которых отцы мертвы, мертвы безусловно, навсегда, очевидно, — неподобны Богу; подобие же ему будет заключаться лишь в возвращении жизни отцам, в воссоздании, но в воссоздании действительном, живом, а не мертвом..."

— Каких только покаяний от меня ни требовали! И я все

епитимьи честно исполнял, а потом снова им ту же книгу подсовывал. Вот отсюда прочти еще, Ирина.

— "Супраморализм, это не высшая только христианская нравственность, а само христианство, в коем вся догматика стала этикою (догматы заповедями), и этикою, неотделимую от знания и искусства, от науки и эстетики, которые должны сделаться, стать орудиями этики, само же богослужение должно обратиться в дело искупления, то есть воскрешения..."

— Конечно, — продолжал отец Аверьян, — некоторые считают, что национальная гордость — то же тщеславие, только под маской. То есть человек знает, что собой хвалиться нехорошо, или нечем ему хвалиться, вот он и похваляется всем своим родом. Может, и так. Но мне все равно с этой мечтой не расстаться. Вот, скажем, ваш народ. Уж на что был гордым и заносчивым, и кровожадным, и грешным (в ваших же книгах об этом написано), а избран был на роль господнего посланника. И сколько тысяч лет уже эту роль с честью исполняет, и до сих пор — как мы видим сегодня, здесь, — и впредь тоже не исключено. Так, может, и русским — не все же им быть только бичом Божьим, который то других сечет, то сам себя — другим в назидание. Мечтается мне, что назначено нам стать заступом, сохою Господней для новой пахоты. Разве грех — такая мечта?

Тон его был не то чтобы просительным, а скорее, извиняющимся — за перепевы того, что гостю и так отлично известно. Да, это так, бубню свое старческое, но уж что тут делать, если на душе одно только это и есть.

— И когда выстраиваю мысленно, что и о воскрешении отцов Федоров с Божьего языка не на какой-нибудь, а на русский переводил, и мне, грешному, на том же языке проповедовать было приказано, и этой женщине (хоть она, может, и безбожница) не где-нибудь, а в России про человечью кровь тайна приоткрылась, — ну как тут не разгореться старым мечтам? как не вознадеяться на новую русскую судьбу?

Отец Аверьян снова сделал долгую паузу, но Цимкер опять ничего не ответил. Он чувствовал, что какая-то странная отрешенность овладевает им постепенно, какой-то размыв напозаает на все, что он видит и слышит. Может быть, просто сонливость? Горячий чай после долгой поездки? Да и зачитался он вчера в постели допоздна.

Этот старик с пламенеющим лицом и розовыми просветами в седых волосах нравился ему все больше. И одержимость его тоже не казалась смешной или нелепой. После того, что случилось с ним этим летом, когда чудесное избавление от смерти пришло так быстро после прочитанной молитвы, возникла в нем — не вера, нет, — но какая-то трепетная готовность к новым вмешательствам свыше, прислушивание, ожидание их. И все же допустить, что, наоборот, он сам, Аарон Цимкер, мог послужить Посланником в чужую жизнь, — нет, на это его не хватало. Он понимал, что простым кивком, коротким "да" может необычайно обрадовать старика, но все та же осовелость сковывала его и не давала произнести ни звука. Состояние было странным, но не пугающим, — внутренний радар его молчал.

— Видимо, сам Федоров, — снова заговорил отец Аверьян, — не принял бы моей проповеди. Ему бы, наверно, диким показалось, что воскрешать отцов будут для Суда — для последнего, для Страшного. Но ведь он не видел, не пережил того ужаса, который пережили мы за последние семьдесят лет. Чтобы все это осталось безнаказанным, — душа не вмещает такого, сердце вопиет, голоса невинно замученных взывают. Да и в книге пророка Даниила, глава двенадцать, стих два, не поведано ли нам: "И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление". То же и у Иоанна, глава вторая, стих двадцать девятый: "И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения". Ах, что говорить! За двадцать пять лет, что прошли с нашей первой встречи, ни разу не усомнился я в том, что открылось мне тогда: что ни для чуда воскресения из мертвых, ни для подвига Последнего Суда Господу не понадобятся другие работники, кроме нас самих. И все же... То, что вы поведали мне этой ночью... Такое ошеломление... был не готов, сознаюсь... Но как только пробудился — к столу, и все записал... Поделюсь с прихожанами в Рождественской проповеди...

Первая встреча?.. Этой ночью?..

Этой ночью — Цимкер точно помнил — он зачитался переперченным, переключенным романом про приключения двух сестричек и никаких встреч ни с кем не имел. Но тревожное, просительное ожидание в глазах старика достигло уже такой напряженности, что он не мог больше удерживать-

ся — улыбнулся, кивнул, положил себе на блюде новую порцию варенья.

Отец Аверьян откинулся в кресле и начал тихо и облегченно смеяться. Попадья схватила его руку, глянула сияющими глазами на Цимкера, словно спрашивая разрешения, и прижалась к руке мужа губами. Ползущие за окном облака то ослабляли, то усиливали блеск книжных корешков на полках, проплывали бликами по медным лампам в четырех углах.

— А могу ли я просить... То есть это было бы огромной радостью для меня, если бы и вы... если у вас найдется время... тоже посетить нас во время проповеди... Сказать несколько слов прихожанам... Просмотреть, может быть, исправить текст...

— Текст? Да, конечно... Я бы хотел иметь его заранее. Но отнюдь не для правки, нет. Здесь все должно исходить только от вас. Но он понадобится мне, чтобы успеть сделать перевод. На французский, на английский, может быть на немецкий...

Пункты инструкции один за другим всплывали в памяти Цимкера, быстро разгоняя нивесьть откуда взявшуюся осоловелость.

— Видите ли, ваши проповеди вызывают все больший интерес. Пославшая меня организация — Фонд — считает, что ваша интерпретация привезенного мною реферата может иметь очень важный положительный эффект. Хотелось бы пригласить побольше народу, оповестить интересующихся этими проблемами (и не только русских), позвать прессу. Вы не возражаете, если мы пригласим нескольких журналистов?

Отец Аверьян смущенно развел руками.

— Как я могу возражать против предложенного вами?

— Возможно, заинтересуются радио и телевидение. Мы дадим им знать заранее, чтобы они смогли приехать за день, установить в часовне камеры и микрофоны. Да, я знаю — там у вас тесновато. Но мы закажем десяток автобусов с телеэкранами внутри. Там разместятся все желающие. А их на этот раз будет гораздо больше, чем обычно. Фонд позаботится об этом. Продуман даже вопрос о синхронных переводчиках. О да, Фонд намеревается превратить вашу Рождественскую проповедь в небольшую сенсацию. Не смущайтесь. Вы достаточно долго жили в тишине и безвестности. Пришло

время — ваше слово должно быть услышано. Когда вы перешлете мне готовый текст, я немедленно...

Последние детали и порядок этого нежданного выхода на свет и в эфир Цимкер втолковывал ошеломленной паре уже на крыльце. Казалось, отрешенность, владевшая им, переместилась теперь на них. Он даже попросил их несколько раз повторить сказанное, и отец Аверьян исполнил это с готовностью и одеревянелостью дисциплинированного послушника. Садясь в машину, Цимкер приветливо помахал им, но вдруг нахмурился и решительно замотал головой.

Отец Аверьян понял его жестикуляцию — бережно, за локти, поднял с земли опустившуюся на колени попадью.

## ОЗАРЕНИЕ

— Итак, вспомните, братья и сестры мои, историю о том, как явился апостол Павел в город Афины. Откроем книгу Деяний, глава семнадцать, стих двадцать первый: "Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ареопага, сказал: "Афиняне! по всему вижу я, что вы как-то особенно набожны; ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам... Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых". Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: "об этом послушаем тебя в другое время".

Силен сей дух афинского сомнения и по сей день. Даже среди христианских ученых и богословов вы можете встретить сотни таких, скрытых афинян, что постараются обойти вопрос о воскресении стороной. Или толковать его в смысле символическом, уподоблять его верованиям язычников. Или утверждать, что под воскресением мыслится расцвет христианской церкви. Или использовать другие обходные уловки. И бесполезно указывать им на соответствующие места Библии, где о воскресении говорится однозначно и недвусмысленно, как, скажем, в книге Иова, глава девятнадцатая, стих

двадцать пятый: "А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога". Или у пророка Исаяи, глава двадцать шестая, стих девятнадцатый: "Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе..." Или в Новом Завете во множестве священных текстов — мы все перечитывали их не раз.

Не отрываясь от микрофона, Сильвана начала делать какие-то знаки за стеклянной дверью кабины переводчиков. Цимкер понял, принес ей банку пепсиколы, щелкнул жестяным кольцом крышки. Лицо у нее было злое, невыспавшееся. Итальянские туристы попросились на проповедь в последний момент. Пришлось метаться, доставая срочно два дополнительных автобуса, а ей — готовить перевод проповеди еще и на итальянский. Русский она сильно подзабыла, так что Цимкеру пришлось сидеть с ней часов до трех, помогая продирается сквозь скрижали отца Аверьяна. Впрочем, и профессиональным переводчикам-синхронистам в соседних кабинках приходилось нелегко с этим текстом: все переводили, не отрывая глаз от разложенных перед ними страничек.

Зато журналисты, сидевшие перед экраном телевизора, могли себе позволить расслабиться, потягивать кофе из термоса запасливого голландца, покуривать. Они негромко болтали, лишь время от времени делая пометки на полях розданного им заранее перевода. Судя по небрежности поз, по язвительным репликам, к заданию они относились скептически, как к очередной придури начальства.

— ...А что уж говорить об афинянах — атеистах и материалистах! От них мы ничего, кроме насмешки над самой идеей воскресения, ждать не можем. Среди них вот уже три века модно потешаться над верой и заявлять, что богословие только и занимается подсчетом числа чертей на острие булавки. Но непостижима мудрость и ирония Господня. Ибо в наши дни, именно благодаря открытиям науки и техники, перевернулся смысл насмешки, и как же пресловутая булавка колет теперь их самих, как прокалывает пузырь их самодовольства и всезнайства!

— Вот она, взгляните! — он высоко поднял руку, и камеры поспешно переключились на крупный план, чтобы поймать в экранную сеть нивесть откуда вынырнувшую и блеснувшую в его пальцах булавку. — Вот ее крошечное, микронное ост-

рие! И что же мы знаем теперь? Что в этой крошечной, еле видимой точке десятки людей говорят на разных языках. Что там играют оркестры, поют певцы, торговцы расхваливают свои товары — и все это в любой момент мы можем извлечь при помощи радиоантенны. В ней же одновременно протянуты невидимые линии магнитного поля, гравитации, молекулярные и ядерные силы, космические лучи. Свет, долетающий до нашего глаза от нее в виде микроскопической блескы, на самом деле сплетен из всех цветов радуги и из инфракрасного и ультрафиолетового мрака. И те волны, которые проносятся сейчас сквозь стены часовни к экранам ваших телевизоров, перенося на них мою руку с булавкой, — они тоже пронизывают эту крохотную точку.

— Попробуйте же осознать, какой необъятный мир трепещущей жизни непостижимым для нас образом упрятан в этот кубический миллимикрон пространства. А после этого спросите себя: неужели же в гигантском храме творения Божьего не найдется места для нашей души, где бы она могла невидимо пребывать в ожидании воскресения в новой плоти? Неужели после всех чудес Господних, открытых нам наукой, именно это, самое главное обещанное чудо должно считаться принципиально невозможным. Но почему афиняне, почему?

Снежок за окнами пошел гуще, размывая силуэт часовни, выстроившиеся полукругом автобусы, лица туристов и прихожан в них, забитую машинами стоянку, стеклянную стену оранжереи. Электрические кабели по-паучьи раскинулись на земле от центральной коробки во все стороны. Вчера с ними было больше всего возни, монтажники ошиблись в самом начале, так что Цимкеру пришлось выгребать из закоулков памяти все, что он помнил об электротехнике. Поначалу Сильвана хотела выполнить распоряжение Умберто и не пускать его больше на глаза отцу Аверьяну. Но потом оказалось, что хлопот по подготовке — гора, что вдвоем с Клодом им не управиться. Решили, что в суматохе да под легким гримом — сойдет, не заметят. Цимкер и сейчас сидел в темных очках, в желтой каске строителя, одетый в форменный комбинезон телевизионной компании.

— ...Сомнение в чуде воскресения может поселиться не только на примитивно-материалистическом уровне, но и на более высоком — этическом, моральном. Когда великий под-

вижник Николай Федоров сто лет назад звал людей переменить цели их деятельности, повернуть все силы души и разума на дело воскрешения отцов, самый трудный (но в то же время и самый естественный) вопрос был задан ему Львом Толстым: "Неужели воскрешать — все х?" — "Да, всех", — твердо отвечал Федоров. — "И Нерона, и Калигулу, и Чингисхана?" — спросил Толстой. — "Да, и их", — отвечал Федоров. Ибо для него Бог был всеблаг и всепрощающ.

Но те, кто посещал мои проповеди, знают, что двадцать пять лет назад мне было видение и Слово разъяснения Свыше, которое я, по мере сил, пытался передать слушавшим меня: что воскрешение будет даровано по Суду, по последнему, по Страшному, и осужденные не будут допущены в новую жизнь, а только оправданные. И хотя о связи воскресения и Суда почти все уже сказано в Библии, было мне также разъяснено, что не только воскрешение будет делом рук потомков наших, но и Суд над нами будет отдан им. Знание их о добром и злом будет несравнимо с нашим. Ибо разум их будет просветлен необычайно. А если не случится такого просветления, то и воскрешать не будет дано им. Но обо всем этом говорил я уже довольно.

А та благая весть, о которой я со счастливым сердцем хочу сказать сегодня, пришла совсем на днях. За молитвы наши Господу, за твердую веру в чудо обещанного воскресения снова послан был нам вестник благой (тот же, что двадцать пять лет назад), поведавший мне, грешному, о том, что кончилось время ожидания! Пришла нам пора сделать шаг им навстречу. Многие века отделяют нас от них, как многие тонны земли отделяют шахтеров, засыпанных в шахте, от раскапывающих их, пробивающихся к ним сверху. Но так же, как засыпанным следует в какой-то момент начать копать навстречу спасителям и посылать им сигналы, так и нам пришла пора сделать шаг навстречу нерожденным сынам нашим, идущим спасти нас и воскресить во плоти.

Корреспондентка из "Фигаро" придавила в пепельнице сигарету, отвела от уха шевелящиеся губы настырного телевизионщика, начала что-то быстро писать в блокноте. Прочая журналистская братия тоже было встрепенулась, как воробьиная стая, готовая помчаться вслед за счастливецом к брошенному зерну, но, не обнаружив ничего нового и съедобного, вернулась к своему негромкому чириканью. Камера показы-

вала внутренность часовни, выбирала крупным планом лица прихожан — сосредоточенные, ждущие, скользила по огонькам свечей, по редким иконам, снова возвращалась к кафедре, сгущала до клюквенной неестественности румянец отца Аверьяна.

— ...Нет, мы не возгордимся, не назовем себя избранными, первыми на этом пути. За пять тысяч лет видимой нам человеческой истории, каких только попыток не делали люди, чтобы победить смерть свою, чтобы сохранить частичку себя и слово о себе навеки. Вспомним пирамиды и бальзамирование трупов в Древнем Египте. Вспомним сожжение мертвых и сохранение праха их в урнах. Вспомним, каким ужасом было для многих народов остаться непохороненным. Или тех, у кого самой страшной казнью считалось рассеяние праха по ветру. Да и сейчас появляются в Америке специальные фирмы, которые за большие деньги берутся хранить ваш замороженный труп до лучших времен, до новых открытий науки.

Не принимало сердце человеческое мысли о полном исчезновении из мира. Хоть частицу пытались оставить о себе, хоть поминание в заупокойной молитве, хоть имя нацарапать на стене камеры перед уводом на казнь. И Господь подавал нам знаки подтверждения, сохраняя мощи святых нетленными. Или, например, вот уже тысячу шестьсот лет хранится в Неаполе кровь святого Януария, которая то разжигается в закупоренном сосуде к радости верующих, то снова затвердевает в кристаллы. А вечный страх человеческий остаться без детей, без продолжения рода? Разве не коренится и он в подсознательной уверенности, что дети — это нить, протянутая вдаль веков, к спасению?

И вот пришла пора, и дано нам озарение, как и куда плыть, в какую сторону и какой сигнал посылать. Открылось одной ученой женщине в России много нового про кровь, текущую в наших жилах. Открылось, что обитают в ней невидимые существа, которые строят наше тело, охраняют его от болезней, затягивают новой плотью раны, переносят по жилам пищу и кислород. И существа эти хранят весь план строительства, так что если перенести их в пригодное место, все смогут выстроить заново. И открылось, как можно сохранять кровь неповрежденной в глубоком холоде до бесконечности. И ког-

да через заставы, и стражу, и границы доставили мне в руки труд этой женщины, несложно уже было догадаться и расшифровать посланное слово:

оставь каплю крови своей на вечное хранение, и дождется она сынов твоих просветленных, которые узнают от господа, как создавать пригодное место, чтобы там она выстроила всего тебя заново и воскресила во плоти.

Французская переводчица переглянулась сквозь стекло кабинки с английской, повертела пальцем у виска. Та улыбнулась уклончиво, мечтательно завела к небу глаза. Снежная шапка на крышах соседних автобусов неуклонно росла, обтекая вниз струйками, растворяя лица сидевших внутри.

— В первый день Творения отделил Господь свет от тьмы. Тьма есть всегда, ибо она — граница света. Сколько бы знания ни пролилось на нас, как бы ни расширился круг света, на границе его всегда будет тьма. И всегда мы будем вопрошать тьму Неведомого: что в тебе?

Так и теперь, после такого просветления, сотни новых вопросов летят на нас из тьмы.

Что будет раньше — Воскресение или Суд?

Если воскрешать будут всех, где разместятся сотни миллиардов людей?

Какими мы воскреснем — старыми, молодыми, младенцами?

Если нас воскресят по капельке крови, что будет с теми, кто жил до нас, до озарения?

Если судить будут по делам нашим, кто будет выступать свидетелем?

Если даже о недавно умерших людях бывают десятки разных мнений, как судьи Страшного суда придут к единому о каждом из нас?

Как защититься — там отсюда — от лжесвидетельств и клеветы?

Казалось, микрофон, приколотый к рясе отца Аверьяна, не был рассчитан на такую напряженность звука, срезал верхушки отдельных слов, вылетающих за пределы, доступные его мембране. Журналисты теперь строчили, не отрываясь от блокнотов. По экрану телевизора время от времени пролетали сполохи, — видимо, кто-то внутри часовни пускал в дело фотовспышку.

— На все эти и десятки подобных вопросов отвечать пока можно лишь предположительно, лишь гадая.

Да, может быть, осужденные Страшным судом просто не будут воскрешены, оставлены в вечном мраке. Но, может быть, их и воскресят на короткий срок: чтобы они взглянули, увидели, чего лишились, и исчезли обратно в Небытии.

Быть может, тех, кто оставит каплю крови, воскресят в первую очередь, как откапывают первыми тех, кого засыпало в верхних галереях шахты. А мы уже поможем копать дальше вглубь, через нас, через нашу кровь будут отыскивать предков наших. То есть мы, уже воскрешенные, станем в свою очередь воскрешать отцов.

Конечно, послания, оставляемые нами вместе с каплей крови, рассказ о нашей жизни — все может быть лживым, искаженным, подтасованным. Но для всякого лжеца встанет проблема: как лгать? Ибо мы не знаем, какие законы будут мерилom для Страшного суда. Мы не знаем, что будет признано теми судьями хорошим и дурным, заслуживающим снисхождения или непростительным. Недаром же в Священном писании так много надежды дается грешнику, если он раскается, и так часты угрозы самодовольным лжеправедникам.

Нет, зная слово Христа, не можем мы исключить, что наши сегодняшние представления о хорошем и дурном сильно разойдутся с тем, что придет через века. Но и незнание тех будущих законов не послужит нам к оправданию. Раздавая таланты слугам своим, как рассказано у Матфея, глава двадцать пятая, стих пятнадцатый, Хозяин не дал ясного приказа, как употребить их, и разгневался на того, кто просто зарыл свой талант и отдал его Хозяину по возвращении. Дар жизни — вот что такое эти таланты, и, зарывая их, вы показываете пренебрежение даром Господним. Поэтому-то таким грехом считается самоубийство. Ибо это — дар отвергнутый.

Много было сказано справедливо-горького про торговлю индульгенциями, когда грешнику разрешалось считать себя прощенным за любые злодеяния после уплаты за них. Но даже и это может быть принято Страшным судом в пользу оправдания, потому что хоть и уродливый, а все же знак — знак озабоченности о спасении души и воскресении.

И даже — страшно сказать, — но не можем мы исключить и такого исхода, что совершенным душам воскреснуть не бу-

дет дано, ибо все они на земле уже совершили. А воскресят, наоборот, тех несчастных, что растратили свои таланты впустую, — и будет дана им вторая попытка отблагодарить Господа за дивный дар жизни и послужить во славу Его полной мерой.

Цимкер снял темные очки, опустил их в лежащий на полу шлем. Странно — в письменном виде текст проповеди, когда они бились над ним вчера с Сильваной, не вызвал в нем сердечного отклика. Но сейчас этот гневно-призывный голос, летящий с экрана, эта волна разбуженных им несбыточных людских надежд так мощно заливали часовню и автобусы вокруг, что он тоже ощущал какую-то отрешенность, готовность на побег из привычного мира, навсегда отданного во власть бездушных лучей и молекул, способность рвануться ко всем волшебным "может быть", "а вдруг", "кто знает". В то же время разрозненные части Большой Игры, в которой — как он понимал теперь — ему была отведена роль пешки, проходящей в ферзи, постепенно сходились в его сознании, складывались в единое целое и наполняли душу страхом, восхищением, стыдом, изумлением, заставляли охранительный радар захлебываться тревожными звонками.

— ...А еще видится мне, что и дети, умершие во младенчестве, будут воссозданы из праха и возвращены своим воскресшим родителям. Ибо сказано Господом: "Потерявшуюся овцу отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю. А разжиревшую и буйную истреблю".

Никто не может думать о Дне Суда без трепета, никто не может быть избавлен от высокого страха сего. Но если, дрожа от страха и трепеща перед приговором, вы все же спешите сами на Суд, не есть ли ваш страх при этом мера любви к Господу и веры в него?

Поэтому все, кто жаждет Суда, кто верит в чудо воскрешения, поспешите сделать первый шаг на дорогу, открывшуюся вам. Ибо основан уже некий Фонд в вечном священном городе — в Риме, который будет принимать каплю крови от каждого уверовавшего и погружать ее в глубокий холод и хранить по новому способу, открывшемуся нам через труд той женщины, до последних дней, до чуда Воскресения. А вместе с каплей крови будут принимать на хранение и свидетельство, которое вы захотите оставить о себе, о жизни своей и служении Господу.

Об одном молю вас, братья и сестры: оставляйте вместе с каплей крови только правду. Спасением вашим заклинаю: не поддавайтесь соблазну лжи, не думайте, что сумеете обмануть далеких просветленных сынов своих. Нам ли обмануть научившихся воскрешать? Нам ли схитрить отсюда на том Суде? Как бы ни страшили вас деяния ваши, это грехи против ближних и самих себя. Но если и на том Суде мы попытаемся хитрить и изворачиваться, это уже будет знаком неверия во всеведение Господа, и прощения не будет ему, как не прощается хула на Духа Святого.

С Рождеством вас Христовым, с новой благой Вестью!

Идите, услышавшие ее. Начинайте копать навстречу идущим воскресить вас.

И пусть расширяется год от года этот туннель.

Пусть растет, приумножаясь, хранилище правды о нас — Архив Страшного Суда!

И да смилуется Господь над нами, и да просветит Он сынов наших, и да откроет им чудо воскрешения из мертвых. Аминь.

*Конец первой части*

*(Окончание в следующем номере.)*



**ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО**

Уникальное издание, подготовленное в Москве друзьями и Мариной Влади. Две стереопластинки. Многие песни впервые.

Альбом редких фотографий. Тексты песен. Панорамная фотография похорон 62 см x 31 см.

Две пластинки \$18, альбом \$5, комплект \$22. 5 комплектов \$90, т. е. каждый за \$18, включая пересылку (вместо \$24).

Запрашивайте цветную брошюру коллекции Эрнста Неизвестного «12 колен Израилевых», скульптура, гравюра, тарелки, рельеф и т. д.

**ПЕРЕСЫЛКА** — \$2, за пределами США — \$3. Жителей N. Y. просим добавлять соответствующий налог.

Чеки и Money-Orders выписывайте в американских долларах на имя  
TEC-ART, INC. 150 5th Ave. # 804, NYC 10011. (212) 243-1488.



Марина ГЛАЗОВА

## ХОЛОДНО РОЗЕ В СНЕГУ

\* \* \*

Речи твоей лоскуток прикрываю ладонью.  
 Стонут, гудят провода в иссыхающем поле.  
 Сердце стучится и рвется обратно в погоню.  
 И неотступно твой профиль стоит предо мною.

Сердце тебя позабыть совершенно не властно.  
 Что полюбила я в речи твоей лебединой —  
 вечно прекрасно и в сердце моем не погаснет.  
 Я пронесу лоскуток на дыханье едином.

1975

\* \* \*

На лилии белой летит твое сердце во тьме.  
 И в озере звездам позволено ночью купаться.  
 И ангел выводит лучом золотым на крыле  
 такое, что только великой душе разобратся.

## ХОЛОДНО РОЗЕ В СНЕГУ

Душа твоя в слове на этой охрипшей земле.  
 И в гроздьях рябины ей с горечью ветра качаться.  
 Застыть каплей крови на нежной соленой губе.  
 И беличьей шкуркой в осенней любви распластаться.

1975

\* \* \*

Прости меня, Память моя,  
 что убила б в тебе половину,  
 зарыла б, сожгла и  
 по огненным рекам пустила...

Но снова на след наведешь  
 и "не тем" волноваться заставишь.  
 Опять тростником запоешь  
 И сиреной, и птицей восстанешь.

И воздухом горько-воскресным  
 опять задрожешь под моими руками.  
 И воздух опять не найдет себе места.  
 И вновь расплывется цветными кругами.

1976

## ОПЯТЬ С УЗЕЛКОМ

**Опять с узелком подойду утром рано  
 к больничным дверям.  
 М.Цветаева**

Хватаясь за грудь,  
 с узелком удаляясь от двери,  
 себе не простишь,  
 растеряешься: "Недоглядели!"

И вновь твоя кровь  
 закипит и застынет в прожилках.

И солнце опять  
в коридор принесут на носилках.

И неба клочок  
задрожит над постелью больничной.  
Намокнет платок.  
Все, что было, казалось обычным,

в мозгу промелькнет.  
Совершенны дела твои, Боже!  
И страх, и любовь  
вместе бились под тоненькой кожей.

И страх и любовь.  
В кулаках безнадежных забьешься,  
пытаясь вместить.  
Потеряешь сознание. Очнешься.

Озябнешь в ногах  
и к плите подползешь. Выпьешь чаю.  
Уставишься в пол.  
И на все тишина отвечает.

1980

*Л. Е. Пинскому*

Веками пел незащищенный голос  
о скорбной, скромной и высокой жизни,  
о радости на бедном языке,  
улыбке той, что Слово понимает,  
которую теряют, так что песня  
уже не узнает саму себя.

Теряют, что не выкинешь из песни.

И вот оно бездомно. Ищет крышу.  
Отряхивает пыль. Опять стучится.  
Приходит. И свои не узнают.

Опять мелькает улица. Аптека.  
Опять глотают снег, малину, капли.  
Опять даются клятвы. Шепчут губы.  
И пламенные письма истлевают.

С прекрасной головы платок срывают.  
Перед окном заветным рубят тополь.  
В пространстве выжигают право вдоха.  
Шакалы-зрители на празднество пришли.

Высокий спорщик, дивный пешеход.  
В лицо его дыханье жизни вдунул.  
И стал душой живою человек.

Свинцом залито глиняное сердце.  
Составлен полный список кораблей.

1981

\* \* \*

Расскажи-ка ты мне о Джотто.  
И о милом, добром Франциско,  
Давай вместе посмотрим книжки —  
как ему отвечают птички.  
И возьмем из его ладоней  
его тихую радость миру.  
Вот уж сколько веков исчезло,  
а он все еще утешает!  
Велика же сила молитвы!  
И цветет золотое небо.

Расскажи мне о тех, кто умер  
и их ангелы хоронили.  
Только ангелы. Так как люди...  
Да, конечно, сама я знаю.

Расскажи мне, как умер Моцарт.  
И как горько плакало небо.

И никто не пошел под дождик.  
Да к тому же свои заботы.

А о том, как ушла Марина  
и как птичка в снега упала,  
в те снега, что огня жесточе,  
нам уже рассказали песни.

У самих у нас стынет горло.

1981

\* \* \*

Бедная Ева! Ни детства, ни матери.  
Мужем — отец-не отец.  
Шепот. Дорожка из садика скатертью  
Ева — творенья венец!

В чреве убийца. В душе поругание.  
В сердце застывшая кровь  
сына другого. Разлукой — свидание.  
Деревом смерти — любовь.

1981

\* \* \*

Мысль о бессмертии — птицей в снегу, сиротой на вокзале.  
Черным по белому, белым по черному ей наказали:  
"Нет тебя! Сгинь! На окраине мира попомнишь, как сниться!"  
Только беду всегда первыми слабые чуют ресницы.  
Дрогнули. Холод в груди. Воздух пахнет в опале полынью.  
Стынет в кувшине вода. В теле дух. И полено в камине.  
Только голубка гонимая чертит полетом рисунок  
свой над застывшей землей. И не дрогнут расницы спросонок.

1982

**Холодно розе в снегу...**  
**О.Мандельштам**

Холодно птице в силках.  
В будущем светлом — поэту.  
Часу зари — над острогом.  
Телу — в движении к цели.  
Холодно розе в снегу.

1982

**Кони Пелеева сына вдали от пылающей битвы  
плакали, стоя...**  
**Гомер. "Илиада"**

**И море, и Гомер — все движется любовью...**  
**О. Мандельштам**

И время, и душа — все сделано из света.  
Пространство. Книга. Стол. Улыбка. Торжество  
при встрече двух людей. Досказанность ответа.  
Безмерность. Узнавание. Колдовство

великой тайны. Легкий снег. Необъяснимость.  
И краски, кисть и холст, — где не хватает слов.  
Карандашом — момент, его неповторимость.  
Преодоление разлуки силой снов.

Бессонница. Гомер. Последняя страница.  
Закрыта книга. Тихо. Только плдч коней  
еще улавливает слух. И на границе  
медь явью и познанием крылья журавлей.

1982

## "КОСНУСЬ ТВОИХ КОЛЕН, ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СОБОР..."

Из недописанного стихотворения о Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Аннибаловы клятвы русского девятнадцатого века.  
 Сухолицыне интеллигенты в потемнелых портретах.  
 Роспись металлическим пером: Александр Герцен.  
 ...мелодия принесенного из Полонии полонеза...  
 ...и прощальные, походные, скорбные марши...  
 Как мне уместить вас на листке бумаги  
 И в моем сердце?! —

— Нигилисты, самодержцы и землепашцы.  
 Сотворен из ваших судеб, ваше эхо.  
 С зимней толпою на празднестве мне не смешаться.  
 По дороге падут изможденные иноходцы.

...Белая гвардия —эвакуация...  
 Господи! Да что он мне — их Севастополь. —  
 — Наши каблуки не простучат по заиндевелой брусчатке.  
 Счастливцев, князь Курбский! — Гналась за тобою погоня.  
 И пылью родной стороны пахли морды коней.  
 Стихотворение дописать не могу. —  
 Агония.

\* \* \*

Идеализирую ваше время, жившие до меня!  
 Ностальгия охватывает, произношу:  
 ...Владимир Красное Солнышко... граф Петр Апраксин...  
 Методичные строки учебников.  
 Надгробия в пышноцветных венках.  
 Порыжелая карта —  
 Судорожно сжимаю треснувший лист картона,  
 — Хочу удержать как будто прошлые времена.  
 Старинная монета желта, как листопад.

## ПЕРЕКИСЬ ДОРОГ

Элий ВАЙНЕРМАН

\* \* \*

Эпиграф: "Крошки янтаря". —  
 Молотят желтые винты.  
 Удушье. Перекись дорог.  
 Смердящий, гнилостный распад  
 Души. Природы. Бытия.  
 Моленье жалобное: "Бог!  
 Даруй нам холод января!  
 Мороз целебный! Стужу! Снег!"  
 — Истошный выкрик сводит рты.  
 Галлюцинация: снега... —  
 — Хрустят морозами бинты,  
 Щемяще жутки и белы.  
 Приди! Помилуй нас, январь!  
 Конец! Кончина. Эпилог:  
 Мы гибнем. — Крошится янтарь.

Отошедшее грезится истомляюще безобидным:  
 ...изнасилованные кухарки рыдают чуть театрально...  
 ...языческие боги славян повержены без трепета и тоски...  
 Спираль раскручивается. — "Все выше и выше!" — Выносит  
 меня, —  
 — В испуге цепляюсь за камни обрыва восьмидесятого года —  
 Неужели сорвусь?

\* \* \*

Грязь... Долго тает снег необрунный...  
 "Стрижи  
 над башней Нотр-Дам". —  
 Весна. Альбом листаешь...  
 Владимирский тракт во взоре... —  
 — Российский дворянин держал свой путь в Париж  
 Из отчих деревень, оставленных. Мечтали:  
 "Как славно мы умрем!" — Хрип Пестеля...  
 Он не был в декабре под следствием, он с н и к .

Ты, прячась, пред собой из ямба мир воздвиг.  
 Здесь — помыслы горды. Французские офорты.  
 Лорд Байрон и Руссо. Герб Жерминаля  
 стертый...  
 Всегдашнее меню: сыр чайный по утрам...  
 ...с соседом тем же лифт... Поход — кольцо трамвая...  
 И "Ревизора" смысл в себе же узнаваем:  
 Карьера! Ложь! Успех! — Достоинства сместив,  
 Ты будто бы живешь. Не музыка — мотив.

\* \* \*

"Ветер гонит листву"... —  
 Монотонен мотив.  
 Тени... Рябь фонарей в мелких лужах.  
 Вслепую  
 крепостных батарей  
 Выстрел. — Полночь... Прилив  
 Облетевшей листвы.  
 Стон минора. Тоскую!..

## ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Обыкновенные люди. — Прежде достойные жалости и молитвы.  
 Опоэтизированные Винсентом Ван-Гогом  
 Над картофелем, дымящимся мокрым паром.  
 Обыкновенные люди! Ваши потомки.  
 Умиротворенно животы почесывая, смотрят: низвержение  
 Ниагары.  
 Боятся сквозняка на полу, голосов зарубежных радиостанций,  
 Радикулита в поясице начальника и хохочут  
 Над обездоленностью, злоключениями и любовью  
 Маленького человека, нелепого Чарли  
 В котелке, со старомодною тростью,  
 Которую можно отхлестать полицейского, подлеца, краснобая.  
 Обыкновенные люди обезлюдившего двадцатого века! —  
 В одного из вас я превращаюсь.  
 Мой парус — трамвайный билетик.

\* \* \*

Серый цвет над рекой.  
 Одиночество ветхих причалов.  
 Цвет холодной воды  
 И твердеющих низких небес.  
 Осень...  
 Стынет трава омертвелая —  
 Берег устлала.  
 Серый цвет над рекой  
 И гравюра — обугленный лес.

\* \* \*

Черные астры. В грифельных стеблях — яд.  
 Клумба увядшей кажется под луной.  
 Медные уголья. Пиршества аромат.  
 Синих лягушек кваканье. — Крик больной.  
 Черные астры сорваны. В пальцах — яд.  
 Медные уголья в плесени. — Крики. Бред.  
 Стонущий призрак осени: мертвый сад.  
 Синих лягушек кваканье. — Список бед.







Борис ШРАГИН

## АВТОРИТАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

— Чем вы занимаетесь?

— Учю.

В то время я преподавал в Хантор колледже.

— Американцев?

— Американцев.

— Правильно, их надо учить.

Мы оказались соседями по автобусу. Разговор продолжался. Мой собеседник выкладывал нажитые им в эмиграции представления об американской политической жизни и перспективах ее развития.

— Вы не думайте, — успокаивал он меня, — что неграм тут дадут распуститься. Профсоюзы организовали вооруженные отряды. Белые рабочие проходят постоянные тренировки. И чуть негры попробуют бунтовать, их быстро приведут к порядку.

Мрачное неведение этого очень доброго, впрочем, человека как-то причудливо сочеталось с его претензиями на обладание известными социально-политическими истинами в послед-

ней инстанции.

Что "американцев надо учить", что они ничего не смыслят, а в сравнении с нами — просто невинные младенцы, или, говоря без вежливостей, дураки в политике, — это почти повальное мнение нашей эмиграции. Пожалуй, я мог бы перечислить по пальцам известные мне исключения из этого общего правила. И, боюсь, одной руки было бы вполне достаточно. В Западной Европе наши эмигранты то же самое думают о французах, немцах, итальянцах и "всяких прочих шведах".

Однажды, когда такое же суждение высказал один мой недавно приехавший приятель, я показал ему номер журнала "Рашен ревью", где помещаются рецензии на книги о России и Советском Союзе, которые выходят на Западе и особенно в Америке, за каждый квартал. Мы насчитали около тридцати названий. Кажется, это заставило его задуматься.

Но такой благополучный исход — тоже, скорее, исключение.

— Да ты бы почитал что-нибудь прежде, чем судить, — говорил я другому приятелю. — Ведь не к эскимосам же мы приехали! Посмотри, сколько в каждом книжном магазине книг.

— Нечего мне читать. Я с ними разговаривал.

— Как же ты разговаривал? Ты же английского не знаешь!

— А я говорил с теми, кто понимает по-русски.

("Я его не выношу, не могу с ним в одной комнате находиться. Он все время кричит и рассуждает, как осел", — сказал мне про этого приятеля один из наших общих знакомых-американцев. Он понимал по-русски.)

Однако и великолепное знание английского и других языков обыкновенно дела не меняет. Есть в нашей эмиграции автор, английский стиль которого сравнивали с Набоковым. Но и он принялся обличать американцев в том же самом — в ничегонезнании. Досталось и Центральному разведывательному управлению, и газете "Нью-Йорк Таймс". Брошенные им семена бурно проросли, ибо пали на готовую почву.

— Нам потребуется много лет усидчивого чтения, чтобы узнать про нашу страну хотя бы то, что про нее знают американ-

ские специалисты, — заметил я еще одному из своих друзей, уже не без вызова.

Он — признанный ученый в своей области — спросил, что же конкретно в их книгах такого замечательного пишется. Я кратко пересказал наудачу содержание двух понравившихся мне работ.

— Ну, и что же тут нового? — срезал он меня. — Разве ты этого и без американцев не знал?

Я попытался отшутиться:

— Конечно, трудно обогатить чем-либо убеждение, что "все говно, кроме мочи" (это была давняя шутка Александра Зиновьева).

Но, признаюсь, почувствовал себя так, словно в стену лбом уперся.

Навряд ли нужно доказывать, что из объективных соображений и о собственной стране, и о положении в остальном мире до советских жителей доходят лишь ничтожные крохи. Крайне скудны и к тому же искажены сведения об истории. А о сколько-нибудь глубоких, продуманных и разнообразных концепциях относительно советского или какого угодно другого общества и говорить не приходится. Источники — либо слухи, либо обрывки самиздата и тамиздата, либо передачи иностранного радио на русском языке.

Все это, снабжая деталями, подтвердит каждый из эмигрантов. Но почти каждый также и скажет, что всемирно-историческое значение "Архипелага ГУЛАГа" заключается в "раскрытии глаз" не ему лично, а иностранцам. И почти каждый примется на чем свет стоит критиковать работу "Голоса Америки" или радиостанции "Свобода" — этот, если разобраться, главный источник собственного свободо-мыслия.

Не правда ли, странно?

Откуда берется такая самоуверенность и непрошибаемое довольство собственным интеллектуальным багажом при очевидной его скудости? И не странно ли к тому же, что у нашей эмиграции сознание собственного превосходства крайне политизировано? Ее категорические суждения почти сплошь

относятся к сфере, меньше всего ей знакомой по собственному опыту, — к сфере политики. С наибольшим удовольствием наш типовой эмигрант давал бы советы западным правительствам, как обходиться с КПСС и КГБ. А странность тут в том, что сам он обходился с ними главным образом одним способом, — когда удавалось молчал, когда не удавалось, сливался со всем народом в единодушной поддержке.

Выходит, что люди из Советского Союза не только мало знают, но и не любопытствуют узнать больше. И дело уже, видимо, не только в идеологических фильтрах, которые перегораживают поток информации. Можно предположить, что инициатива сверху дополняется отсутствием инициативы снизу.

Отсюда, думается, берет подсознательно начало эмигрантское убеждение, будто за границей ничего про советскую действительность не знают: откуда же и узнать, если весь народ молчит, а то и прихвастывает? Это убеждение к тому же вроде бы подтверждается советскими средствами массовой информации, которые публикуют восторженные отзывы иностранцев о том, что они видели при визитах в Советский Союз. "Болваны, как есть болваны", — думает при этом советский человек. И наливается чувством собственного превосходства.

В 1968 г. случилось так, что мой домашний адрес был сообщен русской программой Би-Би-Си. Я получил тогда несколько писем от соотечественников. Автор одного из них, отдавая должное моему "героизму", признавался, что сам он не столь смел, а потому просил передать за границу чрезвычайной важности разоблачение. Речь шла о столовой самообслуживания при научных залах Ленинской библиотеки. Бывая там почти каждый день, я и сам знал, что столовая заставляет желать лучшего. Там, например, одно время расставляли на столах солонки и перечницы, которые были устроены так изобретательно, что при первой же попытке ими воспользоваться крышки их падали в пищу, увлекая за собой все содержимое. Мой корреспондент описал несколько подобных же ужасов. А в конце, помнится, присовокупил: "Боль-

шевики до воня бояться, чтобы за границей узнали, как мы живем". И подпись была поставлена — Неизвестный (не Эрнст, конечно, а вообще — инкогнито). Обратный адрес, как вы догадываетесь, отсутствовал.

Добавлю, что автор письма, скорее всего, имел ученую степень, был членом одного из "творческих союзов" или, на худой конец, аспирантом: ведь простых смертных даже с высшим образованием в научные залы Ленинской библиотеки не допускают.

И вот, предположим, наш Инкогнито решил эмигрировать. При том накале недовольства советской жизнью и жажде насолить "большевикам", которые он обнаружил, это вполне вероятно. Теперь уже, в "свободном мире" вроде бы нечего бояться (некоторые, впрочем, еще продолжают бояться длинных рук КГБ), можно дать волю закаменевшему языку, раскрыть перед глупыми иностранцами сокровенные тайны, скрытые по ту сторону "железного занавеса"! И что же? Рассказываешь про окаянную столовую самообслуживания Ленинской библиотеки, прибавляешь еще и еще, — ноль внимания!

Шутка, конечно. Но и в ней есть доля правды.

Послушать наших эмигрантов (в частных разговорах), не так уж им плохо жилось. И кооперативная квартира, и приличный оклад, и машина, и поездки на курорты, а то и в Восточную Европу. А что касается нехватки продуктов, то у многих находился знакомый мясник, у которого всегда можно получить отличную вырезку. Ну а КГБ, обыски, аресты, лагеря? — большинству все это знакомо понаслышке. Теперь ведь не сталинские времена и "ни за что" не сажают. И разграничительная линия всем хорошо известна, и выработался изощренный навык ее не переступать. Так что для большинства КГБ и прочее — нечто вроде бабушкиных сказок про бабу-ягу и кощея бессмертного — страшно, но не реально.

Повторяю, все это можно услышать в частных разговорах, но не прочтешь в эмигрантской прессе. Эмигрант знает о чем писать, а о чем лучше помолчать. Двоемыслие у него в крови.

"Отчего у нас все лгут, все до единого?" — задавался вопросом еще Достоевский. И отвечал: "Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями".

Упомянутый Инкогнито, убедившись, что рассказ про столовую Ленинской библиотеки желанного действия не возымел, обязательно что-нибудь возьмет да прибавит. И еще, и еще... "Вы тут на Западе с жиру беситесь, а у нас народ с голоду пухнет". "Миллион политических заключенных! Два миллиона!.. Десять миллионов!"

— Про них (то есть про советских, — Б.Ш.), — сказала мне однажды девушка, по горло погруженная в диссидентские дела, — что ни совершь, все правда будет.

Но как бы ни распалая себя приезжие Хлестаковы, как бы искренне не верили сами в доподлинность своих рассказов, как бы ни нагнетали страшные подробности, отворачиваются от них иностранные слушатели и, по привычной толерантности не желая спорить, начинают попросту избегать.

— Американцев надо учить.

Допустим. Но как? Как заставить их поверить, если мы забыли границу между явью и фантазиями? Хорошо бы еще, если бы американцы и другие западные люди действительно черпали до нас все свои сведения о Советском Союзе из газеты "Правда". Тогда было бы что порассказать! Но ведь, если разобраться, как раз наоборот: это мы же черпали из газеты "Правда", а то и маршировали мимо трибуны на Мавзолее еще тогда, когда на Западе при желании можно было прочитать о Советском Союзе нечто более достоверное!

Есть у нас собственный эмигрантский фольклор. И один из сотворенных им анекдотов такой.

Встречаются два эмигранта. Один спрашивает другого:

— Ну как, устроился?

— Устроился.

- А английский выучил?
- Выучил.
- Разговариваешь?
- Разговариваю.
- А они понимают?
- Да разве они поймут!

Допустим, существует некое утверждение "А". Затем выясняется, что оно совершенно ложно. Тогда появляется противоположное утверждение — "не-А". Однако, хотя второе утверждение является полным отрицанием первого, его содержание остается совершенно от него зависимым. И сколько бы ни топтаться на этой плоскости, мы никуда не уйдем.

Эта истина диалектики была известна еще Гераклиту. Но наш эмигрант знать не знает и не хочет знать диалектики, ибо верит, что она изобретена Марксом на всеобщую погибель. Ему внушали, будто в марксизме-ленинизме содержится вся мудрость земная. Но эмигрант вынес из этого убеждение, что там — одна глупость. Ни Маркса, ни Ленина он, по возможности, не читал, а если его все-таки заставляли, над прочитанным не думал. "Мы диалектику учили не по Гегелю", — с гордостью заявлял когда-то Маяковский, подразумевая, что она сама собою усваивалась в ходе революционной борьбы. Наш эмигрант тоже учил диалектику не по Гегелю и тоже на опыте революционной борьбы. Только впечатления от нее он вынес как раз противоположные тем, какие были у Маяковского.

Противопоставлением "А" — "не-А" замыкается, если разобраться, круг эмигрантского сознания. Что сверх того, то от лукавого. Появляется большое количество взрослых "мальчиков (и, конечно, девочек) наоборот".

Допустим, самый навязчивый из всех официальных советских лозунгов сейчас: "Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества". Этот футурологический прогноз не разбирается, не критикуется. Он принимается на веру. Однако — с противоположной оценкой. Так что получается уже не "да здравствует", а, скажем, "будь проклят". И не

"светлое" будущее, а "темное, ужасное, отвратительное".

В итоге, появившись за границей, эмигрант из Советского Союза осознает себя как бы посланцем неотвратимого будущего и хочет предупредить тех, кто этого еще не постиг на собственном опыте о том, что их всех ждет. Людям с воображением мерещатся уже советские танки прямо на нью-йоркском Бродвее.

И вполне понятно, почему особенно злят эмигрантов возражения, что советский строй — результат весьма специфических условий развития, что ничего совершенно такого же на Западе повториться не может. Он раздражается от подобных возражений ничуть не меньше, чем советский ортодокс, который продолжает настаивать, что "большевизм — образец тактики для всех".

Столь же упорно и непримиримо эмиграция придерживается утверждения советской официальной пропаганды, что советский строй представляет единственную подлинную модель социализма. Про то, что до революции в России существовали не только большевики, но и меньшевики, не только Ленин, но и Плеханов, что сейчас на Западе есть социал-демократия, очень далекая от большевизма, он и слышать не хочет. Все это для него едино суть. И социалистов он с таким же удовольствием ставил бы к стенке, как и коммунистов.

И, конечно, эмигрант не желает видеть никаких различий среди коммунистов. Коммунистическое движение предстает для него как международный заговор и непременно с центром в Москве. И то, что старые коммунисты были почти поголовно расстреляны Сталиным в 1937 г.; и то, что во время восстания 1956 г. венгерское правительство возглавлялось коммунистом Имре Надем, который впоследствии был расстрелян; и то, что Пражская весна была начата по инициативе чехословацких коммунистов; и то, что коммунистический Китай стал упорным врагом Советского Союза, — все это выбрасывается из сознания эмиграции, как морока, как соблазн, как ловкие трюки.

Дальше — больше.

Пишут в советских учебниках, что при царях плохо жи-

лось? — Врут! Тогда был рай.

Претендует советское государство быть наследником гуманизма и демократии? — В помойную яму и то и другое.

Видит оно своих предтеч в Белинском, Герцене и Чернышевском? — И их туда же.

Каждую забастовку на Западе советская печать расценивает как новую классовую битву рабочих против капитала? — Туда же и забастовки.

Капитализм хулит? — Да здравствует капитализм — светлое будущее всего человечества!

Советская идеология изображает современную историю как борьбу двух лагерей — коммунизма и антикоммунизма. А поскольку советская идеология произвольно зачисляет многое и многих на свою сторону, эмиграция, принимая все это на веру, оказывается в отчаянном одиночестве.

— Как дела? — спросил я при встрече приятеля — того самого, который не хочет читать по-английски.

— Какие могут быть дела! Пролетарии повсюду побеждают! — последовал ответ.

— Все американские студенты — коммунисты, — заявил как-то другой, прекрасно говорящий по-английски и прошедший все годы эмиграции в одном из университетских кампусов Среднего Запада.

Так пьяный из анекдота, покрутившись вокруг столба, принимается кричать: "Замуровали!"

Копнешь эту безазбучность, — звенит. Лопата гнется. Вечная мерзлота.

Как ее растопить?

## "ВРЕМЯ И МЫ" — 1982

### В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЧИТАЙТЕ:

Фридрих Горенштейн "Волемир";

Александр Орлов "Тайная история сталинских преступлений" (главы из книги);

Б.Шоссет "Эта прекрасная пресная жизнь" (Письма из американской глубинки);

Владимир Абрамсон "Сегодня и завтра еврейской эмиграции";

Соломон Цирюльников "Израиль и постсионизм";

Г.Нилов "Ступени советской иерархии";

А.Никольский "Россия после Брежнева";

"Ближний Восток и проблема палестинцев" (по материалам израильской печати);

Борис Шрагин "Расовые предрассудки в третьей эмиграции";

Ефим Эткинд "Отец и дочь" (Корней и Лидия Чуковские);

Илья Левков "Третья эмиграция в зеркале социологии" (результаты опроса эмигрантов из 52-х городов США);

В.Петровский "Новые эмигранты в политической жизни Израиля";

Репортаж о ночной жизни Нью-Йорка;

прозу Игоря Ефимова, Аркадия Львова, Анатолия Гладилина, Виктора Некрасова;

публицистику Доры Штурман, Льва Наврозова, Виктора Перельмана и др.



Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

## ШЕСТОЙ КОНЕЦ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

*Литературный анализ "Протоколов Сионских мудрецов"*

Антисемитской литературы в Советском Союзе не существует. Ее заменила литература антисионистская. Имея общую основу, общие литературно-политические приемы, общих друзей и общих врагов, она в то же время обладает существенным отличием. Литература эта возникла и развилась под давлением государственной цензуры, призванной сглаживать противоречия между высоконравственной теорией и безнравственной практикой, будучи опекаема и поощряема властью, она в то же время вынуждена добиваться желаемого результата пропагандистскими намеками, пропагандистскими ухмылками, пропагандистским подмигиванием и пропагандистскими недомолвками. Это ее тяготит, это ей мешает, но в то же время отсутствие "свободы творчества", запрет на ядро антисемитской пропаганды — слово "жид" — и необходи-

мость мягкого обхождения со словом "еврей" делают ее более изворотливой и более неуязвимой. Именно поэтому советская антисионистская литература является в нынешнем мире важнейшим, если не краеугольным, камнем международной антисемитской пропаганды любого направления, в том числе и пропаганды антикоммунистического, антибольшевистского антисемитизма.

Об ахиллесовой пяте антисемитской литературы писал еще в конце прошлого века знаменитый русский философ, основатель русской религиозной философии 20-го века Владимир Сергеевич Соловьев. "Самый легкий способ для убеждения в неправоте антисемитизма состоит в том, чтоб последовательно и внимательно читать наши антисемитические газеты".

Этого, однако, "удовольствия" современный читатель лишен, а чтение антисионистских брошюр и статей вызывает противоречивое чувство. В чем тут дело? Старые антисемитские газеты, существовавшие в условиях сравнительной свободы печати, стремились к ясному, прямому изложению своих взглядов. Провокация в литературе подобного рода использовалась и прежде, но она играла при наличии контроля со стороны общества подсобную роль.

Слово "провокация" происходит от латинского *provocatio* — вызов. Вызов требует ответа, полемики. Однако провокация в ее современном звучании не есть латинская дуэль мнений и взглядов. Ее цель не получить ответ, а посеять сомнение, поставить бесконечное число вопросов. Провокаторам всех направлений никогда не удавалось что-либо доказать. Но как раз доказательства им и не нужны. Даже доказательства собственной правоты им были бы во вред, ибо доказательства требуют хоть какой-то логики, требуют проявления элементарного разума. Если же говорить языком литературы, провокатору нужно побольше "но", побольше "диалектики", побольше запятых и поменьше точек. Речь, разумеется, идет не о чистописании. Мысли человеческие тоже подчинены определенным правилам грамматики.

Именно на эти правила словесности рассчитывали те, кто пустил в мир "Протоколы Сионских мудрецов", — переход-

ное звено от старой антисемитской пропаганды к ее новым современным антисиионистским формам.

О черносотенном происхождении "Протоколов" с момента их появления писали много и убедительно. Но... Современный русский советский читатель знает о них понаслышке, знает только тезисно, знает митингово просто, как о документе, в котором излагаются планы евреев по захвату власти над миром. Тексты "Протоколов" в основном доступны только антисиионистскому агитпропу, авторам антисиионистских брошюр. А такое положение сеет сомнения даже у тех, кто относится к антисемитам и их антисиионистским потомкам отрицательно. Особенно если выясняется не без помощи намеков и подсказок, что "Протоколы" вызвали к себе внимательное отношение со стороны ряда американских сенаторов, со стороны французских правительственных чиновников, что тексты "Протоколов" зарегистрированы и приняты для хранения в столь авторитетном учреждении, как Британский музей, поставившем на них свою печать.

"Конечно, — думает такой читатель, — кто заинтересован в появлении "Протоколов", ясно". Впервые они увидели свет в книге махрового черносотенца, обрусевшего литовца Нилуса под названием "Еврейская опасность". Но не использовали антисемит в своих целях действительно еврейские документы?

Такое сомнение вполне оправдано. В конце концов, в человеческом сообществе евреи не составляют исключения, как бы антисемиты и еврейские шовинисты не пытались доказать обратное. Среди евреев были и средневековые фанатики, и сумасшедшие, и озлобленные мечтатели. А кровавая и унижительная история еврейского народа, отсутствие самостоятельной жизни вне религиозных рамок, вне Талмуда, в окружении насмешек и ненависти, вполне могла создать и создала тягу к лжемессиянству, объяснению всеобщей вражды своей исключительностью, воспитанию наклонностей к тирании среди общинной верхушки внутри гетто.

Вот описание отлучения от еврейства Бенедикта Спинозы.

**"Наконец наступил день низвержения и огромная толпа собралась, чтоб присутствовать при этом мрачном обряде. Начали с того, что молча и торжественно зажгли установленное количество черных свечей и открыли Скинию Завета, в которой лежали книги Моисеева Закона. Этим путем воображение верующих было подготовлено к восприятию ужасов в дальнейшем. Верховный раввин, друг и учитель, а теперь злейший враг осужденного должен был привести в исполнение приговор. Он стоял полный скорби, но непреклонный, а народ напряженно смотрел на него... Вдруг черные свечи перевернулись и тающий воск их капля за каплей начал падать в большой сосуд, наполненный кровью... Когда замолкли слова проклятия, все свечи сразу окунулись в кровь. Раздался возглас благоговейного ужаса и проклятие прокричали все присутствующие. В наступившем мраке все изрекли — аминь, аминь, — подтверждая торжество проклятия".**

Подобные картины антисемиты и антисиионисты любят вписывать в свои статьи и брошюры, чтоб мрачными образами еврейского средневековья разукрасить и подтвердить свои скучные, однообразные обличения. Но все-таки, может, "Протоколы" родились именно здесь, в глубинах еврейской общины, "под прикрытием еврейского жаргона", как изволил выразиться один из функционеров международного антисемитизма? Здесь, где, по словам философа Соловьева, "вдохновенное пророчество окончательно переродилось в рассудочное и кропотливое учительство, раввинизм"? Или, может, "Протоколы" связаны с современным еврейством, вырвавшимся за ограду вокруг Закона, которую трудолюбиво возводили раввины? Может, это продукт еврейства, увлекшегося социализмом? На все эти вопросы ответ дадут только сами тексты. Ведь "Протоколы" не только политические, но и литературные творения. А литература — это стиль. А стиль — это автор.

## ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР

И вот тексты перед нами. Пусть не полно, фрагментарно, но эти тексты даны в книге американского автомобильного короля под названием "Международное еврейство". Ну что ж, почему бы Генри Форду, промышленнику и миллионеру, по совместительству не выступить в качестве комментатора литературно-политического сочинения. Тем более что сам авто-

мобильный король понимает, что комментатору прежде всего необходима объективность. В предисловии к книге "Международное еврейство" сказано:

"Читатель, мы надеемся, должен будет признать, что весь тон этого исследования основан на фактах и соответствует его предмету. Мы приводим факты, как они есть, и это обстоятельство должно явиться для нас достаточной защитой от упрека в предубеждении и возбуждении ненависти".

Какие же это факты? Прежде всего совершившаяся в России Октябрьская революция. Как она совершилась? Международное еврейство сначала назначило правителем России еврея Керенского, Александра Федоровича. Но поскольку Керенский со своими обязанностями не справился, его с работы сняли и заменили евреем Троцким, Львом Давидовичем. Уже из данного откровения можно сделать вывод, что Форд, несмотря на свои заверения в объективности, стоит на пристрастных позициях антисемитизма-антибольшевизма. Но это не политический антибольшевизм Маклакова, не интеллектуальный антисемитизм Розанова, а, скорее, их пещерный вариант атамана Краснова, усиленный мировоззрением американского провинциала, дурно представляющего себе, согласно Салтыкову-Щедрину, "географические границы Российской империи". Теперь, когда комментатор помог прояснить свою позицию, самое время взглянуть на то, что он комментирует.

"Вот что, между прочим, писал Герман Бернштейн в "American Hebrew" от 25 июня 1920 года: "Приблизительно год назад один чиновник министерства юстиции показал мне рукопись некоего Нилуса "Еврейская опасность" и просил меня высказать мое о ней мнение. Он мне сказал, что эта рукопись представляет собой перевод русской книги, вышедшей в 1905 году, которая впоследствии была изъята из обращения. По-видимому, рукопись представляла собой "Протоколы Сионских мудрецов" и была прочитана, как предполагают, доктором Герцлем на тайной конференции сионистов в Базеле. Чиновник сказал мне, что, по его мнению, рукопись является сочинением доктора Герцля. Далее он упомянул, что многие американские сенаторы, которые знакомы с рукописью, были поражены, увидев, что евреями за столько лет вперед был выработан план, ныне осуществившийся, и что большевизм за много лет вперед замыслился евреями с целью разрушения мира".

Каков же этот план, как изволил выразиться мистер Форд, "порабощения нееврейского человечества"? План этот действительно охватывает широкий круг вопросов. Здесь и мо-

раль, и проблемы государственного устройства, и философия, и проблемы молодежи, и проблемы семейной жизни, и духовенство, и политэкономия, и пресса, и литература. Всего 24 документа. Работа проделана большая. Форд пишет:

"Весь план направлен против всех народов мира, которым дается общее имя "неверных". И действительно, в первом же "Протоколе" заявлено: "С целью скрыть истинное положение вещей от неверных, дабы это не стало им известно раньше времени, мы замаскируем наши планы, якобы стараясь улучшить положение рабочего класса, и будем проповедовать новые великие экономические принципы. Этим путем, на почве наших экономических теорий вырастет оживленное разногласие".

"Эта выдержка, — комментирует Форд, — ясно знакомит нас со стилем".

Да, литературный стиль весьма знаком. Но не будем торопиться, почитаем далее.

"Драгоценные качества народов — честность и чистосердечие — в политике должны почитаться пороками, так как они ведут к гибели вернее и несомненное, чем злейший враг. Эти качества являются отличительными признаками политики неверных. Мы не будем руководствоваться ими". В том же первом "Протоколе": "Уже с древних времен мы первыми бросили в массы лозунги: "Свобода, братство и равенство". С тех пор избиратели, подобно попугаям, повторяли их бесчисленное количество раз. Люди со всех сторон стекались к этой приманке и этим уничтожили благополучие человечества и истинную свободу личности. Считающиеся умными и рассудительными среди неверных не поняли всей двусмысленности этих слов, не поняли их внутреннего противоречия, не увидели, что в природе нет равенства".

"Если бы они ("Протоколы"), — пишет Форд, — являлись подделкой, за которую их выдают еврейские подголоски, то лица, их подделавшие, не преминули бы подчеркнуть их еврейское происхождение настолько ярко, чтоб антисемитская цель их бросалась каждому в глаза".

Антисемитский подголосок Форда демонстрирует тут определенную наивность суждений. Это мы отметим по ходу и двинемся далее.

"Еврейская защита больше всего настаивает на том, что документы эти исходят из России. Это неверно. Они только совершили свой путь через Россию. Помещены они были в русской книге ученого Нилуса, который сделал попытку пояснить эти "Протоколы" примерами из русской жизни. Внутреннее содержание "Протоколов" ясно доказывает, что они написаны не русским и первоначально не на русском языке и не под влиянием русской обстановки".

Создается впечатление, что автомобильный король провел свое босоное детство на проселочных дорогах Курской или

Тулльской губернии. А между тем, судя по всему, он и газет-то русских сроду не читал. Никогда не знакомился он с фельетонами из "Гражданина" князя Мещерского, передовицами из "Нового времени" Суворина, памфлетами из "Двуглавого Орла", корреспонденциями из "Киевлянина". Никогда американский миллионер не писал в тамбовской гимназии вольного изложения на политико-идеологические темы из романа Достоевского "Бесы". Потому-то не может он оценить действительного своеобразия литературного стиля "Протоколов". А именно: создаваемый в "Протоколах" образ врага народов мыслится по абсолютной величине так же, как наши "спасители человечества", "неверные" черносотенцы, но со знаком минус. В приведенных двух небольших отрывках видно, а далее это станет совершенно ясно, что свои зловещие идеи "сионские мудрецы" постоянно сами стараются дискредитировать словечками типа "якобы", "так называемые" и т.п. И одновременно "неверным", то есть черносотенцам, они адресуют дифирамбы и комплименты: "Драгоценные качества народов — честность и чистосердечие... эти качества являются отличительными признаками политики "неверных". То есть наших антисемитов. Приписывание евреям лозунга Французской революции: "Свобода, равенство, братство" стало общим местом черносотенной печати. Но в "Протоколах" этот лозунг дискредитируют сами "сионские мудрецы", называя последователей его попугаями и объявляя приманкой, уничтожившей "благополучие человечества и истинную свободу". В седьмом "Протоколе" записано:

**"Повсеместно провозглашена так называемая свобода совести. Благодаря этому крушение христианской религии является лишь вопросом времени. Уже давно мы стремимся к тому, чтобы дискредитировать духовенство неверных, которое могло бы нам сильно мешать".**

## **"СИОНСКИЕ МУДРЕЦЫ" ПРОТИВ ЛИБЕРАЛОВ**

Однако особенно невзлюбили "сионские мудрецы" либералов. "Делаем выписку из пятого "Протокола", — заявляет комментатор Форд. Хорошо. Он выписал, а мы почитаем.

**"Под нашим влиянием разумное применение закона доведено**

**до минимума. Уважение к закону должно быть поколеблено при помощи "либерального" толкования, которое мы ввели в этой области".** Слово "либерального" международные злодеи "сионские мудрецы" почему-то берут в кавычки, подобно самому заурядному черносотенному трудяге-репортеру. Но на этом карикатурное изображение либералов "сионскими мудрецами" не кончается. В десятом "Протоколе" говорится:

**"После того как мы внесли в организацию яд либерализма, она приняла совсем другой политический образ".**

Из данного протокола видно, что "сионские мудрецы"-отравители уже тогда были "убийцами в белых халатах" и уже тогда их амбиции не опускались ниже правительственных учреждений "неверных".

**"Для того чтоб раньше времени не разрушать совершенно аппарат управления неверных, мы авторитетно наложили на него свою руку и нарушили лишь правильность работы его механизма. Раньше он работал точно и в полном порядке, но мы заменили его "либерально"-дезорганизованным партийным управлением. Мы приобрели влияние на судебные решения, избирательное право, прессу, свободу личности — и самое главное — на воспитание и культуру — эти краеугольные камни человеческого бытия".**

**Каковы же методы "сионских мудрецов" в области воспитания? "Теоретическими и практическими методами воспитания, которые мы сами, конечно, считаем ложными, но которые мы все-таки внушили, мы направили молодежь неверных на ложный путь, засорили ей головы и понизили ее нравственный уровень". Но чем же конкретно? В распоряжении "сионских мудрецов" самые неожиданные средства, вплоть до спортивной одежды. "Разве наши молодые люди, — пишет комментатор протоколов Генри Форд, — сами изобрели теперешнюю спортивную одежду, которая оказала такое вредное влияние на современную молодежь? Этот стиль вышел из еврейских магазинов готового платья. Посмотрите на этих наших разодетых молодых людей и девушек с их пошлой внешностью, с их отсутствием всякого чувства ответственности. Начиная от их костюмов и фальшивых камней и кончая их болезненно возбужденными мыслями и желаниями, вы можете сказать о них: "Созданы, развращены и эксплуатируются евреями". Вот какое жуткое освещение дают современные факты цитате, гласящей: "...методами воспитания, которые мы сами, конечно, считаем ложными, но которые мы все-таки внушили...".**

**"Выходит, — с горечью пишет Форд, — что одни производят бездельушки, вместо того чтоб заняться выработкой стали, а другие фабрикуют всякую дрянь вместо того, чтоб работать на хуторах".**

По всему видно, что, несмотря на свой патологический антибольшевизм, у современных советских идеологов-антисионистов Форд вполне мог бы заслужить эпитет "резво-

Мыслящий", а может даже, и был бы назван "прогрессивным представителем деловых кругов Запада". Например, его обличения буржуазного кинематографа вполне могут быть опубликованы "Литературной газетой".

"Кинематограф представляет собой интересное сочетание фотографии с театром, но кто несет ответственность за его вырождение, которое сделало из него моральную опасность для миллионов людей, опасность столь большую, что она возбудила общее беспокойство и осуждение людей".

На этот вопрос отвечает другой антисемит-антибольшевик атаман Краснов в своем многотомном сочинении "От Двуглавого Орла к красному знамени".

"Он (герой Краснова, офицер Саблин, — Ф.Г.) шел по Невскому глубоко взволнованный. Кинематограф, а их было сотни на самом Невском и на Литейном и на Загородном и на Забалканском и всюду и везде нагло пестрыми буквами и громадными картинками и плакатами кричали заманчивые названия и смысл их был: "Пролетарии всех стран соединяйтесь!" Вон с угла какого-то переулочка наглыми хлесткими огнями кричит он: "Только для взрослых". И толпа солдат, юных и безусых, толпа мальчишек и девочек-подростков вываливает из его гостеприимных дверей на улицу. Слышны смелые шутки и смех, в которых нет стыда. Мальчик лет четырнадцати нагнулся к уху девочки-подростка и напевает на всю улицу: "Как тебе не стыдно, панталоны видно..." Здесь соблазняли малых сих, заплывали их юные сердца, но никто не навешивал на соблазнитель жернова и не бросал их в морскую пучину. Молчали писатели и художники, потому что это было либерально! Это шло под лозунгами социализма и говорить против этого было не выгодно!!"

Так, двумя восклицательными знаками отвечает на вопрос автомобильного короля Форда казачий атаман Краснов. Причем там, где Форд теоретизирует, Краснов рубит с плеча.

— В бредни о массонах, которые распространяют черносотенцы, уверовали? Недаром я видел, как вы зачитывались "Сионскими протоколами". Но ведь вы знаете, что они подложны?

— Совершенно верно-с. Подложны-с. Но мысли, мыли не подложны... Наверху у нас все жиды-с... Евреи... Маркс — еврей, Троцкий, Зиновьев, Радек, все они-с... Ведь это уничтожение христиан... Убивали лучших... Возьмите опять Столыпина. Что ж, разве хутора не нравились крестьянам? Убили... Государство исчезнет, и люди станут рабами у еврейства.

Но тут появляется некий Бродман, собирательный образ "сионского мудреца". "Он поздоровался и стал на фоне окна, опираясь на подоконник и скрестивши на груди руки".

Приняв позу опереточного пророка, он заговорил в стиле "Протоколов" с некоторой, правда, беллетристической вольностью, придавшей речи привкус жаргончика из анекдотика.

"Ой! Как хорошо! Ну вы, конечно, знаете — война..." или:

"Любовь? Странный вы человек... Любовь — это похоть... Вы, вероятно, помните "Бездну" Леонида Андреева? От "Крейцеровой сонаты" Толстого к "Бездне" Леонида Андреева и "Санину". Санин — идейный большевик, и такими мы должны стать.

— Зачем?

— Как зачем? А чтоб наплевать в самое сердце людей, выправить из него все, что влечет их на подвиги. Благородство, честность, вера, чувство долга — все свиньям под хвост. И лучшего из гоев убей. Мы дали вам бога, мы дадим вам царя!"

Мы видим, что необходимая для нации общность языка вполне соблюдается. Международные антисемиты составляют единую расу с общим мышлением и единым запасом слов. Крайне узок и круг идейно-"художественных" образов. Поэтому идея "царя" обязательно должна выскочить и у Генри Форда. Впрочем, какое-то чисто профессиональное своеобразие все-таки существует. На вопрос, кто спасет человечество, отвечают по-разному. "Офицеры! — восклицает атаман Краснов, — вот кто придет и спасет Россию! Офицеры, как некогда Христос, возьмут вервие (пушки, винтовки, шашки) из места, где совращают народную душу".

"Нееврейские капиталисты спасут, — в свою очередь утверждает Форд, — трезвомыслящие представители делового мира Запада".

Да, погибший талант, этот антисемит Краснов, не разобрался в политической обстановке, не смог стать трезвомыслящим черносотенцем, подобно Шульгину. А ведь по многим параметрам подходил к "Воениздату" или "Нашему современнику", мог стать в одну шеренгу с офицером Иваном Шевцовым или мичманом Пикулем. В чем же ошибка? В том, что атаман, как черт от ладана, шарахался от слов "красное знамя", "большевики", "советы", а Шульгин взял да к этим словам и пригляделся повнимательней. Не в их текущем значении, а в их исторической перспективе.

## НИЦШЕ, КАТКОВ И ЕВРЕИ

Пора, однако, возвращаться из счастливого будущего к мрачному прошлому, то есть к текстам "Протоколов". "Сионские мудрецы" не были бы таковыми, если бы задумав развратить молодежь, оставили бы в покое семью. В десятом "Протоколе" говорится:

**"После того как нам удастся внушить каждому мираж приоритета его собственной личности, мы разрушим влияние и воспитательное значение семьи неверных". "Дети, — комментирует Форд, — почти лишены в наше время возможности свободно играть, их игры протекают не иначе, как под надзором назначенных руководителей, между которыми, по странному стечению обстоятельств, поразительно большое число евреев. А юноши слушают лекции о свободе пола еврейского либерала".**

Весь этот вселенский заговор сионистов, или попросту, показачьи, по-атамански говоря, — "жидов-с" покоится на трех китах от философии. Во втором "Протоколе" сказано:

**"Пока наступит время, пусть себе утешаются. Пускай все жизненные теории которые неверные почитают за законы, обоснованные на науке, продолжают играть главную роль в их жизни. Обратите внимание на то значение, которое приобрели дарвинизм, марксизм и философия Ницше благодаря нашим стараниям. Деморализующее влияние этих учений на духовный строй неверных является для нас вполне ясным".**

Почему "сионские мудрецы" взяли себе в философские пророки Маркса, понятно. Понятно и почему современные марксисты стали антисионистами, хотя еще не пришло время для лекций на тему: "Кто распял Карла Маркса?". Почему в подручных у сионистов оказался Дарвин, тоже понятно. Дарвин доказал, что от обезьяны произошли не только нынешние евреи, но и нынешние антисемиты. Однако, почему среди "жидов-с" затесался Фридрих Ницше? Антисионист Адольф Гитлер, правда, впоследствии Фридриха Ницше посмертно реабилитировал. Однако вопрос вражды между Ницше и ранними антисемитами требует пояснений.

Дело в том, что антисемит-антисионист периода написания "Протоколов" был еще, подобно дворянским революционерам-декабристам, "страшно далек от народа". Он был еще слишком погружен в клерикально-дворянское прошлое.

Свою практическую деятельность он осуществлял с дубинами и хоругвями в руках. А почетным председателем "Союза русского народа" состоял Иисус Христос, который мыслился наподобие вселенского атамана. Ранний антисемит-антисионист периода написания "Протоколов" еще плохо осознавал свое будущее и свою подлинную природу, не осознавал, что свою истинную опору он может приобрести только спустившись в нижнее сословие и став на классово-расовые позиции.

Ницше выступал против старых нравственных понятий, и дворянского антисемита это пугало. Он еще не понимал, что будущее антисемитизма связано с национальным социализмом, с тем самым пролетариатом, в адрес которого он метал громы и молнии. Недаром князь Мещерский, редактор "Гражданина", объявившего, что евреи не люди, а нечистые насекомые, или зловредные бактерии, подлежащие истреблению, послал благодарственную телеграмму Бисмарку, объявившему социализм вне закона. Этот государственный акт Бисмарка, напугавший европейских немецких антисемитов, привел в восторг азиатского русского антисемита. Подобная ошибка, кстати, вновь возрождается в наше время, особенно среди русских антикоммунистов-антисемитов. Опять делается попытка проклясть социализм, объявив его еврейской выдумкой, и вернуться к старому доброму христианскому антисемитизму.

По этому поводу хочется привести слова философа Соловьева, отнюдь не либерала, наоборот, относящегося к либерализму недружественно, монархиста, отдающего предпочтение теократии перед демократией. "Я не стану повторять здесь рассуждений, которые не могут иметь никакого значения для антисемитов. Кто проповедует огульную вражду к целому народу, тот тем самым показывает, что христианская точка зрения потеряла для него свою обязательность". Антисемит Форд сам обнаруживает свою антихристианскую суть, заявляя: "Эти статьи свободны от туманных настроений любви ко всякому ближнему", то есть высмеивает основной постулат христианства не хуже Юлиана Отступника.

Известный русский публицист конца прошлого века М.Н.

Катков, который тоже отнюдь не был либералом, человек националистических, консервативных взглядов, высказывается еще более определенно уже не о моральных, а о политических целях тех, кто возбуждает вопрос "не только о еврействе в России, обо всем на свете", называя эти действия политической интригой и спрашивая: "Не становимся ли мы в слепом увлечении исполнителями злоумышленного заговора?"

То есть те, кто кричат о всемирном еврейском сионистском заговоре, по сути замышляют свой всемирный антисемитский заговор. Поджог рейхстага в Берлине и "дело врачей" в Москве подтвердили историческую правоту дальновидного публициста. Но даже если отбросить здравый смысл (который для антисемита всегда был опасен, ибо это могло привести к душевному крушению и раскаянию, подобному тому как случилось в конце концов с Розановым), если опираться не на суть христианства, не на Евангелие, а на обряд, то и это вряд ли в нынешнем мире способно по настоящему поддержать антисемита. Утрата клерикальным христианством политической власти над социальными низами есть процесс необратимый. Только социализм, причем не в его экономическом смысле, уменьшающем напряжение между разными сословиями, а наоборот, в его политическом значении, перестраивающем структуру общества и возводящем в правящее сословие социальные низы, только политический социализм может быть для антисемитов-антисионистов подлинной основой. Так что в 20-ом веке пусть оппозиционный антисемитизм оставит надежды на хоругви и надеется только на знамена.

Антисионист Гитлер, сам выходец из социальных низов, правильно понял значение политического социализма для антисемитов. Но его реабилитация и даже возвеличивание Ницше лишний раз подчеркивают личный элемент в социальной теории. Всякий, кто внимательно глянет на фотоизображение Гитлера, должен осознать, что мы имеем дело с субъектом, любившим вертеться перед зеркалом. Субъектом, обладавшим отнюдь не арийской внешностью румынского парикмахера или югославского кельнера, однако вообразившим себя в доспехах древнеримского легионера-сверхчело-

века. О подобном ли ряженном парикмахере-сверхчеловеке говорил Ницше?

В вышедшей в 1908 г. в Париже работе Леона Пино "Эволюция романа в Германии в 19-ом веке" сказано: "Социализм имел результатом Ницше, то есть протест личности, которая не хочет исчезнуть в анонимате, против нивелирующей и все захватывающей массы, восстание гения, отказывающегося подчиниться глупости толпы". А антисемит всегда представлял интересы толпы, даже если он состоял отпрыском королевской династии.

Отбросив крайности, которыми изобилует теория Ницше, можно сказать, что это была болезненная реакция культуры на грядущие социальные уродства. Слепой инстинкт подсказал незрелым антисемитам, что Ницше их враг. Однако взгляд зрелого антисемита-социалиста видел все предметы на свой манер, подобно первобытному дикарю, умевшему подмечать внешнюю сторону окружавшей его действительности, но совершенно лишенному способности понять ее содержание. Современный же черносотенно-фашистский дикарь отличается от своего первобытного собрата тем, чем лишенный ума ребенок отличается от великовозрастного безумца. Суждения первобытного дикаря, как и суждения ребенка, при всей их внешней стороне тонки и своеобразны, тогда как суждения великовозрастного безумца смешны и примитивны. Цитаты из "Протоколов", а также комментарии апологетов лишний раз подтверждают это.

**"Если бы даже так называемые "Протоколы Сионских мудрецов" были не чем иным, как литературной достопримечательностью, — пишет Генри Форд, — все же они должны обладать магической притягательной силой, благодаря жуткому совершенству изложенной в них мировой программы. Однако мнение, что они являются не чем иным, как литературным произведением, опровергается самим их содержанием. Вот цитата из восьмого "Протокола": "Мы должны окружить наше правительство множеством политэкономов", — политическая экономия является главной наукой, которую преподают евреи. "Мы окружим себя блестящей толпой банкиров, промышленников, капиталистов и в особенности миллионеров, так как все будет зависеть от могущества денег".**

**"Говорят о еврейском вопросе, — пишет философ Соловьев, — но в сущности все дело сводится к одному факту, вызывающему вопрос не о еврействе, а о самом христианском мире. Этот факт может быть**

выражен в немногих словах. Главный интерес в современной Европе — это деньги. Евреи — мастера денежного дела, естественно, что они господствуют в современной Европе. После многовекового антагонизма христианский мир и иудейство сошлись наконец на одной общей страсти к деньгам. И вот мы видим, что просвещенная Европа служит деньгам, тогда как иудейство заставляет служить себе и деньги, и преданную деньгам Европу".

Задолго до возникновения современного капитализма Шекспир в образе Шейлока показал человека, привязанного к деньгам отнюдь не ради одной их материальной пользы, а как к средству обрести равные гражданские права с тем христианским рыцарством, которое видит в деньгах лишь способ для личных наслаждений. Разумеется, моральные качества и тех и других оставляют желать лучшего, и в дантовом аду накопитель и расточитель находятся рядом. Однако не в царстве теней, а в царстве плотских тел накопительство, помимо личной, приносит еще и общественную пользу, служит благу государства, тогда как феодально-рыцарское расточительство ведет к личным материальным благам и общему обнищанию.

Сам Форд, правда, ради своих целей вынужден признать: "Уместно будет остановиться здесь на одном своеобразном явлении, неразрывно связанном с преследованием и переселением евреев из страны в страну в Европе. Где бы они не появлялись, туда как бы переносился за ними и узловой пункт делового оборота. Пока евреи пользовались свободой в Испании, там находился денежный мировой центр. С изгнанием евреев Испания потеряла свое финансовое значение и уже не вернула его более никогда... Изобретением фондовой биржи мир также обязан еврейскому финансовому таланту. В Берлине, Париже, Лондоне, Франкфурте, Гамбурге евреи оказали преобладающее влияние на первые фондовые биржи, а Венеция и Генуя в древних донесениях прямо называются "еврейскими городами", с которыми можно было вести большие торговые и финансовые дела. Английский банк был основан по совету и при помощи еврейских переселенцев из Голландии, Амстердамский и Гамбургский банки возникли под еврейским влиянием".

## "НАРОД—ХОЗЯИН" И НЕПРОШЕННЫЕ ГОСТИ

Какие же выводы делает Форд из изложенных им фактов? Выводы о существовании еврейского "сверхкапитализма". Ему нет дела до того, что изобретение финансового кредита было равноценно изобретению культурного земледелия. "Су-

ществует раса, часть человечества, — пишет Форд, — которой при появлении ее никто никогда не сказал "добро пожаловать", но которой, несмотря на это, удалось возвыситься до такого могущества, о котором не мечтала ни одна из сильных, гордых рас, — даже Рим во времена наивысшего расцвета своей власти".

Мистер Форд при этом, однако, не приводит ни одного примера, когда, кому и какой "гордой расе" говорили в истории "добро пожаловать". Может быть, языческому Риму, когда он шел "в гости" к другим народам, прихватив в подарок огонь и меч? Может, "добро пожаловать" говорили средневековому мусульманскому империализму? Или христианскому колониализму? Христофор Колумб, открывший для Европы ту самую Америку, на территории которой Генри Форд построил свои автомобильные заводы, тоже не был встречен гостеприимным "добро пожаловать".

"История евреев в Америке, — пишет Форд, — начинается с Христофора Колумба. Второго августа 1492 года более трехсот тысяч евреев были изгнаны из Испании. С того момента господствующее положение Испании начало падать. На следующий день Колумб вышел в открытое море. Его сопровождало значительное число евреев. Колумб рассказывает сам, что он много вращался среди евреев. Первое письмо, в котором он описывает свое открытие, было адресовано еврею. И действительно, чреватое событиями путешествие, которое обогатило человечество знакомством с благами второй половины земного шара, сделалось возможным только благодаря евреям. Красивая история, что путешествие это финансировалось путем заклада драгоценностей королевы Изабеллы, поблекла при свете трезвого исследования. Астрономические инструменты и морские карты были тоже даны евреями".

Все эти "объективизмы" не мешают, однако, Генри Форду в конце заявить, что именно он является представителем "народа-хозяина", у которого евреи находятся в "непрощенных гостях".

Теперь, когда Генри Форд уже давно в аду, рядом с антисоциалистом Адольфом Гитлером, приказавшим издать по-немецки эту его книжечку комментариев к "Протоколам", теперь Генри Форд уже знает, кто именно хозяин на Божьей земле. Возможно, в адской духоте он до хрипоты, не зная покоя, вынужден выкрикивать евангельскую притчу о неблаго-

дарных виноградарях и о Хозяине виноградника. Притчу, которую он не удосужился внимательно прочесть на земле. То, что Форд плохой христианин, мы уже убедились. Но капиталист-то он все-таки неплохой, и разделение труда, являющееся теоретической основой современной политэкономии, — практическая основа его производства. Если уж Форду не нравится "еврейская" политэкономия, то прочитал ли он хотя бы "нееврейскую" политэкономия Адама Смита? Или "философию промышленности" Эндрю Юрэ, которая была издана еще в 1836 году? А если уж его так заинтересовал еврейский вопрос, читал ли он другие книги, помимо "Еврейской опасности" Нилуса и им подобных сочинений, о которых Владимир Сергеевич Соловьев писал следующее. "Поражаешься резким контрастам между бессодержательностью юдофобских словоизвержений, где вымышленные или же ничего не значащие единичные случаи идут вместо фактических оснований, а грубейшие софизмы и огульная брань заменяют логическую аргументацию... и "психологическими" рассуждениями, что у евреев особенно развиты сила воли, энергия, разум, семейное начало, а у русского народа есть только святость, а потому во имя своей святости и для охранения ее от еврейской энергии наш святой народ "должен так или иначе истребить евреев". Эти рассуждения весьма напоминают "объективизмы" Форда и проистекающие из них дикие выводы. Уж не говоря о милых "комплиментах" в адрес "неевреев".

Конечно, каждый народ несет в себе свою судьбу, свою трагедию и каждый сеет вокруг себя не только доброе, но и злое. Своеобразие еврейской судьбы делает еврейский вопрос актуальным, и только лицемеры из неосталинского агитпропа могут отрицать его существование, с тем чтоб удобней было науськивать свою антисионистскую свору. Но и антисемиты-антисионисты прошлого никогда не стремились разобраться в этом вопросе, пусть не с позиций юдофилов — этого от них никто не требует, — но хотя бы с позиций патриотов своего Отечества. Их отношение к этому вопросу простое. Как пишет Катков: "Кричать и свистать".

"Взять хотя бы проблему народного пьянства и связанную с ней проблему народной нищеты. Уже в первом "Протоколе Сионских мудрецов" присутствует этот излюбленный мотив черносотенной печати. "Мы искусственным путем глубоко подорвем источники производства товаров посредством внушения рабочим анархических идей и приучим их к употреблению спиртных напитков".

"Не ложь ли это? — отвечает черносотенцу с приклеенными пейсами Катков, — ни в Московской, ни в Тульской, ни в Рязанской и так далее губерниях нет ни одного жида-шинкаря. Но спросите у людей действительно сведущих, где народ более спивается и где крестьяне более разоряются, — в Ковенской ли губернии, в Виленской ли, в Волынской ли, в Подольской ли или в наших местах, куда евреев не пускают и где кабаком орудует православный целовальник или кулак? Пьянство в западном крае не только не более, но гораздо меньше развито, чем в остальной России и крестьянин там относительно живет не хуже, а лучше. В западном крае действительно господствует страшная нищета, но эта нищета не крестьянская, а еврейская".

"К словам Каткова, — добавляет В.С.Соловьев, — наши антисемиты не могут относиться так, как они отнеслись бы, например, к моим собственным рассуждениям. От корифея русской "национальной политики" нельзя отделяться общими местами о либерализме, доктринерстве, идеализме".

## ПОЛИТИЧЕСКОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО

Да, дискредитировать напрямую националиста Каткова трудней, чем либерала Короленко. Но это делают за них "сионские мудрецы". В восьмом "Протоколе" сказано: "До наступления возможности поручать ответственные посты нашим братьям без опасности для них мы будем замещать высокие посты такими личностями, которые вырыли пропасть между ними и их народами". То есть объевреившимися неевреями. А таковым объявляется всякий, кто отказывается "свистать и кричать" вместе с антисемитами, — все — от американских президента и правительства, которых Генри Форд назвал "определенно объевреившимися", и до саратовского губернатора, которого князь Мещерский обругал только за то, что он издал служебный циркуляр, обязавший чиновников изучить причину неудовлетворительного экономического положения Саратовского края, вместо того, чтоб искать готовые ответы в черносотенной печати. Причем люди, подобные саратовскому губернатору, вовсе не были идейны-

ми противниками антисемитизма. Они охотно ухватились бы за антисемитизм, если бы он действительно мог помочь Отечеству. Но и в прошлом и в настоящем антисемитизм-антисионизм одним доставляет низменные плотские удовольствия, а другим помогает в определенного сорта личной карьере. Отечеству же в лучшем случае никакой пользы, в худшем же случае — прямой вред.

Мы говорим это вовсе не для перевоспитания антисемитов. Дело это безнадежное и ненужное. Владимир Сергеевич Соловьев приводит слова одного из своих знакомых, назвавшего антисемитизм неизлечимой болезнью. "Я с этим совершенно согласен, — пишет Соловьев, — и не имею ни малейшего притязания лечить кого бы то ни было от "жидобоязни". Хочу только предложить простое профилактическое средство тем людям, которыми этот тяжкий недуг еще не овладел окончательно и которые лишь более или менее предрасположены к нему". И Соловьев советует читать первоисточники, то есть антисемитскую прессу. О прессе во втором "Протоколе" говорится:

**"Современные правительства держат в своих руках силу, которая создает в народе определенные настроения — прессу. Триумф свободы слова, свободы болтовни подобает прессе. Но правительства не способны правильно пользоваться этой силой, и она попала в наши руки. Дерзкие журналисты и смелые пасквилянты ежедневно нападают на высших должностных лиц правительства. Пресса должна быть поверхностна, лжива и неприлична. Мы взнуздаем прессу и затынем удила. Так же мы поступим и с прочей литературой. Никакие известия не будут делаться известными народу, если они не прошли через нашу цензуру..."**

И прочее, и прочее, и так далее, и в том же духе... Честно говоря, "Протоколы" уже начинают утомлять, как однообразные шутки в затянувшейся оперетке. Вначале искренне смеешься не над их содержанием, а над их глупостью, потом радуешься собственному остроумию, дающему этим глупостям хлесткие характеристики, но постепенно начинаешь клевать носом. Уже не смешит то, что "сионские мудрецы" постоянно чрево вещают голосом черносотенного публициста, называют свободу слова — свободой болтовни или произносят монологи в лучших традициях злодеев из третьесортного

авантюрного лубка. Правда, иногда вдруг среди убаюкивающего вороньего карканья вспыхивает какая-нибудь совсем уж несусветная глупость, которая и мертвый череп заставит оскалиться. Такое происходит, когда протоколы начинают сообщать о политике партии "сионских мудрецов" в области литературы. Впрочем, начало звучит вполне логично: "В так называемых прогрессивных странах мы насадим бессмысленную, сомнительную и враждебную добрым нравам литературу". Есть народная пословица: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Оппозиционный экстремист отличается от государственного тоталитариста именно этой нетрезвой политической развязностью. Поэтому в его залихватских речах можно обнаружить иногда и пророческие высказывания. Например: "Мы заставим увеличить рабочую плату, что, впрочем, будет бесполезно для рабочих, так как в то же самое время мы увеличим цены на необходимые предметы продовольствия под предлогом падения земледелия и скотоводства".

Жизнь внесла свои коррективы и необходимые предметы продовольствия в современной антисионистской России не всегда можно приобрести даже по увеличенной цене. Зато в избытке продукция Союза советских писателей, основой которой является толстый том-"кирпич".

"Для того, чтобы принудить писателей сочинять такие толстые книги, чтоб их никто не читал, — записано "сионскими мудрецами", — мы введем на сочинения налог, который для книг меньше тридцати страниц будет вдвое повышен. Больше всего нужно опасаться небольших статей. Чем длиннее статья, тем меньше у нее читателей. Налог будет умерять литературное самолюбие в чистом виде. С другой стороны, страх перед наказанием сделает писателей послушными".

Вообще двадцатый век доказал, что политическое мифотворчество подобного рода, как бы глупо оно не выглядело, лишено утопической воздушности. Самые нелепые фантастические проекты имеют своих технологов, воспринимаются как руководство к действию. В одни вносятся коррективы (например, налог на толстый роман-"кирпич" — воплощение бездарности как важный идеологический элемент партийной

литературы — берется не с писателя, а с читателя), но другие проекты зачастую в почти неизменном виде обрели плоть, запах, цвет.

## **ВСЕМИРНЫЙ САМОДЕРЖЕЦ**

Чем более читаешь "Протоколы Сионских мудрецов", чем более вглядываешься в их литературный стиль, тем более начинаешь ощущать общность их литературно-политического жанра с другими протоколами, а именно с протоколами допросов и судебных заседаний периода сталинских чисток. Особенно "ежовщины" и "бериевщины", когда на смену разгромленному полицейскому аппарату в органы безопасности пришла "большая группа молодежи, партийно-комсомольских работников", национальные кадры из глубинки. И когда обнаруживаешь подобное сходство, то смех постепенно затихает и литературно-политические глупости приобретают запах крови. Основой "Протоколов Сионских мудрецов", как и протоколов допросов во время сталинских чисток, является самооговор жертвы, подтверждающей клеветнические обвинения, возводимые на него палачами, а также косвенные комплименты в адрес собственных палачей, признание их правоты.

В своем докладе на закрытом заседании 20-го съезда КПСС Хрущев сообщает: "Вскоре после ареста врачей мы, члены Политбюро, получили протоколы, в которых врачи сознавались в своей вине... Дело было поставлено таким образом, что никто не мог проверить тех фактов, на которых было основано следствие".

У черносотенно-фашистских следователей периода создания "Протоколов Сионских мудрецов" еще не было ни тюрем, ни камер пыток, жертвы еще были вне их власти, но они уже хотя бы в жанре литературно-фантастическом давали показания, угодные палачам. Однако палачи невольно навязывали жертве не только содержание показаний, но и свой литературный стиль, от которого не может избавиться ни один преступник, так же как от своих отпечатков пальцев.

Они навязывали жертве свой лексикон, свою орфографию, свои профессиональные термины, уровень своей грамотности. Наконец, они навязывали жертве свой образ мышления заговорщиков и тоталитарных убийц, они навязывали жертве свои тайные мечты.

"Наше верховное правительство, — дают показания "сионские мудрецы" в девятом "Протоколе", — может быть названо могучим и сильным словом — "Диктатура".

Кто в действительности установил диктатуры в двадцатом веке, общеизвестно. Но тогда, в начале века, черносотенные властолюбцы еще не до конца выработали форму диктатуры — то ли республиканскую, то ли монархическую. Во главе этой диктатуры, как сообщает толкователь протоколов Генри Форд, должен стоять или "Президент Мира" или "Всемирный Самодержец".

Подследственный Зиновьев в тот период, когда он не был еще сломлен пытками, назвал подобное мифотворчество палачей фантазиями Жюль Верна, арабскими сказками, что крайне возмутило прокурора Вышинского. Пожалуй, Зиновьев действительно переоценил литературные возможности костоломов. Скорее их художественность родственна не ажурной вязи арабских сказок, а аляповатым ярким краскам с ковриков базарной живописи. Всякий террор красный, по цвету пролитой им крови, но палач-инквизитор и палач-мещанин, будучи едины в труде физическом, разны в труде "умственном", то есть в пропаганде.

"Президент Мира", кстати говоря, действительно существует, эту должность ныне занимает Ромеш Чандра, индус-антисемит. Но "Всемирного Самодержца", о котором писали атаман Краснов и автомобильный король Генри Форд, пока нет и, будем надеяться, не будет. Ведь еще Катков предупреждал: если антисемиты кричат о еврейском заговоре, значит, они готовят свой собственный. Если в десятом "Протоколе" "сионские мудрецы" провозглашают свою мечту о "сверхправительстве", значит, о таком международном, наднациональном "сверхправительстве" мечтают сами фашистские идеологи.

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ФАШИСТСКИЙ ЛУБОК

Перед тем как перейти к весьма интересным выводам, которые делает из "Протоколов" комментатор Форд, хочется задать естественный вопрос: каким, собственно, образом эти "Протоколы" попали в руки обличителей? Что по этому поводу известно? Если, как пишет Форд, "государственные печатники английского правительства издали их, а английский "Таймс" признал все еврейские возражения "неудовлетворительными", если Британский музей шлепнул на них свою печать, а американские и французские чиновники занялись их изучением, то вопрос путей приобретения обличителями "Протоколов" должен быть первым. Тем более в самой антисемитской печати по этому поводу существуют весьма разноречивые версии. Форд пишет: "Кто дал название протоколам, неизвестно. Первоначально это были тщательно засекреченные конспекты лекций, которые прочел в Базеле узкой группе доверенных лиц Теодор Герцль". Хорошо. Но каким образом лекции эти оказались в руках у чистокровного антисемита Нилуса, опубликовавшего их в своем сочинении "Еврейская опасность"? Очевидно, сам чувствуя шаткость подобной версии, Генри Форд приводит и другую.

"О происхождении "Сионских протоколов" парижский журнал "La vieille France" пишет: "Сочинение, известное под именем "Тайны Сионских мудрецов", выпущенное в свет в 1905 году, принадлежит перу некоего Рабби Ашера Гинзберга, известного под именем Ахад Хаама. В девяностых годах прошлого столетия он написал его на еврейском языке в Одессе для основанного им тайного общества B'ne Moshe. В 1897 году оно было переведено на французский язык и доложено на конгрессе сионистов в Базеле. Копия французского перевода в том же 1897 году через посредство начальника русской тайной полиции за границей Рачковского попала в руки русского Министерства внутренних дел. Ученый Нилус перевел ее на русский язык в 1905 году и напечатал". Все, казалось бы, установлено журналом точно. И лич-

ность написавшего "Протоколы", и город, где они писались, и когда писались, и когда были переведены на французский. И то, что они попали к агенту русской полиции Рачковскому. Как попали, правда, опять неизвестно, но зато точно установлено, что на русский язык их перевел ученый Нилус. Что он перевел, мы уже знаем, с содержанием и литературным уровнем текстов ознакомились. Даже если б Теодор Герцль решился бы нечто подобное написать, — так написать он бы попросту не смог. Это стиль не еврейских фанатиков, не талмудистов, не каббалистов. Бывают, конечно, талантливые стилизации, талантливые подделки, но при всем ворохе обвинений, ни один антисемит еще не обвинил "сионских мудрецов" в том, что они в целях маскировки подделались под стиль черносотенной публицистики. Наоборот, всячески подчеркивается именно еврейский стиль, еврейское мышление "Протоколов". Комментатор Генри Форд пишет об авторе "Протоколов", что он "был первоклассный финансист, экономист и философ", что он "любит свой народ и свою веру" и что "Протоколы" полны гордой еврейской радости".

Так могут действовать, во-первых, только клеветники, обладающие низкосортным интеллектуальным уровнем, те самые, которые несколько лет спустя соорудили "дело Бейлиса", низкосортный уровень обвинений этого "дела" отказался поддерживать даже черносотенец Шульгин. А во-вторых, так могут действовать только те, кто уверен в своей безнаказанности. Если б какой-нибудь фальшивомонетчик вздумал подобным образом подделывать денежные купюры, его схватили бы за руку в первой же мелочной лавке. В чем же причина? Профессиональный уровень политических провокаторов может быть гораздо ниже профессионального уровня фальшивомонетчиков, потому что их деятельность выгодна не только им одним. Судьба безграмотного фашистского лубка, превращенного в пусть спорный, но все-таки международный документ, лишней раз подтверждает это. Более того, напуганные революцией в России, многие даже respectable господа начали прислушиваться всерьез к диким

бредням черносотенного антибольшевизма господ, подобных Форду и Краснову.

Объективности ради следует признать, что этого сорта "борьба с красными" возникла задолго до "литературной деятельности" Форда и Краснова. Еще в 1848 г. во Франции начали появляться брошюры, весьма напоминающие литературный стиль диких антибольшевиков нашего времени. Так, в одной из них, выдержки из которой процитированы Тексилем Делором в его книге "История Второй Империи" говорится: "Красный не человек, это не более как красный, это совершенно павшее существо. Впрочем, он носит на своем лице печать этого падения: грубая, лишенная всякого выражения физиономия украшается мутными глазами, которые не смеют глядеть прямо и вечно бегают, подобно глазам свиньи".

Вспомним князя Мещерского из "Гражданина". Князя Мещерского, прозванного князем "Точка" за то, что он требовал поставить точку на всех реформах России. "Евреи не люди, а нечистые насекомые или зловредные бактерии, подлежащие истреблению".

Безусловно, это единая всемирная раса, обладающая общностью языка, но которая не столько говорит, сколько "выражается". Так что ж все-таки говорит по поводу прочитанных "Протоколов" представитель этой расы автокороль Генри Форд? Какие выводы он делает? "Русская революция является расовой, а не политической или экономической".

## **ТРЕЗВОМЫСЛЯЩИЙ ГЕНРИ ФОРД**

Мы уже отчасти ознакомились с представлениями Форда о развитии революции в России. Сперва "сионские мудрецы" назначили правителем России еврея Керенского, но он не справился, его уволили и заменили Троцким. Ленин женат на еврейке. Большевики выпустили прокламации на еврейском языке. Христианские церкви осквернены, тогда как синагоги оберегаются и процветают. Вместо воскресенья, назначили выходным днем субботу. Да и вообще, Совет ра-

бочих и крестьянских депутатов — это еврейская форма национального самоуправления, возникшая в Палестине в первом веке под названием "кагал".

Мы не собираемся опровергать всех этих построений, которые живут и по сей день среди разного рода "национал-христиан". Мы не станем приводить факты о том, что главными гонителями еврейской религии были как раз евреи-большевики, что, кроме субботы, были введены субботники и что человеческая история особенно в моменты ее крутых переломов не детская площадка, где мирок строится из лоскутков, конфетных оберточек, щепочек и камушков. Мы последуем умному совету русского философа Владимира Сергеевича Соловьева и дадим слово самому Генри Форду, ибо, действительно, лучший способ спастись от тяжелого недуга для тех, кто еще не потерял остатки здравого смысла, это повнимательней ознакомиться не только с общеизвестными краткими тезисами антисемитов, но и с их разнообразными идеями и построениями.

Второй вывод, который делает Форд из "Протоколов": **"В мире происходит борьба не между трудом и капиталом, а между еврейским и нееврейским капиталом. Причем еврейский капитал натравливает труд на нееврейский капитал с помощью своих единоплеменников-социалистов"**.

А говоря "шершавым языком плаката", то есть современного отдела агитации и пропаганды, — это борьба между трезвомыслящими представителями деловых кругов и военно-промышленным комплексом, поддержанным сионистским лобби. Генри Форд, по сегодняшним стандартам, вполне подходит под этого "трезвомыслящего", тем более что он был известен также и как "борец за мир". В начале первой мировой войны он на специальном корабле отправился из Америки в Европу, чтоб помирить воюющие стороны, которых спровоцировали "еврейские поджигатели войны". Об этом событии написана книга Локнера "Генри Форд и его "Корабль мира", изданная в Мюнхене в 1923 г. и переведенная на русский язык. Так что, доживи Генри Форд до нашего настоящего, вполне мог бы он лично встретиться на каком-либо конгрессе борцов за мир с живым персонажем из

"Протоколов Сионских мудрецов" — Президентом мира.

И наконец, третий вывод, все объединяющий, символический. Это вывод о тайном смысле и значении большевистского символа — красной звезды. Форд ссылается на некоего Когана, написавшего в 1919 г. статью в газете "Коммунист". Какой Коган? В каком "Коммунисте"? Коган не Троцкий. Коганов так же много среди евреев, как Петровых среди русских. Хоть бы имя-отчество Когана привел и год рождения. Даже Мосгорсправка такого Когана не признает, а Генри Форд хочет, чтоб его признала история. И с газетой "Коммунист" тоже проблема. Не "Правда" ведь, не "Известия". Какой губернии "Коммунист", какого уезда? Но будем считать, что раз проблема символическая, то и пишет символический Коган в символическом "Коммунисте". В конце концов важно не кто пишет и где пишет, а что пишет. Так что же пишет Коган?

**"Можно без преувеличения сказать, что великий русский социальный переворот в действительности является делом рук евреев".**

Судя по всему, "Коган" — в лучших традициях "сионских мудрецов", чревоуважавших голосом черносотенцев, чревоуважает и голосом самого Генри Форда. Он продолжает:

**"Символ еврейства сделался символом русского пролетариата, что видно из принятия красной пятиконечной звезды, которая, как известно, в старые времена являлась символом сионизма и еврейства".**

"Как известно" — любимая форма доказательства советских агитпроповцев, но и они перевернутся в своих креслах от такого вывода. Действительно, когда это красная звезда была "символом сионизма и еврейства"? Очевидно, господину Форду надоела роль простого комментатора "Протоколов сионских мудрецов" и он решил написать их продолжение под именем "Коган".

**"Звезда Давида, — продолжает уже комментировать "Когана" Генри Форд, — еврейский национальный знак — есть, собственно, шестиконечная звезда, составленная из двух треугольников, из которых один покоится на своем основании, а другой на своей вершине. Ввиду того что евреи выдающиеся мастера в искусстве тайных знаков, надо думать, что большевистская звезда не без основания имеет одним концом меньше, чем звезда Давида. Пять концов звезды, то есть пять целей, за которые, по-видимому, спокойны, означают: биржу, прессу, парламент, Палестину и пролетариат".**

Мы, конечно, понимаем, что вступили даже не в область простого символизма, а скорее, политической астрологии. Вопросы задавать неуместно. Да и вряд ли "Коган" мог сообщить подобное господину Форду. В пьяном виде на извозчике и то такое вряд ли на ухо шепнешь. Такое про красную звезду могут нашептать только звезды небесные. А почему же, почему же все-таки красная звезда имеет на один конец меньше звезды Давида?

**"Это значит, — сообщает Генри Форд, — что остается исполнить еще один пункт мировой программы, а именно вступление на престол "нашего вождя". С пришествием этого мирового самодержца, к чему направлено все стремление еврейской программы, конечно, будет прибавлен и шестой конец. Шестой конец будет — Князь во Израиле".**

То, о чем атаман Краснов по-солдатски прямо предупреждал, автомобильный король Форд на небе вычитал. Грядет над миром власть красного моголендовиды, красной шестиконечной звезды, красного сионизма.

Форд говорит о Троцком и других революционерах-евреях: "Быть может, с точки зрения синагоги, они являются и плохими евреями, но они достаточно евреи, чтоб делать то, что может увеличить славу Израиля". Что ж, о самих господах Форде, Краснове и прочих антисемитах-антибольшевиках, прошлых и нынешних, можно сказать: может быть, с точки зрения отдела агитации и пропаганды, они и плохие антисионисты, но они достаточно антисемиты, чтоб делать то, что может увеличить славу мирового коммунизма, разумеется, вкладывая в это понятие свой идейно-политический смысл современного национал-коммунизма. Ибо шестой конец красной звезды существует, но он торчит вовсе не там, где его нацупывает господин Форд. Шестой невидимый конец сегодняшней красной звезды — это национал-коммунизм. И действительно, это ее главный конец.

Лидеров Октябрьской революции в России можно было обвинить в чем угодно, но только не в расизме и национализме. У них был иной принцип отбора "чистых" и "нечистых", не менее аморальный, но это не расовый принцип. Наши антисемиты-антисионисты обладали и обладают, однако, чисто человеческой слабостью, которая, к сожалению, вообще не

такая уж редкость в человеческом обществе: собственные извращения они приписывают своим врагам. Представитель "народа-хозяина" господин Форд настолько вошел в расовый кураж, что слово "евреи" у него написано с маленькой буквы, а слово "русские" — с большой. Думаем, что найдется достаточно русских, которые будут не в восторге от подобных комплиментов господина Форда. Истины ради следует сказать, что и среди русских вождей, участвовавших в Октябрьском перевороте, в этом вопросе Форд не нашел бы единомышленников. Да и евреи — народные комиссары — вряд ли стали бы писать слово "еврей" с большой буквы. И если господин Форд пишет: "В евреях раса сильнее религии", — то этим он только показывает, что в нем самом его антисемитская раса всегда была сильнее его антибольшевистской религии.

С самого начала большевизм, сложившийся из разбойного материала, тяготился интернациональным авангардом. Лидеры большевизма это понимали, что видно из многочисленных постановлений и указов о погромных настроениях среди масс, на которые они опирались. Это, однако, не снимает с них ответственности и в этом вопросе. Нельзя бороться с погромами на расовой основе и в то же время поощрять погромы на классовой основе. Жизнь доказала, что классовая основа была для погромщиков явлением временным, привнесенным с теоретических небес агитаторами, тогда как расовая основа была давно знакома и "землицей пахла".

Антагонизм между "телом" и "головой" большевизма был не только в этом. Это был старый, знакомый антагонизм между революционным политруком-интеллигентом и революционной партизанской толпой, желавшей выдвинуть своих атаманов.

## **ШЕСТОЙ КОНЕЦ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ**

Всякий процесс, в том числе и революционный, можно по-настоящему анализировать в его устоявшейся, стабильной, консервативной части. Недаром сегодняшние фальсифика-

торы русской революции любят плавать в ее неустойчивом бурном русле и стараются не заплывать на ее устоявшуюся гладь. Еще бы! Среди правителей России Форд и его последователи не увидели бы еврейских комиссаров. Национальный же состав не только что политбюро, но самого захудалого "кагала" — райсовета удовлетворил бы придиричвые требования такого эксперта в расовом вопросе, как атаман Краснов, ибо в сегодняшней России антисемитизм является негласным признаком лояльности режиму. Им пришлось бы признать, что нынешнее правящее сословие России, возникшее в результате Октябрьской революции, не отличается ни социально, ни национально от основной массы "народа-хозяина". Это правящее сословие, кровными узами связанное с социальными низами, хоть и эксплуатирующее их, закрепило результаты Октябрьского переворота. И закрепило не благодаря марксистской интернациональной доктрине, а вопреки ей.

Подобное положение, однако, не означает, что марксизм в нынешней России стал лишним элементом власти, ее рудиментом. Имя свое человек получает при рождении, получает в бессознательном состоянии. Оно может не нравиться, но избавиться от него невозможно без тяжелых психологических последствий. Ибо имя человека не просто слово, а символическое его обозначение, часть его психологии.

Подавляющее большинство учреждений ранних большевиков твердо стояло на земле, однако их символ, их имя — пятиконечная красная звезда сияла в небесах, утопически возвещая интернациональное братство. Зрелый большевизм сталинского образца опустил этот символ на землю. Но все живущее на земле в отличие от небожителей должно иметь корень. Таким корнем заземленной красной звезды, ее шестым концом и стал национал-коммунизм, в котором черносотенная раса взяла верх над своей марксистской религией.

*Западный Берлин, 1981.*



Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

## И ВОХРОВЦЫ И ЗЭКИ

*Заметки о песнях Александра Галича*

1

Было время, когда песни Александра Галича публиковались в журнале "Юность". За много не поручусь, но одну я помню точно, там был еще портрет и несколько добрых слов. Разные бывали времена на нашей памяти, такие, что порой и поверить трудно. Как говорил один старый коммерсант, было время, когда в сахар подмешивали соль, а было, когда в соль подмешивали сахар... Но вот что интересно: факт публикации я запомнил, а что за песня, забыл. И теперь, перебирая мысленно все известные мне песни Галича, я не могу найти ни одной, чтобы вставить ее в журнал, даже с учетом того либерального времени, когда в соль уже стеснялись подмешивать сахар. Галич писал запрещенные песни — вот первая неизбежная его характеристика.

Когда-нибудь найдется любитель систематики и напишет историю наших запретов по годам, а лучше по месяцам. Подсчитав среднее число упоминаний того или иного имени или понятия, он установит примерные даты. Тогда-то запре-

тили, тогда-то разрешили. Или: еще не разрешено. Или: не будет разрешено никогда. Но хотелось бы мне, чтобы в этом грядущем исследовании была отражена и одна боковая тема: непредвиденные последствия разрешений. К примеру, разрешили об выпить рюмку, — а уж кто-то, глядишь, написал о повальном пьянстве. Разрешили о некоторых трудностях жизни, — а уж мы читаем о невозможности жить. Потому что всякие границы и рамки не только ограничивают то, что внутри, — они еще и определяют то, что снаружи.

Автор и исполнитель запрещенных песен, как ни унижительно это признать, до появления соответствующей реляции был благополучным советским писателем, автором достаточно плохих пьес и сценариев. Но вот нам спустили сверху дозволение слегка изменить общественный взгляд — и, рванувшись за рамки, возник Александр Галич. Разрешили немного о лагерях — и вот уже пол страны сидит в кабаках, пропивая реабилитантскую пенсию. Позволили чуточку об отдельных нарушениях — и выплыло тяжелое слово палач, густо, по две штуки на строчку, до привычки, до оскомины, до тошноты, до того, чтобы стать таким же обыденным, как тогда обыденным было и занятие палача. Разрешили... Но дальше этот рефрен и не нужен. Не разрешали, не позволяли, не допускали ни слова о нынешних. А уже поздно, уже не имеет значения, выпустили пташку на волю, теперь попробуйте объясните, до какого столба ей летать.

**Она вещи собрала, сказала тоненько:**

**— А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою.**

**Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,**

**А что у папы у ее топтун под окнами.**

**А что у папы у ее дача в Павшине,**

**А что у папы холуи — секретаршами,**

**А что у папы у ее пайки цековские,**

**А по праздникам кино с Целиковскою!..**

2

Наша эпоха надежд и свершений порождает много различных уродств, и косвенные последствия рабской жизни бывают порой нелепей и досадней прямых. В устных и письменных обсуждениях, в обзорах, появляющихся на Западе,

часто производится четкое разделение, причем порой для одного и того же автора: высокий балл для всего ненапечатанного и низкий — для опубликованных произведений, даже если по художественным достоинствам они стоят на голову выше. Эта детская прямолинейность суждений могла бы умилять своей непосредственностью, когда бы она не была опасна. Ведь если судить по формальным, негативным признакам (не напечатано), то любой графоман — автор самиздата. Списки "вольной русской литературы" переполнены именами дилетантов и графоманов, и не думаю, чтобы редкие профессиональные литераторы радовались, видя себя в этих списках. К сожалению, а может быть, к счастью, в искусстве ничего не дает гарантии, ни то, что разрешили, ни то, что запретили.

И однако... Так ведь можно дойти и до пользы запретов. Нет, конечно же, дело не в том, что разрешенное в принципе лучше запрещенного, а в том, что запрещенное не достаточно хорошо. И тут, быть может, в первую очередь виновата как раз инерция запретов. Вырвавшись из-под глаза цензуры, внешней и внутренней, дорвавшись наконец до свободы, мы просто не знаем, за что ухватиться сначала, глаза разбегаются. И хватаем, что на поверхности: прямые проклятья, физиологию, мат. (Я не против мата, даже, может быть, за, но я против того, чтобы мат был мериллом и выразителем свободы слова.) Мы спешим, нам некогда подняться до образа, свобода стоит у нас за спиной и давит на плечи, как прежде несвобода. Но то был привычный, домашний гнет, мы знали, как жить, как изворачиваться, и шкалу ценностей тоже знали и уверенно ставили себе оценки. А здесь, за рамками, все чужое, все непонятное, не отчего оттолкнуться: мы-то остались прежними...

Удача Александра Галича во многом объясняется тем, что Галич, перейдя границу разрешенности, сменил не только жанр, но и свое обличье: другой автор, другой человек. Это было чудом, и так мы его и восприняли, как чудо, как подарок и неожиданную радость. Радостью была полная свобода от страхов и от иллюзий, подарком был высокий професси-

онализм, точность детали, всепроникающий юмор.  
И здоровая, добротная злость.

**Я живу теперь в доме — чаша полная.  
Даже брюки у меня, и те на молнии.  
А вино у нас в доме — как из кладезя.  
А сортир у нас в доме — восемь на десять.  
А папаша приезжает сам к полуночи.  
Холуи да топтуны тут все по струночке.  
Я папаше подношу двести граммчиков,  
Сообщаю анекдоты про абрамчиков...**

Не забудем, что это пелось не в Швейцарии, а под нашим родным московским небом. Представим себе это, напряжем воображение, и мы поймем, что в тех прямолинейных суждениях (напечатано — ложь, не напечатано — правда), по крайней мере в их критической части, есть немалая доля справедливости. Что бы мы ни ворчали у себя в углах, так, как Галич, публично, никто не скажет, и не только не позволят, а и сам не захочет.

**Пару лет в покое шатком  
Проживали А, И, Б.  
Но явились трое в штатском  
На машине КГБ.  
Всех троих они забрали.  
Обозвали их на "Б"...**

Нет, к такому мы не привыкли, мы привыкли к другому. У нас даже самый беспамятный пьяница помнит, кого можно, кого нельзя, и кроет продавщицу, евреев, соседа, а дальше уже переходит на китайцев. И писатели, наши доблестные деревенщики, которым сегодня дозволен передний край, самые смелые из них и одаренные, самые одержимые вдохновением четко знают предел, край края и строят свой органический мир с учетом высших сил справедливости, располагающихся на разных уровнях, но всегда не выше райкома партии.

Галич в эти игры не играет. Он ничем, кроме правды, не ограничен и никому не приносит извинений. Он свободный человек, и он может все.

**Тишина на белом свете, тишина.  
Я иду и размышляю неспеша:  
То ли стать мне президентом США,  
То ли взять да и окончить ВПШ!**

## 3

Оказалось, что ему счастливым образом доступен любой воображимый ракурс. И к чести его надо сказать, что он не злоупотребил этой возможностью и в подавляющем большинстве своих миниатюр широкому взгляду и общему плану предпочел репортаж из житейского пекла, где герой и слушатель — лицом к лицу.

**А Парамонова, гляжу, в новом шарфике.  
Как увидела меня, вся стала красная.  
У них первый был вопрос "свободу Африке!" —  
А потом уж про меня в части "разное".**

**Тут как про Гану — все в буфет за сардельками.  
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами.  
А как вызвали меня, я свял от робости.  
А из зала мне: "Давай все подробности!"**

Бессмысленная, нелепая, невозможная мешанина из убогих чувств, нищеты, демагогии, привычного вранья, подетального быта — какая-то фантазмагория тоски и глупости предстает нам из песен Александра Галича и смешит нас, но и волнует безумно, потому что все это узнаваемо, все — наша подлинная жизнь.

**И тогда прямым путем в раздевалку я  
И тете Паше говорю, мол буду вечером.  
А она мне говорит: "С аморалкою  
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.  
И племянница моя, Нина Саввовна,  
Она думает как раз то же самое.  
Она всю свою морковь нынче продала  
И домой по месту жительства отбыла".  
Вот те на!**

Что же такое произошло? А то и произошло, что явился человек с гитарой, достаточно одаренный и достаточно смелый, чтобы продемонстрировать нам полную свободу творчества, — то, чего так и не смогла литература. Действительно, вот те на! И, конечно, Галич — это радостное явление, но это еще и тревожный знак, свидетельство того, в чем мы боимся признаться.

Двадцать лет кружений вокруг иллюзорной свободы словно бы отцентрифугировали российскую словесность, разделив ее на две отдельные фракции. И теперь, если прав-

да, — то нет искусства, в лучшем случае что-то около, а если искусство, — то нет правды, в лучшем случае — тишайшая ее половина. Мы, конечно, стараемся этого не замечать, мы так стосковались по любой подлинности, что за каждую мелочь благодарны автору: за бедность крестьянина, за пьянство рабочего, за плохое настроение интеллигента... А с другой стороны, таким редким явлением стал настоящий профессионализм, что, сталкиваясь с живым самостоятельным словом, мы неизменно приходим в восторг, даже если это слово так самостоятельно, что забыло, какому понятию принадлежало...

Галич выбрал узкий и "легкий" жанр, но в нем он добился предельного соответствия между словом и фактом.

Мир его песен, игровой и гротескный, — это, конечно, не слепок с реальности, скорее — ее отображение на плоскости. Но здесь, на карикатурной плоскости, все движение происходит легко и естественно и узнаваемо в каждой детали.

**У жене моей спросите, у Даши,  
У сестре ее спросите, у Клавки.  
Ну ни капельки я не был поддавши,  
Разве только что маленько с поправки.**

**Только принял я грамм сто для почина,  
Ну не более чем сто, чтоб я помер,  
Вижу, к дому подъезжает машина,  
И гляжу, на ней обкомовский номер.**

Это типичное для Галича развитие действия: точно спродированный повседневный быт сталкивается с некоторым спущенным сверху условием ("в ДК идет заутреня в защиту мира"), происходит неожиданный взрыв-скандал — и вот уже благополучный герой-работяга кроет с эстрады израильскую военщину от имени матери-одиночки. Причем Галич умеет прекрасно разрешить любые подобные ситуации.

**Тут отвисла у меня прямо челюсть.  
Ведь бывают же такие промашки!  
Этот сучий сын, пижон порученец  
Перепугал в суматохе бумажки.**

**И не знаю, продолжать или кончить.  
Вроде в зале ни смешочков, ни вою.  
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,  
А кивает мне своей головою.**

Изо всей этой массы житейских подробностей и привычных наших возлюбленных штампов, из этой чудовищной кучи-малы Галич, перемешав ее хорошенько, как фокусник, вытаскивает еще и мораль, тоже, разумеется, пародийную.

**А у психов жизнь —  
Так бы жил любой.  
Хочешь — спать ложись,  
А хочешь — песни пой.  
Предоставлено  
Им вроде литеры,  
Кому от Сталина,  
Кому от Гитлера.**

И в другой песне:

**Она выпила дюрсо, а я перцовую  
За советскую семью образцовую.**

И еще:

**По площади по Трубной  
Идет он, милый друг,  
И все ему доступно,  
Что видит он вокруг.  
Доступно кушать сласти  
И газировку пить.  
Лишь при советской власти  
Такое может быть!**

#### 4

Пародия на действительность... Странная вещь. Не всякая действительность поддается пародии, как и не всякая литература. Отчего-то не удавались пародии на Пушкина, и уверен, никогда не удадутся на Мандельштама. Есть литература, которая в любой ситуации, на самом высоком патетическом взлете учитывает всю многосмысленность слова всю многоплановость действия. Пародия уже как бы содержится внутри произведения, она поглощена и преодолена и потому самостоятельная ее жизнь невозможна.

Это одна сторона вопроса.

Но есть и другая, противоположная.

Неожиданно в высокий ряд непародируемых попадает, например, и Евгений Евтушенко. Этот как раз настолько не видит реальности и настолько не чувствует природы слова, что не оставляет пародисту никакой возможности. Самим автором уже сделано все, чтобы стих был предельно смешным и двусмысленным:

**Профессор, вы очень не нравитесь мне,  
А я вот понравился вашей жене...**

**Давайте думать о большом и малом...**

**Вкалывал я, сам себе мешая,  
И мозги свихнул я набекрень...**

Таких автопародий примерно столько, сколько у Евтушенко стихов.

Вот сюда, к Евгению Евтушенко, примыкает по свойствам пародийности и вся коллективная наша жизнь. В этом смысле он верно ее отразил, не как автор и поэт, а как определенная личность.

Все попытки дать гротескное, фарсовое изображение нашего общего в целом до сих пор спотыкались и будут спотыкаться впредь о пародийность и фарсовость самого материала. Наша действительность уже есть пародия на самое себя, на здравый смысл, и поэтому даже талантливое ее передразнивание не откроет никакого нового качества, ничего не добавит к нашим ощущениям. Любой из нас — не социолог, не сатирик — может назвать сколько угодно реальных фактов, выходящих за рамки всякой фантазии. Наше смешное смешней сочиненных шуток, как наше страшное страшней придуманных ужасов. Нет, снаружи глобально, оптом — нас не возьмешь.

Галич это очень хорошо понимает и потому в лучших своих произведениях он идет не сверху и не извне, а снизу и изнутри ситуации. Общие места есть общие места, для них достаточно упоминания, и только случай достоин образа и подробного разговора.

Здесь он, конечно, наследник Зощенко, даже формальное сходство бесспорно, если иметь в виду не внешнюю форму, а основную характеристику содержания.

Все исходные обстоятельства реальны и легко узнаваемы. Герой окарикатурен и уплощен, но в общем тоже вполне реален и, как правило, достоин сочувствия, пусть шутиwego, пусть снисходительного, но не враждебности. Стилизованный рассказ от имени или рядом с героем, простое естественное развитие действия и неожиданный неперенный скандал, что-то необратимо меняющий в герое: настроение, взгляды, отношение к людям. И главное различие как раз в природе скандала. У Зощенко скандал происходит от столкновения героя с некими обстоятельствами, внутренними по отношению к быту, то есть с обстоятельствами того же плана, что и сам герой. Необходимый ассоциативный объем заключен не столько в самой ситуации, сколько в особом строе языка, в словах, а еще более — в пропусках слов, "в брюссельском кружеве, в пробелах, в прогулах". У Галича скандал прямее, грубей, спровоцированной. И жанр все же иной, и цели иные, и иное страшное знание. И сталкиваются у него не быт и быт, а быт, пусть примитивный, но живой, — и внешняя по отношению к любой жизни бездушная тупая машина.

**Посмеялись и забыли,  
Крутим дальше колесо.  
Нам все это вроде пыли,  
Но совсем не вроде пыли  
Дело это для ОСО.**

Человеку, втянутому в это вращение, не то что пожить — поболеть, умереть не дадут спокойно, потому что и болезнь и даже смерть — это тоже проявление жизни.

**Центральная газета  
Оповестила свет,  
Что больше диабета  
В стране советской нет.**

**Поверь, что с этим, кореш,  
Нельзя озорничать.  
Пойми, что ты позоришь  
Родимую печать!**

В этой несовместимости нежизни и жизни, в их постоян-

ном столкновении на всех уровнях, в том числе и на самом простейшем (а на самом простейшем как раз выходит наглядней и ярче), в этом неизбежном непрерывном скандале — весь пафос лучших произведений Галича. Здесь автор четко определен, позиция его абсолютно ясна и не допускает двух толкований.

## 5

Артистичен ли Галич? Пожалуй, не очень. Стиль его песен резковат, жестковат. Его исполнение не чуждо игры, иногда более, иногда менее удачной, но вряд ли это назовешь артистизмом. В этом смысле у него есть счастливые соперники. Я уже не говорю об Окуджаве, его имя вообще вне данного контекста, но Высоцкий... Уж он-то безусловно артист: маска, голос, темперамент. А быт у него тот же и та же стилизация, и почти тот же самый герой. И значит, все преимущества на стороне Высоцкого. Все, кроме главного.

Тот же быт у Высоцкого, да не тот: он ограничен, замкнут сам на себе, для него не существует внешнего мира, из него нет ни выхода ни входа. И герой никогда не возвышается над обстоятельствами, ничего не видит дальше них и не способен ни на какие даже пародийные выводы. Но и автор тоже не возвышается над героем и ничего кроме не имеет сказать. Мировосприятие героя и автора — это мировосприятие человека толпы, с его злостью, всегда горизонтально направленной, с его отношением к социальным бедам как к неким безличным стихийным бедствиям, с его удивительным словарем, таким, чтобы все сказав, ничего не сказать. В этом смысле Высоцкий — действительно народный поэт, не изобразитель, а выразитель, и любовь к нему массы заслужена и понятна. Его жанровые миниатюры бывают очень талантливо, а блатные песни просто уникальны, но любое приближение к социальной тематике выдает ограниченность человека толпы — отчасти естественную, отчасти искусственную, а порой даже очень искусную.

Высоцкий поет разрешенные песни, и неважно опубликованы они, или нет, это их внутреннее принципиальное ка-

чество. Удивляешься: такие мирные слова, чего их орать-то, чего скандалить, зачем ломиться в открытую дверь? И лишь со временем понимаешь, что только в надрыве и крике вся суть, что другой здесь и быть не должно.

Вот песня о цветах на нейтральной полосе. Граница! Это же такая тема — волосы заранее шевелятся. И вот вроде бы... Но вроде и нет. Смысл, скорее, в том, что как это плохо, пока еще границы и у нас, и у них, а также взаимное недоверие, как это пока еще, к сожалению...

"Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные!" — долгожданная песня о "научной" картошке, ну сейчас вдарит, ну завернет... А сводится все к беззубому припеву: "небось, картошку все мы уважаем, когда с солью ее намять!" — да не беззубому даже, а, скорее, зубастому, только с той, с другой стороны. Мол смешно, но справедливо, хочешь жрать — добывай сам, никто тебе не обязан и никто не виноват.

И наконец, спорт — чистое занятие:

**Профессионалам  
По разным каналам  
То много, то мало —  
На банковский счет.  
А наши ребята  
За ту же зарплату  
Уже троекратно  
Выходят вперед!  
За ту же, значит, зарплату.**

Если вы скажете, что это шутка, то я скажу, что в ней ровно столько же юмора, сколько в песне "Широка страна моя родная" или в "Марше энтузиастов". Тоже ведь по-своему смешные произведения...\*

---

\*Эти строки писались еще при жизни Высоцкого и, кроме своего прямого смысла, не могли предполагать никаких толкований, Сегодня, когда смерть его у всех на памяти, кому-то они могут показаться бестактными. Что ж, смерть — всегда смерть, что тут можно сказать? На сорок третьем году — нелепо, чудовищно! Но и мы ведь умрем, а Искусство, даст Бог, останется. Вот и Галича нет, и Высоцкого нет, но кто из них да и кто из нас захотел бы такой оценки своей работы — со скидкой на отсутствие автора?

А ведь можно о профессионалах и по-другому, чуть-чуть менее идиллически. То есть даже не менее, а точно так же и почти в таких же точно словах, и различие-то всего лишь в том, что произносит их не взволнованный автор, а взволнованный персонаж.

**И снова, дорогие товарищи телезрители, дорогие наши болельщики, вы видите на ваших экранах, как вступают в единоборство центральный нападающий из английской сборной, профессионал из клуба "Стар" Боби Лейтон и наш замечательный мастер кожаного мяча, аспирант педагогического института Владимир, Володя Лямин, капитан и любимец нашей сборной...**

И сразу без перерыва и перехода вступает в действие сам герой, аспирант за ту же зарплату:

**Он мне все по яйцам целится,  
Этот Боби, сука рыжая.  
Он у них за то и ценится,  
Мистер-шмистер, ставка высшая.  
Я ему по-русски, рыжемус:  
— Как ни целься, выше, ниже ли,  
Ты ударишь — я, бля, выживу.  
Я ударю — ты, бля, выживи!**

Это, может быть, лучшее произведение Галича. Вещь на удивление многоплановая и живая, не песня — целая пьеса (дорвался-таки драматург!), и все действующие лица как на ладни. И наш тактический-стратегический аспирант, и их коварный-продажный мистер, и наш объективный, хотя и увлекающийся комментатор, и ихний переменчивый французский судья. И конечно, к нашим услугам мораль, то самое вожделенное обобщение, к которому мы тяготеем с детства:

**Да, игрушку мы просерили,  
Прозююкали, прозяпали.  
Хорошо бы, бля, на севере.  
А ведь это ж, бля, на Западе!  
Ну пойдет теперь мурыживо:  
Федерация, хренация...  
Как мол ты не сделал рыжего,  
Где ж твоя квалификация?  
Вас, засранцев, опекаешь и растишь,  
А вы, суки, нам мараете престиж.  
Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл.  
Начал делать — так уж делай, чтоб не встал.  
Духу нашему спортивному  
Цвесь везде!  
Я скажу им по-партийному:  
— Будет сде!**

## 6

Быть может, это покажется странным, но если бы изо всех возможных примеров, демонстрирующих мастерство Галича, мне предложили привести один, я бы выбрал вот такой куплетик:

**И не где-нибудь в Бразилии маде,  
А написано ж внизу на наклейке,  
Что мол маде в СССР, в маринаде,  
В Ленинграде, рупь четыре копейки.**

Казалось бы, ну хорошо, ну остроумно, но что тут такого особенного? А я убежден, что такая перестановка: неожиданное и живое "в СССР, в маринаде" вместо ожидаемого и линейного "в СССР, в Ленинграде" — доступна только настоящему мастеру.

И конечно же, всей атрибутикой стиха Галич владеет виртуозно. Но только у него эта современная техника используется не как поэтическое средство (да она и никогда не поэтическое средство), а скорее, как комедийно-драматургическое так же, как в сюжете его песен сталкиваются слова и звуки подчеркивая ее пародийный смысл.

**Малосольный огурец  
Кум жевал внимательно.**

**Скажет слово — и поест.  
Морда вся в апатии.  
Был, сказал он, говна, съезд  
Славной нашей партии.**

**Про Китай и при Лаос  
Говорили прения,  
Но особо встал вопрос  
Про отца и гения.**

**Кум докушал огурец  
И закончил с мукою:  
Оказался наш отец  
Не отцом, а сукою.**

**Полный, братцы, атакуй.  
Панихида с танцами.  
И приказано статуй  
За ночь снять на станции.**

(Разрядка моя, - Ю.К.)

Эта песня о разрушении "статуя" замечательна во многих отношениях. Здесь не только кинематографическая зримость и далеко идущая многозначность детали, но и совершенно неожиданный поворот темы, приближение к подлинному трагизму. Бывший зэк, которому, конечно же, не занимать впечатлений, переживает крушение истукана как самое страшное событие в жизни.

**Храм и мне бы ни хрена,  
Опиум как опиум.  
А это ж — гений всех времен,  
Лучший друг навеки!  
Все стоим, ревя ревом —  
И вохровцы, и зэки.**

Две последние строчки настолько просты и точны, что могли бы служить эпиграфом ко всей той чудесной эпохе...

Впрочем, отчего же только к той?

И сейчас где-нибудь в Саратове или Саранске, где в безумной очереди за колбасой люди, пока дойдут до прилавка, прочитывают по три романа Петра Проскурина — подойдите поближе, послушайте разговоры. Там не только ропота вы не услышите или хоть какого-то сожаления — там звучат проклятия современной сытости, которая всех развратила и разбаловала, там ревя ревут и вохровцы и зэки (каждый — и то и другое зараз) по тем временам, когда было еще хуже, что, естественно, означает — лучше, и когда тиран был настоящим тираном, а не то что не разбери-поймешь...

Отец-то (ошиблись тогда) оказался отцом, а что сукою — не меняет дела. Нет, то была не ложь и почти не метафора: он и есть подлинный наш отец, а мы — его сукины дети...

И еще: об использовании Галичем бранных слов, всяческих там нецензурных выражений. Он и здесь проявляет безусловный вкус и никогда не тратит такие слова впустую, только ради свободы на всю катушку. И поэтому они у него не назойливы, а всегда необходимы и всегда работают.

Это или точная характеристика персонажа, как непременно "бля" интеллектуала Володи Лямина, или нарочитое соединение несоединимости человека и обстоятельств:

**Я в отеле их засратом, в паласе,  
Забираюсь, как вернемся, в полати...**

или неожиданное и смешное разрешение ситуации:

**Подхожу я тут к одной синьорите.  
Извините мол, комбьен, битте-дрите,  
Подскажите мол, не с мясом ли банка?  
А она в ответ кивает, засранка!..**

Вообще живучесть, запоминаемость строчек Галича, их, как теперь говорят, коэффициент цитирования — высоки чрезвычайно. Это просто готовые формулы обихода.

**Мы, выходит, кровь на рыле,  
Топай к светлому концу?  
Ты же будешь в Израиле  
Жрать, подлец, свою мацу!**

**Скажешь, дремлет Пентагон? Нет, не дремлет!  
Он не дремлет, мать его, он на стреме!**

**Хоть дерьмовая, а все же валюта,  
Все же тратить исключительно жалко!**

**Мы ж работаем на весь наш соц-лагерь!..**

И так далее, и так далее, до бесконечности. Просто грибовское изобилие.

## 7

И единственная, на мой взгляд, теневая сторона... Я предпочел бы о ней умолчать, но уж слишком нарочитым и очевидным будет факт умолчания. Я имею в виду "серьезного" Галича.

Я знаю, есть поклонники и у этих песен. И они, конечно, в своем праве, но здесь необходимо четкое разделение. Потому что, как те благополучные сценарии писал другой Александр Галич, так и здесь перед нами иной автор, хотя с той же гитарой и под тем же именем. Эпиграфы из классиков, прямые обличения, горечь и пафос. Модуляции голоса, мхатовские паузы, по слогам растянутые слова и прочие средства давления на слушателя. Все серьезно, сурьезно — и все несерьезно, все на цыпочках и в напряжении. Пропускаешь, перематываешь пленку, чтоб послушать следующую, н о р м а л ь н у ю

песню — и мотаешь, мотаешь без конца, потому что мало что скучно — еще и безумно длинно. Это Галич, не удовлетворившись легким жанром, подтягивает себя к высокой литературе. Какая нелепость, какая досада!

Бросьте, так и хочется ему сказать (а уже его нет, уже не услышит), бросьте, ну что за самоуничтожение! Да ничем она не заслужила, современная литература этого вашего пиетета, пусть сама еще попробует, дотянется до песен под гитару. Поэзия — до песен Булата Окуджавы, проза и драматургия — до песен Галича. Кто знает, быть может, только здесь, в устном индивидуальном творчестве, осталось еще какое-то место для гармонии между искусством и жизнью.

Здесь осталось место для неожиданности.

Вот уже выясняется, что и гитара не обязательна, как не единственна стихотворная форма. Набрал силу Михаил Жванецкий, и оказалось, что устная эстрадная проза — явление тоже вполне реальное. Краткость, точность, оперативность, блестящий юмор, не лабораторный, а идущий изнутри жизни и быта, да и при этом еще — абсолютный слух, да при том — обостренное чувство трагического, то есть то, о чем современной прозе остается только мечтать. Наша невнятная бумажная фраза с ее невыразительной пунктуацией теряется и выглядит просто жалкой на фоне открывшихся интонационных возможностей.

Но, видимо, испокон веков в каждом комедианте сидит эта язва, этот, я бы сказал, комплекс Мольера — неудержимое желание сыграть трагедию. Как будто переход в "высокий" жанр — это непременно повышение в чине и ранге. Да ни в коем случае, ничего подобного, не было так ни в какие времена, а сейчас — уже скорее наоборот!..

Но Галич не услышит, его уже нет, а и услышал бы — не послушался.

*ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО**Раиса Берг*

## ПАЛАЧИ И РЫЦАРИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

### В АКАДЕМИЧЕСКОМ ПАНСИОНАТЕ

И вот я очутилась в пансионате для академиков. Туберкулезная лечебница курорта Боровое (лечат здесь кумысом) предоставлена в их распоряжение. Западная Сибирь. Северный Казахстан. Железнодорожная ветка от Сибирского пути на юг на Караганду, в Петропавловске. Посередине пути между Петропавловском и Акмолинском близ станции Щучье расположен поселок Боровое — одно из живописнейших мест в мире. Цвет нации: академики и члены-корреспонденты Академии наук поселились здесь с семьями. Были и одинокие академики — князь Щербацкий. Были и "обезглавленные" семьи. Невестка академика Деборина жила со своим маленьким сыном. Звали ее Дебора. С ней мы еще встретимся. Встречались и "вкрапления", например теща писателя Леонида Соболева с кривенькой старушкой, домработницей

Маничкой. Мария Федоровна Андреева, старая большевичка, в прошлом актриса и подруга Горького. Она так и именовалась вдовой Горького. В Москве занимала высокий пост директора Дома ученых. Членство в этом клубе давало привилегии. Закрытый ресторан кормил членов дешево и вкусно. В Боровом Андреева также возглавила Комитет, не помню, как он назывался. Комитет распределял: комнаты, одежду, обувь, продукты (помимо тех, которые поступали прямо на кухню столовой).

Столовались все сообща, как в обычном доме отдыха. Два других члена Комитета, помимо его председательницы, избирались общим собранием академиков. Одним из этих двух несчастных оказался мой отец.

Военное время играет людьми, и игры его порой весьма двусмысленны. Пансионат для академиков — миниатюрная модель коммунистического общества. Не того, что рисуется в воображении, а реального советского, где все по приказу свыше уравнивается, но быть равными отнюдь не желают. "Равные" вступают в отчаянную борьбу за место в крысиной иерархии.

Дважды в жизни уносили меня потоки спасающихся, нет, спасаемых от бедствия людей. Первый раз в 1941 г. спасаемые академики и их семьи, второй раз в 1974 г. — евреи. Что общего между эвакуацией ученых и эмиграцией евреев? Разные люди. Разное время. Единственное сходство — это поведение — драгоценный материал для социологов, для всех, кто занят изучением общества.

Поведение это было безобразным. Централизованная забота о людях, лишенных возможности заботиться о себе, — декретом ли победившей революции, или в силу бедственных обстоятельств, все едино — выявляла худшие стороны человеческой природы. Наихудшие задавали тон. Каждый из спасаемых любой ценой стремился взять больше от спасителей, занять привилегированное положение среди собратьев, нажить за их счет — нравы столь знакомого нам солженицынского "Архипелага".

В Риме только и разговоров, что о проделках собратьев

по эмиграции. В том же Риме девочка-эмигрантка, подросток, рассказывала мне безобразнейший случай и тут же у меня на глазах опустила в автомат лифта монету, привязанную к веревочке, и выдернула обратно.

Когда-то давно я уже столкнулась с подобным. Да, да... более тридцати лет назад. Война. Пансионат для академиков, Дебора — невестка академика Деборина... Никто бы и не узнал ничего, не заболей она сыпным тифом. Переносится он вшами. Оказалось, что Дебора подхватила заразу в казахской юрте. В столовую, где столовались академики, приносили огромный темно-лиловый эмалированный чайник с заваренным чаем. Не заварка, а готовый напиток. Бутылки этого чая Дебора воровски меняла на мотки шерстяных ниток. Великолепно раскрашенные нитки эти служат казашкам для изготовления ковров.

Пансионат для академиков вполне заслуживал название ведьмятника. Но жили в этом скопище нечистые и чистые. Чистые держались особняком и погоды не делали. Человеческий мусор плавал по поверхности. А наичистейших среди скопища привилегированных не бывает вообще. Да и не быть наичистейшему академику или членом-корреспондентом Академии. Представить себе таких людей, как Филатов или Любищев, участниками предвыборных академических схваток, со временем все более жестоких, просто невозможно. Невозможно представить и физиолога Ухтомского участником этих побоищ. Князь Ухтомский был академиком. Двадцать лет он возглавлял кафедру физиологии Ленинградского университета. В Боровое не поехал, хотя, разумеется, имел полную возможность. В августе 1941 г\* он умер в осажденном Ленинграде. Ему было 67 лет. Алексей Алексеевич Ухтомский — потомок суздальских князей. Его род восходит к 12-му веку. Не думаю, чтобы Ухтомский, как и Филатов, был последователем Толстого. Таким он был, что называется, отродясь: старообрядец, аскет, искатель социальной справедливости. В мужицком одеянии Толстого — нечто маскарадное. Отец мой, вопреки карикатурному его изображению в газете "Ленинградский университет", в мужика не рядился, русские са-

\*Алексей Алексеевич Ухтомский умер 31 августа 1942 г. - Д. Т.

поги носил, считая их самой удобной обувью, но брюки в сапоги не заправлял, а под брюками и не разберешь, русские ли сапоги, или что-то еще. А так все обычное: пиджак, рубашка с галстуком... Карикатура передавала не его внешность, а идеологически-враждебный смысл его книг.

Ухтомский неотличим от крестьянина, даже лекции он читал в своей привычной одежде не то мужика, не то священника. Бороду не брил, женат не был. Из-за всего этого Ухтомский часто становился героем анекдотических историй. Так, в 1936 г. участники Международного физиологического съезда устраивали банкет в самом шикарном ресторане Москвы в гостинице "Метрополь". Швейцар ресторана преградил Ухтомскому путь: "Тут, папаша, дорогой ресторан".

В 1939 г. Академия праздновала восьмидесятилетие со дня выхода в свет "Происхождения видов" Дарвина. Заседание происходило в Институте философии Академии наук на Волхонке, в большом зале с партером и балконом. Докладывал академик Шмальгаузен. Перед началом заседания — я наблюдала с балкона — зал был полон до отказа, пуск прекращен, вошел Ухтомский. Президиум еще не занял места на сцене. Молодой человек — распорядитель, впусивший Ухтомского, — указал ему на пустые кресла на сцене: мол займите полагающееся вам место в президиуме. Алексей Алексеевич отправился в президиум, но не дошел, а сел на ступеньке лестницы, ведущей на сцену.

В 1973 г. ученица Ухтомского Е.И.Бронштейн-Шур опубликовала отрывки из его писем. Она приводит воспоминания участников заседания в декабре 1941 г., где выступал Ухтомский. Заседание посвящено пятидесятилетию сдачи Ленинским государственных экзаменов, проходит в Ленинградском университете "под грохот обстрела и завывание сирены, когда в большом университетском коридоре были разбиты окна и лежали сугробы снега". Сохранился план речи Ухтомского. "Человека, который умел вносить всевозможное смягчение и глубокую гуманность в самые острые моменты рождающейся исторической стихии, — вот кого вспоминает сейчас университет", — говорил он. Верил ли Ухтомский в сказанное им? Макиавелли на свой лад боролся с тиранией. В

своем "самиздатовском" произведении "Prince" он высмеял пороки тиранов — последняя глава его наставлений не в счет. Ухтомский и Филатов (а Филатов в своем трактате приводит пример альтруистического поведения Ленина) на свой лад старались "внести всевозможное смягчение и глубокую гуманность" в жестокий строй своей страны... Подсказывали тирану, что есть добродетель, приписывая несуществующие свойства официальному образцу для подражания.

Письма Ухтомского его ученице вполне разъясняют, почему он не покинул осажденный Ленинград и добровольно обрек себя на верную смерть. 15 мая 1927 г. он писал: "...Странным для окружающей жизни я был всегда, всегда. Оттого-то и не мог в нее влиться. Всех любил, но ото всех был отдельно: любил людей, но не любил их склада жизни, ревниво и упорно не хотел жить так, как у них "принято". Никакой самый чуждый мне уклад жизни не мешал мне видеть и любить отдельных людей независимо от обстановки их жизни. Но обстановку их жизни — то, что у них "прилично и принято", — я не любил, видел в ней цепи и кандалы для самих этих людей и всеми силами уходил от этого. Жалею ли я об этом? Нет, не жалею!.."

Особенно скептически Ухтомский относился к людям науки. В письме от 6 апреля 1927 г. читаем: "Иногда мне кажется, что сама ученая профессия порядочно искажает людей! В то время как натуралистическая наука сама по себе исполнена этим настроением широко открытых дверей к принятию возлюбленной реальности, как она есть, "профессионалы науки", обыкновенно люди гордые, самолюбивые, завистливые, претенциозные, стало быть, по существу маленькие и индивидуалистически настроенные, так легко впадают все в тот же солипсизм..."

Я делила академиков, живших в пансионате, на пять категорий согласно их жизненной позиции. Из нее вытекала и их философия. Категория первая. Вернадский, физик Мандельштам. Люди прекрасны, улучшать их не нужно. Не служить людям, а оказывать им помощь, когда в ней нужда, и тому, у кого нужда. Категория вторая. Мой отец, Зернов. Мир и люди прекрасны, а если что плохо, можно и нужно исправить.

Служение добру и есть противодействие злу, предотвращение зла. Третья. Их много. Зелинский, Фаворский, Крылов, Шмальгаузен, Бернштейн. Они не заблуждались относительно человеческой природы, которая исправлению не подлежит. Они вне игры. В борьбе за жизненные блага и за высокий пост в крысиной иерархии пансионата они не участвовали, отгороженные творчеством от повседневной жизни. Категория четвертая. Божьи коровки. Борис Михайлович Ляпунов — славяновед, родственник Филатова, историк Тюменев. Они ничего для себя не требовали, всем были довольны, за все благодарны. Они не только вне игры. Вне оценок. Категория пятая — рвачи.

Я рассказала Шмальгаузену о моей классификации. Лукавая, я включила его в первую категорию. "А по-моему, отца вашего и Зернова надо поставить на первое место", — сказал он. И в нем, олимпийце, небожителе, чуждом мечтательности, жило то самое, филатовское, толстовское, каратаевское.

Из Алма-Аты прислали академиком яблоки. Великолепный алма-атинский апорт. Целый самолет. Рядом с пансионатом находился детский дом. Он принадлежал Академии.

Как распределить яблоки? Отдать детям? Академиком? Разыгрался спор. Мнения разделились.

Революция внесла изменения в устав Академии. До революции он гласил: в состав Академии входят ее действительные члены. После революции в Академию вошли исследовательские институты и все обслуживающие учреждения: столовые, больницы, поликлиники, гаражи, фотолаборатории, ученые общества, архивы, библиотеки, детские сады и ясли. Шоферы, кухарки, сторожа, дворники и работники пожарной охраны этих учреждений очутились под эгидой Президиума Академии. Столовые и больницы для высших чинов из администрации и для академиков — одни, для ученых и чиновников рангом пониже — другие, а для гегемона революции — пролетариата, то есть для рабочих и мелкой чиновной сошки — третьи. Гараж бесплатно обслуживает только элиту. Дети высших и низших по кастам не разделялись. Так и поныне. Академики во время войны держали своих внуков при

себе. В детском доме жили эвакуированные дети "прочих". Член Комитета по распределению жизненных благ, мой отец, распорядился, чтобы яблоки были отданы детям. Я своими ушами слышала, как Лина Соломоновна Штерн — единственная женщина-академик — говорила, протестуя против этого решения: "Мы бриллиантовый фонд страны, а из них еще не известно, что получится".

Сталин не очень дорожил "бриллиантовым фондом" страны. Кого-то возносил и баловал, кого-то сталкивал в пропасть, а кто-то ранее обласканный затем попадал в опалу. Среди обласканных, кому шли дачи и квартиры, кому полагался бесплатный бензин и шофер Академии, была и Л.И. Штерн. В эвакуацию она приехала с фантастическим количеством элегантных чемоданов. Я сама видела это. Зрелище чем-то напоминавшее фарс. Позднее ее сослали в этот же самый Казахстан. И вот она сидела на платформе полустанка — одинокая, ссыльная, нищая старуха. Дальше, по слухам, вполне, впрочем, правдоподобным.

К ней подошел казах: "Чего сидишь, откуда приехала? — Жена казаха только что умерла, осталась куча сирот. — Иди ко мне детей моих нянчить". Она пошла.

Через несколько лет вместе с сотнями тысяч реабилитированных была восстановлена в правах и Лина Штерн. Свое восстановление она восприняла так. Явилась в дачный поселок под Москвой, в Моженку или в Луцино (оба поселка академические), не знаю, в котором из них была дарованная ей в свое время Сталиным дача, согнала президента Академии Несмеянова, которому эта дача была предоставлена, разыскала и заставила вернуть всю когда-то принадлежавшую ей роскошную мебель.

Возвращаюсь, однако, к 1941 году. Алма-атинский апорт послужил яблоком раздора между моим отцом и Марией Федоровной Андреевой. Конфликт разросся. После моего отъезда из Борового отец вышел из Комитета. Андреева дошла до грубостей. Мое знакомство с нею произошло, когда гроза еще только надвигалась. Горизонт уже был омрачен. "Андреева хочет посмотреть твои рисунки, — сказал мне отец.

— Иди к ней, только держи ухо востро". Мои картинки — узоры в узорах, вполне абстрактные — одобрены. Готовится выставка. Мое участие не исключено. Я держала ухо востро, язык за зубами. Со мной были чрезвычайно милостивы. Но к тому времени, когда организована была выставка, я порвала знакомство с Андреевой. Она не только назначала, кому что есть, не только направляла поток жизненных благ в удобное ей и ее закулисным властителям русло. Она властвовала над жизнью и смертью обитателей пансионата. Она дорвалась до крови. Пришел приказ мобилизовать молодежь, членов семей академиков и членов-корреспондентов Академии наук на добычу угля в шахты Караганды. Список составляла Андреева. В него она включила дочь академика Алексеева Люсю. Но сначала о нем самом.

## АЛЕКСЕЕВ

Среди академиков выделялся, не укладывался ни в какие рамки, не поддавался классификации, был единственным в своем роде один академик — китаевед Василий Михайлович Алексеев. Может быть, за пределами пансионата и жили его аналоги. Заварзин, думаю, относился к той же категории, но в пределах — не попадались. Академики, в сущности, делились на два типа: на согласных довольствоваться минимумом жизненных благ ради спокойствия совести — и рвачей. Алексеев — великий жизнелюбец, человек высокой морали (намного превосходившей христианскую с ее культом страдания), не относился ни к одному из этих типов. Он говорил, что не желает быть трамплином для подлецов. Свои мнения он выражал открыто, жил широко, любил хорошо поесть и изящно одеться.

Отец мой был вегетарианцем. Он не ел себе подобных. А степень подобия оценивал по строению сердца животного. Он не ел тех, у кого подобно человеку сердце — четырехкамерное, — млекопитающих и птиц. А рыб ел. Голод — не голод — он следовал своему принципу. "Тут с четырехкамерным-то досыта не наешься, а уж без четырехкамерного и по-

давно", — потешался Алексеев над принципом отца.

Вклад Алексеева в науку безграничен. Он был историком, лингвистом, филологом, знатоком всех без исключения областей китайского искусства, включая те, которым нет аналогов на Западе. Четыре года своей жизни — 1907, 1908, 1912, 1926 Алексеев прожил в Китае, коллекционировал народные лубочные картины и образцы китайской каллиграфии. По существу, совершил революцию в мировом китаеведении. Это не мое мнение, а запоздалая, увы, посмертная, оценка знатоков. Алексеев вышел из старой санкт-петербургской школы китаистов. Их интерес был прикован к показному, официальному Китаю, к его придворной конфуцианской экзотике. Алексеев превратил китаеведение в науку о культуре народного Китая.

В посмертно изданном труде, посвященном народному китайскому лубку, Алексеев пишет: "Живя в мире, поделенном на два лагеря: вечно сытых и вечно голодных, трудясь и недоедая весь век... китайский бедняк может видеть на картине то богатство и изящество, которых нет в его реальной жизни. Общая тема этих нарядных, красочных картин сводится к невысказанному желанию: "Вот в каком довольстве я хотел бы жить! Да исчезнут, как марево, нищета и грязь в моем доме!"

"Только тот, кто жил в Китае, понимает, в какой страшной нищете живет там народ и как могут возникнуть эти сны наяву, — говорил Алексеев. — Да ведь и русский крестьянин конца прошлого века или начала нашего, тем более бурлак, вряд ли бы украсил свою избу литографией с картины Репина "Бурлаки". Он предпочел бы изображение царевича, мчащегося на волке".

Символика китайской картины совсем иная и намного сложнее иносказаний западного искусства. Китайский лубок предназначен не только для того, чтобы на него смотреть. Он должен быть прочитан, и прочитан неграмотным. Народная картина Китая — особого рода ребус. "Китайский язык, — говорил Василий Михайлович, — толкает на построение этих ребусов. Одно и то же слово означает разные понятия в за-

висимости от контекста и соседства с другими словами. Летучая мышь — "фу" и счастье "фу". Художник изображает грозную фигуру заклинателя духов. Над ним летучая мышь. Не надо быть грамотным, чтобы прочесть: "Привлеку радость! Дай счастье!"

Орхидея — символ совершенного человека, царственный аромат орхидеи способен влиять на чутких людей; лотос — символ благородства человека, выросшего из грязи, но не тронутого ею; бамбук — стойкость, человек, крепкий снаружи, емкий внутри. Дракон, тигр, рыба, раскрытый гранат, жаба — все имеет значение.

Алексеев рассказывал, как ему удалось добраться до смысла этой символики. Он жил в Китае. У него был учитель-китаец — репортер газеты. Он переводил на китайский то, что печаталось во французских, английских и русских газетах. Алексеев попросил его растолковать ему смысл некоторых картин. Учитель сказал, что не знает. "Одни женщины, да и то только старые, еще помнят, что все это значит". Есть ли у него знакомая женщина, владеющая знаниями? Да, его собственная теща. Но она не согласится разговаривать с посторонним мужчиной, ее женское целомудрие не позволит ей встретиться с молодым человеком. "Сколько ей лет?" — "Около восьмидесяти, но это не имеет значения. Женщина есть женщина". Василий Михайлович говорил с большим пиететом об этой стороне китайской жизни. Даже осуждаемый им варварский обычай богатых семей бинтовать девочкам ступни, чтобы нога оставалась маленькой, делал в его глазах китаянку привлекательной.

"Европейская старуха идет вот так, а китаянка вот как", — говорил Алексеев, сменяя размашистый шаг на мелкие шажки и изящно ступая.

Да и сам Василий Михайлович был похож на китайца (и толст был в меру, в соответствии с идеалом китайской живописи). На самом же деле Алексеев был еврей. Он осиротел в младенчестве, его усыновил и вырастил русский рабочий Михаил Алексеев. Он мог бы поэтому пользоваться всеми преимуществами пролетарского происхождения, но мешал

природный аристократизм.

В Боровом работал постоянно действующий семинар, где академики в популярной форме излагали результаты своих исследований. Алексеев сопоставлял искусство Востока и Запада. С особым почтением он говорил о целомудрии китайского искусства. Ни одно из его произведений, вплоть до надписей, украшающих стены домов, придорожные скалы и камни, не содержит ничего скабрёзного. "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи с ее голой грудью — не что иное, как порнографическая картинка, если смотреть на нее глазами китайца. Помню, как были шокированы этим заявлением Алексеева дамы пансионата.

Алексеев был не только действительным членом Академии наук, но и членом Союза писателей. В Боровом он создал литературный кружок, куда входили, кроме него, его две дочери и я. Люсе было девятнадцать, Мусе — двенадцать. Писали мы эссе, как называл их Василий Михайлович. Темы давал он сам. Одна из тем — осажденный Ленинград, где погибло семьсот тысяч человек и где няня осталась стеречь квартиру и погибла. Василий Михайлович написал нечто невообразимое. Петербург — город дворцов, его изысканные архитектурные ансамбли, роскошные набережные и скверы захлестнула грязная волна обездоленных людей, опозоренных, разоренных, превращенных революцией в чернь. И теперь чернь эта уже героически гибла, не сдаваясь, но виною ее гибели была власть.

Попадись эссе Алексеева на глаза "органам", — и он, великий знаток Китая, оказался бы за решеткой.

Я в своем эссе написала, что Ленинград — это те, кто там: Нина Рябинина, тонкие пальцы у виска — мигрень, Наташа Ельцина — мадонна Боттичелли. Няня. "Ты, наверное, красивая была молодая?" — "Смотри на мене, мене не сто годов". Сто — не сто, а восемьдесят ей было. Ни дать, ни взять теща китайца-журналиста. "Знаю, кто кого вырастил, тот того и любит", — говорила она про кого-то. "Вот ты меня вырастила. Почему же ты меня не любишь?" — "Люблю, не целовать же тебе".



**В.М. Алексеев**

Или еще так. Сим, входя в дом, спрашивает: "Ну как Раиса?" Она отвечает: "Лежит". — "Навещает ли кто?" — говорит Сим. — "Ни один кобел не ходит". — "Ну да?!" — "И впрямь приходил один, мохнорылый".

Няня говорила, что не умрет никогда, что доживет до второго пришествия, когда воцарится на земле рай. А что будет предшествовать его воцарению, она описывала красочно и и точно. Великий мор уничтожит грешников. Людей будет совсем мало. Человек рад будет услышать голос другого человека. Железная проволока затянет небо и железные птицы будут летать над нею, неся смерть.

Люся писала стихи. К колоннам дома, где они жили, она прижмется мокрой горячей щекой, склонив колени, — лишь бы вернуться. Дом, где они жили, — у Невы, на углу Седьмой линии Васильевского острова, у моста Лейтенанта Шмидта. Стены этого дома покрыты мемориальными досками академиков, живших и умерших в нем. Среди них — мемориальная доска Василия Михайловича Алексеева, умершего в 1951 г. Он завещал, чтобы надпись на его надгробном камне сделала я. Не пришлось. Дружба с Китаем была в полном разгаре. Приехал китаец-каллиграфист и сделал надпись.

Литературный дар Люси не пропал. Думаю, что когда-нибудь ее стихи будут изданы. Посмертно, как и большая часть того, что написал ее гениальный отец. Люся училась на филологическом факультете Ленинградского университета, но ушла, как только началась война, поступила на курсы медсестер и теперь работала в военном госпитале для туберкулезных больных. Она сама в детстве болела туберкулезом — позвоночник у нее был чуть искривлен, слава Богу, почти незаметно. Обе девочки были очень хорошенькие — и Люся, и Муся. Про Люсю нельзя было сказать, что она просто добрая. Она была, что называется, блаженная. Порыв отдать силы, деньги, вещи, все, что у нее было, первому встречному ограничил у нее с патологией.

Из-за Люси и произошел мой разрыв с Андреевой, о котором я упоминала выше. Список мобилизованных в шахты на добычу угля составлен ею. Весь список — одна Люся Алек-

сеева. Были и у других академиков дочери (иные — кровь с молоком!), и они не работали, но их в списке не оказалось.

Я решила встретиться с Андреевой, отговорить ее. Все это выглядело как какое-то недоразумение. Андреева сказала, что сама придет ко мне. Муся была у меня, когда — раньше назначенного — в дверь постучала Андреева. Я спрятала Мусю в шкаф. С Андреевой я спорила, приводила доводы, неоспоримые с точки зрения здравого смысла. Люся работает и уже поэтому не подлежит мобилизации. К тому же и здоровье ее не блестяще, да и слепота матери. (Алексеев был женат на египтологе Наталье Михайловне Дьяконовой, у которой была катаракта.) "Люся — единственная в семье, способная заботиться о родителях. Ее брать нельзя, а если надо кого-то послать, то пошлите меня", — говорила я. Последовала контратака: Алексеев — монархист, чуждый элемент, так вот пусть его дочь в шахте поработает. Я чувствовала, как Муся плачет в шкафу, хотя и беззвучно. Поэтому говорить о несчастьях семьи Алексеева я могла достаточно осторожно, и о гибели в первые же дни войны сына Василия Михайловича, который добровольцем ушел на фронт, я пока молчала. Потом пришлось напомнить и об этом. Но я понимала, что из шкафа вот-вот раздадутся рыдания и сказала Андреевой, что больше добавить мне нечего.

На другой день после этого разговора я получила записку. Сначала я никак не могла понять от кого. "Мне хотелось вас поцеловать!" Записка была от Андреевой. Решение свое она оставила в силе.

Люся уехала в Караганду. Когда друзья Василия Михайловича выхлопотали для нее возможность вернуться, она была едва жива.

Да и судьба самого Алексеева начиная с 49-го года мало изменилась. Его по-прежнему не замечали. В 1950 г., встретив его, я спросила, напечатаны ли наконец его произведения — лучшее свидетельство советско-китайской дружбы. "Нет никакой дружбы. Одна лживая пропаганда. Как был никому не нужен, так и по сей день", — ответил он.

## ВЕРНАДСКИЙ

Много хорошего произошло в моей жизни за год, проведенный в Боровом. Жить я могла самостоятельно. Стипендии докторанта мне хватало. Я прирабатывала, рисуя иллюстрации к докладам академиков. Для востоковеда Фреймана я срисовывала на оборотной стороне обоев какие-то письма. Чем писал писец в те далекие времена? Края начертанных им знаков изгибались. Воспроизводить эти зазубрины, строго соблюдая пропорции, доставляло мне истинное удовольствие.

Иллюстрировала я и доклад Вернадского. С Вернадским я познакомилась сразу по приезду — он пришел узнать, что происходило в Москве. Познакомилась я и с его секретарем — Анной Дмитриевной Шаховской, дочерью князя Шаховского, историка, родственника Чаадаева и его биографа.

Шаховской — нищий князь, как его называли, не знал в своем аскетизме границ. Борец за демократию. Деятель Думы. В 1937 г. его арестовали и он сгинул в лица земли.

Анна Дмитриевна жила в Боровом со своей матерью. Она рассказала мне, что Вернадского просят сделать доклад, а он отказывается, говорит, что его не понимают. Я сказала, что для того, чтобы поняли, следует подготовить вначале текст доклада. Затем взять среднего академика и прочитать ему этот текст. Все, что он не поймет, прокомментировать и прочитать тогда уже всем на семинаре. Вернадский принял мое предложение и в качестве "среднего" слушателя была избрана я.

Доклад "Геологические оболочки и геосферы Земли как планеты" был прочитан вначале мне, а потом уже академиком. Он был напечатан в "Известиях Академии наук" в 1944 г.

Так вот, я иллюстрировала доклад Вернадского. Свободной атмосферой называлась одна из оболочек Земли. "Да здравствует свободная атмосфера!" Мне и сейчас это трудно объяснить, но вот удивительно: море, Рим и Вернадский вызывали у меня сходную реакцию. Слово рамки бытия раздвигаются и приобретаешь к бессмертию. Совершенно особое чувство. Я ходила к Вернадскому, задавала ему глупые вопросы, иногда не без затаенного лукавства. Обык-

новенные люди мгновенно распознают лукавство и отказываются отвечать. С такими людьми скучно. Гений не подозревает подвоха и ни один вопрос не считает глупым. "Люди хорошие или плохие? — спрашивала я Вернадского. — А здесь, в Боровом, живут хорошие люди или плохие? Кто победит в войне? Сколько времени она продлится? Будут ли еще войны или эта — последняя?" Вернадский отвечал, что люди хорошие, а здесь в особенности. Война скоро кончится победой России и будет последней. Но вот я спрашиваю: "Живые вирусы или мертвые?" Вернадский сердито говорит, что людям давно пора было понять, что существуют мезоморфные состояния. Мезоморфные, то есть промежуточные. Промежуточные между жизнью и смертью... Хотела я узнать, как Вернадский определяет жизнь, но не узнала. Когда же я как-то сказала, что думаю не мозгами, а ионами кальция, Вернадский рассердился.

Были у нас и серьезные разговоры. Вернадского интересовали вопросы симметрии. Момент возникновения жизни на Земле он связывал с возникновением асимметрии в строении белковых молекул. Мои двухмерные узоры занимали его всерьез. Он называл их — асимметрия на плоскости. Вернадский говорил, что нужно использовать меченые атомы для познания самовоспроизведения хромосом. Его мысль на пятнадцать лет опережала время, но воплотить ее в жизнь русским генетикам так и не пришлось.

## ФИЛОНОВ

Выставка, которую организовывала Андреева и куда она отобрала мои работы, наконец открылась. Вход был платный для всех, кроме школьников и красноармейцев. Сбор средств — на танковую колонну.

В пансионате жили две профессиональные художницы: дочь Зернова — Екатерина Сергеевна Зернова — и жена Зелинского. Ее десятилетний сын Андрей, наблюдая, как я рисую, неумно восхищался. "Это черная ревность", — говорил он про одну картинку, глядя на черные узоры дыма и гари.

Основными на выставке были картины Зерновой. Из дилетантов допущены двое — Филипп Исаакович Коп и я. (Коп заведовал клинической лабораторией и был известен тем, что отказывался обслуживать академиков без очереди: "А мне все равно, чья моча", — заявлял он.)

В основном выставка состояла из портретов и пейзажей. Мои абстракционистские творения явно выпадали из общего направления. "Ну это уж совсем нечто бессодержательное!" — воскликнула Кржижановская, увидев мои работы. Я стояла тут же, больная и злая. У меня начиналась инфекционная желтуха и слушать, как жены некоторых академиков прямо-таки изощрялись в отрицательных суждениях в мой адрес, было ужасно тошно. Впрочем, были у моего искусства и поклонники. Даже гораздо больше, чем у других. Я и сейчас думаю, что отказ от изобразительности в живописи, абстракционизм сочетаются с новаторским пониманием красоты. Нечто для непривычного глаза совершенно неприемлемое. Я ощущала себя абстракционистом восемнадцатого века. Мое понимание красоты было абсолютно архаичным, восходило к чугунным решеткам набережных оград и балконов Санкт-Петербурга.

"Вас не понимают, — говорила мне Екатерина Зернова, — а раз не понимает народ, значит, плохо". — "Вы думаете, вас понимают? — спрашивала я. — Вот ваша картина "Волы". Сгрудились. Рыжи все. Кругом холодная сизая степь. На горизонте солнце. Контур воловьей груди освещен последними лучами, только он один. Очарование... Подходит зритель. Что изображено? — Волы! — Он понял. Пошел дальше. Если вас такое понимание устраивает, — я вас поздравляю".

В 1936 г., за шесть лет до этой выставки, мои картины видел Филонов. Когда свершатся в России великие перемены и раскроются запасники Русского музея, великолепные полотна Филонова будут показаны народу, для которого он творил. Филонов — ярчайшая звезда в созвездии русского Ренессанса, художник одного ранга с Ван Гогом и Рембрандтом.

Мои работы показали Филонову брат Ю.А.Филипченко паразитолог Александр Александрович Филипченко и его жена. Стены комнаты, где принимал нас Павел Николаевич Филонов, увешаны его картинами. Фантастические города, заселенные животными с человеческими глазами, бесполое голые человеческие пары, танцующие под открытым небом на фоне небоскребов... "Меня не понимают, — говорил Филонов. — Я бичую порок — мне говорят, что это порнография. Я рисую узоры на лицах людей и животных, потому что это красиво, а мне говорят, что я не умею рисовать и прибегаю к уловкам". Он указал нам на низко висящую картину. Сорок четыре года хранится в моей памяти это изумительное произведение. Краски его не меркнут, контуры не стираются. Лубочное лукошко и два яйца на ничем не покрытом столе. Одно яйцо побелее, другое розовато-желтоватое. Казалось, картина излучает свет, ощущение пространства, вера в реальность порождают почти непреодолимое желание протянуть руку и потрогать изображенные предметы. "Они говорят, что я отстал от жизни, от технического прогресса. Я нарисовал радиоволну. Меня поймут, — говорил художник, — настанет день, и Сталин войдет в эту комнату".

Филонов — бледный, худой, высокий, с очень темными глазами. Одет бедно. Свою цель он видел в том, чтобы создать подлинно народное искусство. Ему принадлежат не только художественные шедевры, но и трактаты об искусстве будущего.

Единственная персональная выставка его работ состоялась в 1966 г. в Сибири в Академгородке. Сестра Филонова привезла сюда его работы, прежде чем передать их в запасники Русского музея. Несколько лет спустя Даниил Гранин хвастался мне, что видел их. "Я спрашиваю хранителей, почему их не выставляют? — рассказывал Гранин, — говорят, что тогда все прочее надо снять, слишком ничтожно рядом с Филоновым". Запасник Русского музея вроде закрытого распределителя — пускают только избранных. Это и была та самая фантазмагория, которую Филонов хотел низвергнуть своим искусством.

В Доме ученых Академгородка, со стен его прекрасных выставочных помещений смотрели на меня человеческими глазами узорчатые вдумчивые животные. Были и бесполое голые люди, и потоки цветных геометрических фигур — музыка, динамика и покой, слитые воедино. А "Лукошка" не было, как не было и "Радиоволны".

Выставку Филонова устроил Макаренко, заведующий художественным отделом Дома ученых Академгородка. Радости, принесенные им посетителям выставки, безграничны: Фальк, Гойя, Неизвестный, Шагал. Выставка Фалька, кстати, прошла без шума. Хулитель Фалька Хрущев из вершителя судеб превратился ко времени ее открытия в пенсионера. И все же Макаренко не избежал расправы. Прямые обвинения предъявить было трудно — прибегли к провокации. С выставки Гойи исчезла одна из гравюр. Обвинили Макаренко. Он не растерялся, вызвал ищейку и нашел гравюру, разоблачив провокаторов. Однако чаша терпения идеологических работников переполнилась, когда должна была состояться выставка Неизвестного, где был выставлен "Ад Данте". Мне посчастливилось видеть это чудо. "Скорее, — сказал мой приятель, примчавшийся за мной из Дома ученых. — Там "Данте", обком велел не открывать выставку, но пока еще висит". С Шагалом дело дальше переписки гак и не пошло.

Макаренко по сфабрикованным обвинениям был приговорен к семи годам лагерей. Теперь он на Западе.

Так вот, Филонову понравились мои картинки. Он хотел, чтобы я стала его ученицей, профессиональным художником. Славы он мне не предрекал. "Будь вы в Париже, — сказал он, — вас объявили бы мессией новой графики, а здесь ничего не будет". Он идеализировал Сталина. Он идеализировал Париж и мое искусство. Ни Филонова, ни А.А.Филиппенко я не видела больше никогда. Александра Александровича в 1937 г. арестовали, жену его сослали, и вскоре их не стало. Филонов погиб 3 декабря 1941 г. в осажденном Ленинграде. Сталина он не дождался.

На выставке в Боровом я впервые увидела Глеба Максимилиановича Кржижановского. Он защищал мои картины от

обвинений в бессодержательности. "Нет, Зинуша, — говорил он своей жене, — это, может, Коперник в живописи появился". Позднее, уже перед самым моим отъездом из Борового состоялось наше знакомство. "Вы кто такая, что-то я вас не знаю, — сказал Кржижановский. — А! Дочка Льва Семеновича Берга, знаю, на лешего похож, славный такой".

В Москве, в особняке на улице Осипенко, где жил Глеб Максимилианович, посреди его кабинета стоит тумбочка карельской березы. В тумбочку под стеклом вмонтирована моя картина. Впрочем, я совсем не уверена, что огромный, отделанный деревянными панелями кабинет Кржижановского сохранен для потомства. Посмертная маска Ленина в стеклянном кубе, портрет Дзержинского с дарственной надписью... и моя "Асимметрия на плоскости". Между прочим, показывая мне реликвии своего кабинета, Глеб Максимилианович говорил, указывая на Дзержинского: "Дон Дзержинио-До-Геппеу".

## СОЗДАТЕЛЬ ПЛАНА ГОЭЛРО

Конец 1942 г. Голодная, холодная Москва. Смерть Филатова. Битва под Сталинградом. Как и предсказал Дмитрий Петрович за несколько дней до смерти, Сталинград predetermined исход войны. Становилось ясно, что силы Германии подорваны. Воздушные налеты происходили все реже. Эвакуированные возвращались в Москву, и общежитие на Бронной заполнялось людьми. Вернулся Шмальгаузен и, как говорили, привез с собой настоящего волка.

Статьи, написанные в Боровом, одна за другой выходили из печати. Итог экспериментальным исследованиям подведен. Я засела за введение к докторской диссертации. Написала большую книгу. Меня интересовали не одни только популяции. Скопления сходных организмов, как бы далеко друг от друга они не селились, образуют единый вид. На арену межвидового соревнования вид выступает как единое целое. Лисицы или ромашки, дроздофилы или осьминоги определенного вида — это не толпы, а боевые когорты. Соревнование идет по способности сохраниться. Но только ли сохраниться? Иной раз нужно остаться самим собой, сохранить достигну-

тое совершенство, отсечь все новшества, чтобы не согнуть с лица земли. Человек совершенствует технику. Животные и растения — самих себя. Изменение — это риск, и тот, кто идет на него, подчас побеждает. Виды соревнуются друг с другом по способности меняться. Гармоничное преобразование — достояние победителя. Сама способность меняться совершенствуется.

В азартной игре, где игроки — миллионные армии, ставка — новшество. Процвечают те сонмы, которые сумели в процессе смены поколений использовать с наибольшей выгодой для себя возникающие мутации. Миллионы видов погибли. Добрый десяток миллионов выжил. А значит, постиг премудрости преобразований. Гармония природы уходит корнями в межвидовую борьбу. Нет более непримиримых конфликтов, чем столкновение интересов близких видов. Либо строго размежевать сферы влияния, либо уничтожить друг друга.

Межвидовой отбор консолидирует вид. Межгрупповой отбор внутри вида делает популяцию целостной системой, направляет изменчивость в определенное русло, снимает с нее элемент случайности.

Книга, написанная мной в 1943 г., называлась "Вид как эволюционирующая система". Она никогда не увидела свет. Ее можно издать и сейчас под названием "Представление о целостности вида в трудах ученых первой половины двадцатого века".

Я не успела завершить диссертацию, как истек срок докторантуры, и меня отчислили. Отчисление означало: меня выселяют из общежития, и я лишаюсь карточек и зарплаты. Но Шмальгаузен уладил дело, и довольно скоро мне было предоставлено две должности: доцента Московского университета и старшего научного сотрудника того самого Института эволюционной морфологии животных, где я была докторантом.

Зимой в начале 1944 г. я решила поехать в дом отдыха под Москвой. Привилегированное это место называлось "Узкое". Денег на путевку у меня не было, и я решила продать полученные по карточкам селедки, водку, американскую ту-

шенку (из-за хронического гепатита я все равно сама есть эти продукты не могла). Но вырученных денег не хватило. Решила занять у Шмальгаузена. "Одолжите, — говорю, — шестьсот рублей". — "Денег, — отвечает, — нет, однако уладим. Мадам, — позвал он свою жену Лидию Дмитриевну, человека удивительной доброты, — у нас, кажется, есть две бутылки водки? Дай ей". И обратясь ко мне, добавил: "Только, будьте добры, верните бутылки, а то в распределителе, где мы прикреплены, требуют сдавать бутылку, без этого водочные талоны не отоваривают".

Девушка-почтальон принесла мне вырученные шестьсот рублей и пустые бутылки. Шестьсот рублей — это размер моей докторантской стипендии. Путевка на месяц стоила тысячу восемьсот.

В "Узком" я встретила Отто Юльевича Шмидта — академика, вице-президента Академии наук, героя, полярного исследователя. В разговоре я упомянула, что пять лет назад в Армении, в Дилижане, видела мальчика, названного Шмидтом в его честь. Шмидт в свою очередь рассказал мне, что, когда он ехал в поезде по Армении, на станциях его встречали пионеры с оркестрами. Это было в то самое время, когда я отказалась на экзамене воспевать покорителей Севера, но об этом я Шмидту, конечно, не сказала.

В том же доме отдыха я встретила с Глебом Максимилиановичем Кржижановским и Зинаидой Павловной. Оба были мастерскими рассказчиками. Про Зинаиду Павловну Кржижановский говорил: "Она у меня артистка — Ермолова вторая". Зинаида Павловна рассказывала, как дочь Сталина Светлана поступала в университет. Ей говорят: "Опоздали, экзамены закончены" — "А мой папа хочет, чтобы я поступила на исторический факультет". — "На историческом переполнено. В виде исключения можно допустить к экзамену на экономическом факультете". — "А мой папа хочет, чтобы я поступила на исторический". — "Папа, папа... Да кто он такой, ваш папа? И то ему подай и другое". — "Сталин". — "Как Сталин?! Так что же вы молчали? Разве так можно?!"

Глеб Максимилианович — поэт и жизнелюб. "Я родился в

рубашке", — говорил он мне. "Да какая уж там рубашка — ссылали вас!" — "Ссылка для меня — одно удовольствие. Я в ссылке с Лениным вместе был. И Зинушка ко мне приехала. Члены выездной сессии суда были ее попутчиками. Один из них явился ко мне и говорит: "Я ухажер вашей жены. Что теперь делать?" — "Что делать, — говорю ему я, — на дуэли драться, к барьеру, батенька, к барьеру".

Зинаида Павловна прерывала его сердитым голосом: "Со всем ты, Глеб Максимыч, заврался. Ведь вот какой брехун стал. И какого такого ухажера выдумал?"

Глебася, Глеб Максимыч, Глеб Максимилианович — имена избирались ею, смотря по обстоятельствам. Когда Зинаида Павловна уличала его, Глеб Максимилианович испытывал особое удовольствие.

Другой раз он рассказывал про меня своему знакомому, директору Института автоматики и телемеханики Коваленкову. "Показывает это она свои картинки своему поклоннику и говорит ему: "Вот это изображение тех чувств, которые я питаю к вам". А он отвечает: "Меня такие чувства никак не устраивают, я совсем о другом мечтаю". Зинаида Павловна возмущалась: "Да почему ты знаешь, брехун ты этакий, о чем они говорили — "он сказал, она сказала..." — сам все выдумал, ни одному его слову верить нельзя".

Коваленков мягко замечал: "Слова Глеба Максимилиановича — иносказания, художественная правда, арабески, подобные этим рисункам". Глеб Максимилианович сиял. Режиссура его. Мы актеры.

В столовой дома отдыха сначала у меня были превосходные соседи по столу — две дамы постарше меня, обе очень славные, одна из них красавица Надежда Исаевна Михельсон, редактор академического журнала, где печатались мои статьи. Но потом за столом появился художник Яковлев — портретист Ленина, и я стала мишенью его нападок. Я стала приходить позже, чтобы избежать встреч с ним. И он тоже стал приходить позже. "Что, не вышло? — говорил он. — Правда-то, она глаза колет!"

Я пожаловалась Глебу Максимилиановичу. "Покажите

Яковлеву ваши рисунки, — сказал он, — Послушайте, что он скажет". "Представляю, — говорю я, — какая будет реакция!" Так и вышло. Но среди потока брани прозвучали слова, которые я считаю наилучшей похвалой когда-либо произнесенной в мой адрес. Яковлев сказал презрительным тоном: "Вы умеете сочетать черное и белое".

Несколько дней спустя мы с Кржижановскими гуляли по заснеженным рощицам и встретили Яковлева. Глеб Максимилианович приветствовал его очень живо и сказал, что слышал его отзыв о моих рисунках. Тон его выражал симпатию и ко мне, и к моим рисункам, и к отзыву профессионала. Яковлев молчал. Всем своим видом он как бы показывал: "Ничтожество, о котором вы говорите, не заслуживает ни малейшего внимания таких крупных личностей, как я и вы". После этой встречи Кржижановский сказал мне: "Я выбросил его из моего сердца".

Прошло два дня. Я постучала в дверь комнаты Кржижановских, чтобы присоединиться к ним на прогулке. Зинаида Павловна приоткрыла дверь и сказала: "Какая там прогулка! Помирает ваш Глеб Максимилианович". Иду прочь, не могу сдержать слез. А через два дня мне было передано, что Кржижановские зовут меня. Глеб Максимилианович в халате и ночных туфлях сидел на кровати и сиял. "Стихи вам писал, — сказала Зинаида Павловна, — бумаги сколько перепортил". На бланке академика чистенько написаны стихи. Назывались "Арабески".

Пусть мудрецы тебе твердят:  
Нам непонятен твой загад,  
Иди дорогою своей,  
Иди вперед смелей.

Прекрасны жизни арабески,  
Как волн вздымающихся блестки,  
Немало в жизни вещей снов —  
Загадок для глупцов.

Тому, кто полон лишь оглядкой,  
 Вся жизнь останется загадкой.  
 Мы дети. Мудрость впереди.  
 Борись, твори, надейся, жди.

Летом 1944 г. Глеб Максимилианович увез меня к себе на дачу в сосновый бор на Николиной горе. Дача — не его собственность, а пожалована ему в пожизненное пользование. Сосновый бор окружал ее. И не выходя за ограду, можно было собирать лесную землянику, цветы. Сорвав как-то цветок, Глеб Максимилианович спросил: "Это что такое?" Я тогда не знала, но теперь, став, по несчастью, ботаником, по памяти могу определить растение, которое он показывал. Это была *Veronica longifolia*. "Вот не знаете. А Бухарин знал. Птиц по голосам узнавал", — говорил Глеб Максимилианович. И сам Кржижановский, и его жена, и ее сестра Мария Павловна, и брат — все старые большевики — знали и любили Бухарина. Глеб Максимилианович рассказывал, что и Ленин любил его. "Испортят мне моего Бухарина" — повторял он с сожалением.

Нечто от королей в изгнании было в этой жизни. Очень близко от солнца и все же в отдалении от него. Наиболее знатная фигура из четырех обитателей дачи — не Глеб Максимилианович, а сестра Зинаиды Павловны. Дочь ее замужем за Маленковым — "преемник Сталина" — говорил про Маленкова Глеб Максимилианович.

На другой день после покушения на Гитлера к даче подкатил великолепный кремлевский "Зим", и шофер, будто специально подобранный по аристократической красоте осанки, протянул Глебу Максимилиановичу из окна машины газету с этим известием. Машина послана из Кремля за Марией Павловной.

Все четверо милы беспредельно. В меру возможностей царские милости сыпались даже на окружение. У сына кухарки заболели зубы. Глеб Максимилианович вызывает машину из гаража Академии и везет его к врачу в Москву. Зимой, когда гуляли по заснеженным дорогам, встретили раз мальчика в огромных рваных сапогах. Он нес стеклянную банку с мутной жижей. "Суп из столовой несет. Голодают", — грустно



**Г. М. Кржижановский**

заметил Глеб Максимилианович.

Здесь, на Николиной горе, меня звали "Арабесками". А позже я получила другое прозвище. У меня была шляпа с полями. Прелесть что за шляпа. Но как-то, собирая с Глебом Максимилиановичем грибы, мы попали под дождь и ужасно промокли. Поля шляпы безобразно и экзотично отвисли, и я стала называться "Чайна уикли" — по названию китайского еженедельника.

Когда не было поблизости Зинаиды Павловны, Глеб Максимилианович любил рассказывать мне неприличные анекдоты.

Приходит к врачу кюре, просит сделать операцию: удалить лишний жир с живота. Врач согласен. К тому же врачу обращается женщина: "Доктор, спасите мою честь и жизнь моего ребенка. Его появление на свет должно остаться тайной". Кюре приходит в себя после операции. "Поздравляю вас, — говорит врач. — Операция прошла преблагополучно, но только — вот", — и показывает ему младенца. "Доктор, — говорит кюре, — я возьму ребенка, усыновлю его. Только — никому..." Кюре растит ребенка, и вот сыну уже пятнадцать лет, и кюре делается все печальней и печальней. "Пала, что с тобой?" — спрашивает сын. "Вот в том-то и дело, что я тебе не папа". — "А кто же ты мне?" — "Я — мама". — "А кто же мой папа?" — "Архиепископ Кентерберийский".

"Чайна уикли" — так я была представлена Аллилуевым — родителям покойной жены Сталина. Они жили поблизости в роскошном доме отдыха. "Познакомлю вас с такими людьми, что после этого мне будете при встрече только два пальца подавать", — говорил Глеб Максимилианович.

Ничего подобного той дворцовой роскоши, с которой был обставлен этот дом отдыха, я никогда не видела. Вазам, украшающим гостиную, было место в Эрмитаже, они и перекочевали туда позже. Гигантские красные цветы и коричневые листья бегоний превосходно сочетались с кобальтом и золотом этих ваз.

Про Аллилуева — высокого, сухого старика, очень просто одетого — Кржижановский говорил, что он революционер-подвижник. А про мадам не говорил ничего. Внучка Алли-

луевых Светлана только что вышла замуж за еврея, и Аллилуев говорил о пользе гибридизации и даже кое-что положительное в этом плане усматривал в татарском нашествии.

Разговор шел в основном между Глебом Максимилиановичем и Аллилуевой. Так расселись, что перед моими глазами очутилась ее полная, оплывшая спина. Ее беспокоило, хорошо ли снабжают Кржижановских академические распределители. Кремлевские, конечно, лучше. Кржижановскому надо поговорить, чтобы его туда прикрепил. "Говорил", — отвечал Глеб Максимилианович, глядя мне в глаза. "Ну и как?" — "Говорят, вам, батенька, помирать пора, о душе надо думать, а не о снабжении". Аллилуева не понимала иронии, и спектакль, импровизированный Кржижановским шел безупречно. Режиссура срабатывала безошибочно. "Ведь надо знать, с кем говорить", — продолжала Аллилуева. "А по-моему, с кем бы ни говорить, — лучше молчать", — говорил король в изгнании. Она спросила, помнит ли он те блюда, которые подавали им в доме отдыха в Грузии, на озере Рица: повар там — гений. "Помню, — говорил Кржижановский, — еда удава — сама прыгает в рот. Но разница есть. Не удав гипотизирует еду, а еда удава".

Аллилуеву возмущало, что пленных немцев привезли в Москву. Десятки тысяч пленных людей в арестантской одежде прошли тогда по улицам столицы. "Много чести — по Москве эту пакость водить, — сказала теща Сталина. — Полить керосином и поджечь надо было". Аллилуев вскрикнул: "Что ты такое говоришь?!" — "Зачем керосином поливать, лучше персидским порошком посыпать", — предложил Глеб Максимилианович, не глядя мне в глаза. "Домой пора идти, — спохватилась Зинаида Павловна, — персидский порошок — это средство против тараканов". Мы поднялись и ушли.

"Идем с Лениным вдоль Енисея, — рассказывал однажды Кржижановский. — Баржа с арбузами где-то повыше затонула. Арбузы плыли по течению. Я говорю Ленину: "Победит революция, первое, что сделаем, — отменим смертную казнь". — "Нет, — говорит Ленин, — революцию не делают в белых перчатках, мы не отменим смертную казнь". Многие ссыль-

ные пытались спорить с Лениным. По их мнению, победа революции принесет народу свободу, равенство. Ленин же ратовал за максимальное ограничение свободы, за неравенство, за диктатуру. Знамя революции, ее цель, ее завершение — диктатура пролетариата. "Он сломил наше сопротивление", — говорил Глеб Максимилианович.

До 1929 г. Кржижановский возглавлял Госплан. В 1929 г., по приказу Сталина, он был снят с заведования. Приказ пришел, когда Глеб Максимилианович председательствовал на очередном заседании. Молотов и Каганович явились и прервали заседание.

Уже будучи в опале, он пытался помочь жертвам сталинского террора. Разумные проекты объявлялись вредительскими, тех, кто критиковал нелепые проекты, сажали в тюрьму. Глеб Максимилианович жаловался, что не мог помочь Пятакову, когда тот просил у него защиты. Из тюрьмы по нелегальным каналам ему было передано письмо противников строительства канала Каспий-Арал. Этот чудовищный по своей нелепости проект осуществлен не был. Что помешало — не знаю. Глеб Максимилианович в то время был не в чести. Однако говорил Кржижановский о своих бедствиях с чрезвычайной бодростью.

Когда кончилась война, Глеб Максимилианович ждал реформ, дарующих народу права и свободу. "Правительство, которое не может вознаградить народ за пролитую кровь, должно уйти в отставку, — говорил он. — Наступает время свободы". — "Да что вы такое говорите?! — отвечала я. — Сталин приписывает победу себе и только себе. Знаете ли вы о заградительных отрядах, которые расстреливали отступавших? Знаете ли вы, что все, кто был в плену у немцев, на подозрении как предатели. Судят, ссылают... Нет никакой свободы, и не будет". — "Народ имеет оружие", — пытался возражать он. "Не беспокойтесь, меры против вооруженного народа приняты. Уроки первой мировой войны не прошли даром, и Сталин ими воспользуется".

В 1952 г. Глеб Максимилианович уже не надеялся больше ни на народ, ни на Сталина. Я шла к нему на улицу Осипенко.

Из дома вышла слишком рано и чтобы не прийти до назначенного срока, зашла посидеть в кафе. Центр города, гигантские зеркальные стекла в окнах, шелковые занавески. Посижу, думаю, чаю попою. Отца моего в то время уже не было в живых, мне по наследству досталась его академическая дача, в экспедиции я не ездила — генетика была намертво запрещена. Я писала книгу о путешествиях отца по озерам Сибири и Средней Азии. От жизни простых людей я как-то оторвалась. И вот в этом кафе я вдруг увидела этих самых простых людей. Спиртными напитками здесь не торговали. Есть было решительно нечего. Подавальщицы в кружевных передниках и наколках приносили какие-то жалкие салаты. Все столики, однако, были заняты. Одни мужчины. Человек восемьдесят наполняло прекрасный, светлый зал. Дело было днем, часа в два. Все пьяны. Откровенная беспардонная ругань, шум, крики. Присутствие женщин-подавальщиц никого не стесняло. Один из пьяных, что-то доказывая своему пьяному же другу, то снимал возбужденным жестом с головы шляпу, то снова нахлобучивал ее. Матерная брань и ритмика этих движений служили, видно, ему главными аргументами. В гардеробе я сказала пожилому швейцару: "Что-то я не туда попала, куда хотела". — "А так само везде", — сказал он.

"Кто эти люди? — спросила я Глеба Максимилиановича, когда мы встретились. — Где он, пролетариат, хозяин своей судьбы? Пьяное отребье, которое я видела сейчас, — это рабы, заливающие водкой свои невзгоды". — "То, что случилось со страной, хуже татарского нашествия, — говорил Глеб Максимилианович. — У страны отрубили голову. Я сам уцелел только случайно. Стране нужен Ленин, но сто Лениных погибло в сталинских застенках".

Нет, он уцелел не случайно. Он принял кровавую мораль Ленина и с готовностью фальсифицировал историю в угоду вождю всех народов Сталину.

Я знала, как создавал он свой план электрификации России, свой знаменитый план ГОЭЛРО. Он показывал мне фотокопии писем и документов — сами документы и письма хранились в Музее Революции. Кржижановский — единственный

создатель этого грандиозного плана. Централизованная электросеть была его целью еще до революции, владельцы фабрик и заводов противились, по его словам, созданию крупных электростанций, понимая какая опасность грозит им в случае забастовок на них.

В 1947 г. я уезжала навсегда из Москвы и позвонила Глебу Максимилиановичу, чтобы уговориться о прощальной встрече. Его племянница сказала мне, что он уехал в Дом ученых делать доклад. Я отправилась туда. Глеб Максимилианович говорил о плане электрификации России, который создал... товарищ Сталин. Я ушла, не дослушав, и уехала из Москвы, не попрощавшись с Кржижановским.

...Вот передо мной книжка: "Глеб Максимилианович Кржижановский". Каждому академику по чину полагается такая книжка — даты жизни, парадно представленные, правительственные награды, библиография трудов. Издана в 1953 г., в год смерти Сталина, еще при жизни Глеба Максимилиановича. "Вождь всех времен и народов" только-только занял почетное место в мавзолее рядом с мумией Ленина, но о его роли в создании плана ГОЭЛРО в книжке уже не упомянуто. На последней странице, где печатаются выходные данные, стоит: "Подписано к печати 29 ноября 1953 года". Девять месяцев прошло со времени смерти Сталина и Глебу Максимилиановичу разрешили стать создателем плана ГОЭЛРО.

Но в 1947 г. Кржижановский лгал по указке страха. Я не хотела больше знать его, однако старая привязанность брала свое. Приезжая в Москву, я снова стала бывать у него. Зинаида Павловна умерла. Скончался и ее брат Павел Павлович. Глеб Максимилианович горько жаловался на судьбу. Он берег Павла Павловича, а в больнице не уберегли — простудили. Теперь, когда умер его зять, он совсем одинок. Был в его одиночестве один, правда занятый штрих. Никого не осталось, с кем можно было бы разыгрывать пьесы абсурда. Никого, кроме домработницы. Сюжеты арабесок изменились. "Кухарку я на днях нанимал, — говорил Глеб Максимилианович. — Совсем уж было договорились. Сколько вам лет, голубушка, — спрашиваю". — "Шестьдесят". — "А тебе, ба-

тюшка, сколько лет?" — "А мне уж скоро девяносто будет". Она перекрестилась. "Свят, свят", — говорит. "Что это вы так перепугались?" — спрашиваю". — "Да ведь хороших-то людей, батюшка, Господь в свое время убирает". — "И не сговорились". И так почему-то всегда получалось, что во время подобного рассказа его домработница оказывалась в комнате. "И когда это ты, Глеб Максимыч, кухарку нанимал? Что-то я про это ничего не знаю. Небось знала бы, кабы нанимал", — говорила она. Глеб Максимилианович сиял.

А то еще так: "Жили мы с Зинушкой в доме отдыха зимой. Лет двадцать пять тому назад. Каток для отдыхающих был. Молодежь на коньках бегают, а я фигуры выделываю". Глеб Максимилианович называл выделяемые им фигуры профессиональными спортивными терминами. "Женщины у края беговой дорожки стоят с метлами: уборщицы снег со льда сметать пришли. "Ты что такое делаешь? — говорят мне. — Те-то ведь молодые, а ты старичок. стыдно тебе должно быть".

Я, не в силах сдержать улыбки, спрашиваю: "Что же вы сказали им?" — "Ничего не сказал. Я — вот так!" Он берет с журнального столика номер "Огонька" и показывает мне. На обложке молодая женщина-конькобежец, вознесенная могучим прыжком в синеву поднебесья, делает полный шпагат. И в этот самый миг раздается скептический голос кухарки: "Да ты, Глеб Максимыч, и коньков-то сроду не надевал. Экой ты мастер небылицы рассказывать". Глеб Максимилианович, по моей просьбе, подарил мне этот номер "Огонька", и его обложка много лет веселила мою душу.

Бывала я у Кржижановского и с моим отцом. Как-то вскоре после войны отец приезжал из Ленинграда. (Я жила еще в Москве тогда.) В отсутствие мачехи он не чаял, как бы доставить мне удовольствие. На выбор: посещение Дрезденской галереи или визит к Кржижановскому. Сокровища Дрездена хранились в запаснике Музея им. Пушкина. Их показывали избранным. Отца в 1946 г. избрали в академики — мы могли идти смотреть. Но я выбрала Глеба Максимилиановича.

Дрезденскую галерею, перед тем как вернуть ее Восточ-

ной Германии, открыли для всеобщего обозрения в залах того же музея лет восемь спустя. Не менее четырех часов стояли люди под открытым небом в очереди. Но что такое четыре часа стояния в очереди, если вам предстоит увидеть "Сикстинскую мадонну", "Автопортрет с Саскией на коленях" Рембрандта, полотна Ван Гога?!

Отец доставал мне билеты туда, куда я хотела. Дважды я слушала Пастернака, первый — благодаря отцу. Сам он не пошел. Он современного искусства не любил и не понимал.

Пастернак был великолепен. Публика Пастернака любила и знала и, когда на первом своем выступлении он дважды сбивался, весь зал, как один человек, подсказывал ему его стихи. Пастернака спрашивали, кого он больше любит, — Толстого или Достоевского? Он затруднялся ответить, но в итоге получалось, что Достоевский ему ближе.

На втором выступлении Пастернака я была с первой его женой Евгенией Владимировной. Пастернак начал с просьбы не задавать ему вопросов: его родные сказали ему, что ответы его звучат как-то глупо. Думается, что не родные, а кое-кто другой предложил ему ограничиться чтением того, что уже напечатано, чтобы не превысить меру дозволенного. И так его выступление было чем-то вроде подачки, брошенной свободолобцам.

Пастернак читал с упоением и в его голосе было любованье своим творением, изумление творца перед созданным. Он — архитектор храма — славословил не Бога, а красоту. Его голос как будто заново создавал безукоризненную форму. Звенящим от радости голосом он говорил не об экзальтации любви, а о ее гибели. Ничуть не снижая ликующих интонаций, он вызывал из небытия: "...дом, где пьют, как воду, горький бром полубессонниц, полудрем, где хлеб, как лебеда"

Пусть вьюга с улиц улю-лю, —  
Вы — радугой по хрусталою,  
Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю..."

Стихи эти написаны его давно покинутой жене, той крутолобой художнице с улыбкой вздох, которая сидела рядом со мной. После концерта она познакомила меня с Пастерна-

ком. Я сказала, что читала его перевод стихотворения Верлена "За музыкаю только дело...", напечатанный в "Новом мире". Он тут же прочел все стихотворение по-французски.

Когда мы вышли, я рассказала Евгении Владимировне о том, как я присутствовала при встрече Пастернака и Николая Асеева осенью 1937 г. Сцена разыгралась перед входом в здание какого-то издательства. Первые слова Пастернака: "Я бедствую" — те самые, которыми начинается вторая строфа поэмы "Спекторский": "Я бедствовал". (Он нес томик Шекспира — старинное английское издание: "Переводами приходится заниматься".) "А дальше, помните? — сказала Евгения Владимировна.

...У нас родился сын.

Ребечества пришлось на время бросить.  
Свой возраст взглядом смеривши косым,  
Я первую на нем заметил проседь.

— Только что поженились, сын родился, а он уже мерил нашу жизнь косым взглядом. Он гадкий, жестокий ребенок".

Есть у Пастернака и другие стихи, вымаливающие у Евгении Владимировны прощение после разрыва. Там похуже: "От тифозной тоски тюфяков вон на воздух высот образцовый..." Эти стихи Пастернак не читал.

Никогда не прощу Пастернаку эту "тифозную тоску тюфяков", хоть будь в ней сто "т", а не три начальных. Я ненавижу мужчин, поэтов в особенности, и те их стихи, где торчат ослиные уши мужского эгоизма, психология паши. Вроде асеевского о Маяковском: "Он их обнимал, не обижая". (Замечу в скобках, что Пушкин в поэзии — при всем своем лукавстве и задоре — "Граф Нулин", "Домик в Коломне" — морально безупречен. Сгубленные им жизни его крепостной Ольги Калашниковой и их сына горькими слезами раскаяния оплаканы им в стихах: "Две тени милые, два данные судьбой мне ангела во дни былые" говорят ему "мертвым языком о тайнах вечности и гроба".)

Неподвластность отношений между полами категорическим императивам совести, независимость "бабских дел" от

всех прочих моральных принципов я моделировала десять лет спустя в моей докторской диссертации. Она называется: "Стабилизирующий отбор в эволюции размеров цветка травянистых растений". Но об этом ниже.

Итак, 1946 г. был полон впечатлений. Сегодня выступление Пастернака, завтра визит к Кржижановскому. Лучших участников для разыгрывания своих пьес, чем мой отец и я, Кржижановский не мог и пожелать. Полнейшее доверие, пока сюрреализм арабески не становится явным. Мы навестили Глеба Максимилиановича в то время, когда в Академии разразился грандиозный скандал. Академика Александра — философа и главного идеолога — уличили в разврате. Глеб Максимилианович говорил: "Бывало, кто ни увидит Александра, тут же начинает вращаться вокруг него по орбите на почтительном расстоянии". И он ужасно смешно показывал рукой это вращательное движение. Семенящие шажки угодников он изображал, шевеля пальцами.

Далее следовал рассказ, как проворовался какой-то военный в чине генерал-лейтенанта. Высокий чин построил себе дворец. Искусственный канал соединял его с Москвой-рекой. Имение было конфисковано, а чин разжалован. Сталин вычеркнул слово "генерал", и казнокрад стал лейтенантом. "Проснешься в один прекрасный день и оказывается ты уже и не Кржижановский, а просто Глеб". "Упаси тебя Бог кому бы то ни было рассказывать об этих разговорах", — сказал отец, когда мы были уже на улице.

Глеб Максимилианович ходил по краю бездны. Последний раз я видела Кржижановского летом 1956 г. на даче в Моженке, куда он переселился с Николиной горы.

Я шла по усаженной красными лилиями дорожке к кухонной двери дачи. Дверь открыта настежь. Глеб Максимилианович сидел у заглохшего телевизора. Он ждал мастера. "Вот мероприятия по преодолению культа личности прослушал, а дальше машина отказала выдавать сведения, — сказал он. — Великие перемены наступят теперь". — "Перемены, конечно, будут, только не великие, — говорю ему я. — Дух Сталина неистребим, и не в интересах власти разрушить

систему, ее охраняющую. Да и начинает эта власть с декретированных словосочетаний: "культ личности..." А что, Глеб Максимилианович, по-вашему, революция дала народу?"

В этот миг появился молодой техник — пришел по вызову чинить телевизор. Ни один человек, переживший сталинскую эпоху, не станет излагать свои взгляды при постороннем. Глеб Максимилианович ответил: "Революция дала возможность получить образование огромному большинству. Пример налицо". И он указал на молодого мастера. Вопрос: "А не будь Октябрьской революции, разве дело обстояло бы иначе?" — так и застрял у меня в горле.

31 марта 1959 г. "Правда" сообщила о смерти Кржижановского.

## ПЕРЕД РАЗГРОМОМ

В 1945 г. произошло мое "воссоединение" с отцом. В Боровом — под пристальным взглядом мачехи — он не очень меня жаловал. Разговор между мной и Симом открыл мне глаза. Разговаривали мы в 1943 г. на Малой Бронной вскоре после моего возвращения из Борового. "Ты любишь отца?" — спросила я Сима. "Люблю". — "А за что?" — "Жалко его. Он старик". — "А не кажется тебе странным, что нам не за что любить отца, которого обожает множество людей?" — "Нет, — сказал Сим, — преданность науке и отцовский долг пришли в жесточайший конфликт, когда появилась Марьямиха", — так мы звали мачеху. — Единственный выход — признать нас недостойными его заботы. Высший социальный подвиг: "Я тебя породил, я тебя и убью" — очень в духе философии отца. До убийства дело не дошло, но изгнать нас, злодеев, из своей жизни он мог, не испытывая угрызений совести. Ясность духа ему необходима для творчества. И Марьямиху нельзя осуждать. Ревность — одно из величайших страданий".

Отец приехал на юбилейную сессию Академии наук. Праздновалось ее двухсотдвадцатилетие. Академиков и членов-корреспондентов награждают по чину, не по заслугам. Выше чин — выше награда. Враг народа покойный Левитский

награжден по ошибке. В отношении Вавилова ошибки не произошло. Он не вошел в число награжденных.

Множество иностранных гостей. На приемах в Кремле и в Академии будут дамы. Среди ученых дам ходят слухи, что хозяйственный отдел Академии, ведающий снабжением, выдает дамам талоны на покупку одежды и обуви в академическом распределителе, куда они, не будучи академиками, не вхожи.

Я готовилась к экспедиции в Закавказье в долину Риони, где на гигантских винных заводах Кутаиси должна была исследовать еще одну популяцию дрожофил. И именно в те дни Джулиан Гексли — один из самых почетных гостей — написал в Президиум, что хочет встретиться с двумя учеными: Александрой Алексеевной Прокофьевой-Бельговской и со мной. И мы начали готовиться. Чинили и перелицовывали костюмы у одной и той же портнихи, которая слыла мастером ставить заплатки и вообще выходить из затруднительных положений — "наточки" — было ее излюбленное слово.

Мои брезентовые туфли — единственная обувь, не нуждающаяся в починке, вполне гармонировали со всем прочим. Мы весело поглядывали на жалкие туалеты друг друга, отлично понимая, в каком контрасте они находятся с парадными одеждами придворных дам. Александра Алексеевна при том, что была очень женственна, к туалетам относилась так же, как я. Уделяй Гексли внимание одежде, в этом смысле Академии был бы нанесен ущерб. Но по его собственному костюму было видно, что он и сам не щеголь.

Итак, я очутилась в свите Гексли. В Большой театр, где состоялось открытие сессии, мне достал билет кто-то из моих покровителей, не помню кто — Шмальгаузен, может быть, Орбели, Кржижановский? А может быть, отец? Отец был членом-корреспондентом Академии. "Вот в первый ряд партера билет дали, — сказал отец с удивлением, — к чему бы это?" Я сидела на галерке. Когда после исполнения увертюры Чайковского "1812 год" распахнулся занавес, все стало ясно. Сцену занимали действительные члены Академии. Иностранные гости в парадных мантиях своих академий и члены-

корреспонденты Академии наук СССР располагались в партере. Большого фарса, чем тот, что являла собой сцена, представить невозможно. Все как будто для того, чтобы подчеркнуть трагикомичность зрелища — седины, морщины, полнота одних, худоба других, черные шапочки, прикрывающие лысины сонма бессмертных и сами эти лысины, утопающие в море роз. Красные розы по одну сторону, белые — по другую.

Два почетных гостя — Гексли и Эшби посетили кафедру дарвинизма Московского университета. Эшби — профессор университета в Сиднее — ехал в Лондон, чтобы занять высокий пост в Министерстве сельского хозяйства Англии. Лестницу, по которой гости должны были проследовать на кафедру, устлали красным ковром и приставили охрану следить, чтобы никто из прочих не нарушил девственной чистоты этих ковров. Для прочих — другой ход. Являемся мы. С особым почтением стража пропускает иностранцев. "А вы, пожалуйста, пройдите через другую дверь", — говорит мне тихо цербер. "Не срамитесь", — шепотом отвечаю я и делаю перед иностранцами вид, что ничего не произошло.

Гексли и Эшби пригласили меня на лекцию Лысенко, специально организованную по случаю торжеств. Директор Института генетики Академии наук, действительный член трех академий Трофим Денисович Лысенко докладывал, Гексли и Эшби слушали, Элеонора Давидовна Маневич — биолог, в равной мере владеющая обоими языками, переводила.

Зал биологического отделения АН СССР, где проходило заседание, — великолепный светлый амфитеатр. За столом, покрытым красным сукном, стоял Трофим Денисович Лысенко и сидели два академика — физиолог растений Келлер и микробиолог Гамалея. Их очень разные лица не выражали и тени малейшей неловкости. (В свое время в журнале "Время и мы" я уже описывала это историческое заседание.)

Лысенко мне казался удивительно похожим на Гитлера. Даже прядь прямых волос, падающая на лоб, та же. Доклад Лысенко я не помню, но отлично помню вопросы, которые задал ему Гексли. "Если нет генов, как объяснить расщеп-

ление?" — спросил он. "Нужно знать мою теорию оплодотворения, — сказал Лысенко. — Оплодотворение — это взаимное пожирание. За поглощением идет переваривание, но оно совершается не полностью. И получается отрыжка. Отрыжка — это и есть расщепление".

После доклада два немолодых сдержанных англичанина сперва в замешательстве посмотрели друг на друга, потом вдруг повернулись друг к другу, вскинули руки на плечи друг друга и расхохотались. Первый акт представления позади. Второй акт — это демонстрация экспериментальных участков Института генетики Академии наук. Лысенко отбыл. Парадом командовал его верный сподвижник Глуценко. Он должен показать могучее преобразующее действие питания на наследственность. Но оказалось — показывать нечего. Ничто не доказывало верность доктрин директора института, великого преобразователя природы Лысенко.

Третий акт должен был вознаградить за все неудачи первых двух. Банкет. Не только состав участников, но и места за столом строго регламентированы. Гостей не более двадцати пяти. Еды на добрую сотню. Мировая слава Гексли воспрепятствовала хозяевам банкета указать мне на дверь. Провозглашая тост за здоровье высокого гостя, Глуценко сказал: "Выпьем, товарищи, за Джулиана Гексли — внука Томаса Гексли, великого соратника Дарвина". — "Я сам дедушка", — сказал как бы сам для себя Гексли.

Восемь лет прошло с того дня, когда Вавилов, другой директор Института генетики Академии наук, принимал не менее высокого гостя. Шофер директора сидел с нами, и мы пили чай и ели белый хлеб с копченой рыбой и шоколад, Вавилов, Меллер...

Откуда брались эти обильные кушанья, под тяжестью которых ломился стол, все эти окорока и паштеты, — я знала. Один из их "создателей" — мой друг, поэт и художник Игорь Александрович Нечаев. Получить высшее образование ему помешала честность. Не мог он, как я, с легкой совестью повторять на экзаменах по политическим предметам то, во что не верил. Когда арестовали Вавилова, Нечаев не был изгнан: лаборантов не гнали, работал сперва у Прокофьевой-

Бельговской, а когда выгнали и ее, лаборантом Глуценко. Лаборанты чистили свинарники и кормили свиней в подсобном хозяйстве института. Окорока и паштеты происходили из этого подсобного хозяйства.

Игорь Александрович — из очень интеллигентной семьи. В детстве болел костным туберкулезом и теперь хромал. Он, его жена, теща и трое детей жили впроголодь. Он писал трагические стихи:

Вы обманули молодость мою,  
Мечты мои — вы предали меня.

В то время у меня объявился поклонник — Юрий Аркадьевич Васильев — в прошлом сотрудник И.И.Павлова, выдающийся ученый, референт вице-президента Академии наук Леона Абгаровича Орбели. Ухаживал Юрий Аркадьевич за мной платонически, по-отцовски, испытывая непреодолимое желание меня кормить. Самым неправдоподобным и фантастическим образом это желание сочеталось в нем со скарденностью. Он был женат, и жена его была точно такой же скрягой, как он сам. Приносит мне полфунта шоколадных конфет. "Возьмите ровно половину". — "Спасибо, — говорю, — разрешите мне взять только две". Он не разрешает: "Ровно половину или ни одной". — "Да в чем дело?" А дело в том, что жена его взвесит оставшиеся конфеты, недостачу сочтет за обвешивание и пошлет его объясняться к директору магазина.

Приходит на кафедру Юрий Аркадьевич и приносит бутерброды с паюсной икрой. "Вот спасибо, так спасибо! — восклицаю я. — Сейчас скормим эти бутерброды Игорю Александровичу". — "Никак нет. Бутерброды вам и никому другому". — "Так в чем же смысл дара? — спрашиваю. — Хотите мне удовольствие доставить? Разрешите угостить Игоря Александровича". Но Юрию Аркадьевичу доставит удовольствие, если я съем их сама. "Не желаю ваших бутербродов. Заберите их. И пусть передохнет та рыба, из которой добывают икру, и пусть пересохнут водоемы, где та рыба родилась". — "Ну что же, раз так, берите бутерброды и делайте с ними что хотите". И весь этот разговор происходит в присутствии Игоря Александровича.

...Наконец я отправляюсь в экспедицию в Закавказье. Добраться до Кутаиси в 1945 г. было не просто. Ехали с тремя пересадками: Ростов-на-Дону, Баку, Тбилиси. Чтобы закомпостировать билет, приходилось часами стоять в очереди. Толпы обездоленных людей... Всем, кто был угнан немцами в Германию, велено вернуться туда, откуда они взяты, чтобы на месте разоблачить их бегство в лагерь врага. Места в очереди за билетами брались с бою.

Отправление поезда задерживается. Я смотрю в окно. Маленький, коренастый старик-азербайджанец, приседая под тяжестью своей ноши, несет на спине огромный гипсовый бюст Сталина. Все — и дорога, и одежда старика, и бюст вождя залиты слепящим солнцем. Обладай я даром Репина, написала бы этот вариант его "Бурлаков" — "Сталинский бурлак". Не штихель Гойи, не кисть Репина — сама жизнь выделяла передо мной свои дьявольские шутки.

Кутаиси — город ураганов. И бушуют они как раз в сезон виноделия. Каждый винный завод — океанический остров и высунуться за его пределы равносильно смерти. Популяция Кутаиси, решила я, относится к типу изолированных. Низкая частота мутаций — результат изоляции.

Между тем Шмальгаузен рвал и метал. Я должна прекратить исследования и представить докторскую диссертацию. Докторант, не представивший в срок диссертацию, бросает тень на руководителя. Но я не могла засесть за нее. Мне нужна большая популяция, подразделенная на боевые когорты, ведущие смертный бой друг с другом.

Какое счастье, что я не послушалась Шмальгаузена! Недаром няня, противопоставляя мой характер нежности моего брата — "ангела небесного, Симочки", — говорила: "Раиска у нас настырная". Борьба за докторскую степень, — вот где таилась опасность для моей теории. 1946 год — последний год моих исследований, прерванных затем на десятилетие Августовской сессией ВАСХНИЛ, когда лысенковщина одержала окончательную победу.

В 1946 г. я отправилась в Молдавию для изучения гигантских популяций мух — цели моих научных устремлений.

Мои географические и биологические изыскания стали историко-географическими. Поблизости от Тирасполя, в городе Бендеры, на стене дома, где родился мой отец, висит маленькая мемориальная доска. Я видела ее в 1962 г., когда вместе с моей младшей дочерью Машей, снова приехала в Молдавию. Но это было шестнадцать лет спустя.

А новогоднюю ночь 1946 г. я провела в поезде Москва-Ленинград. Контраст между Москвой и Ленинградом был потрясающим. Послевоенную Москву в июле 1945 г. показывали иностранцам. В Ленинграде в январе 1946 г. — свалки мусора и нечистот загромождали каналы. Расчищен был только самый центр города. Канал Круштейна, огибающий великолепный когда-то дворец графа Бобринского, завален гигантскими холмами отбросов. Дворцы перемежаются с руинами. Стены домов выщерблены, будто дома переболели оспой.

В очередях за хлебом люди рассказывали о том, как они ели трупы умерших на улице людей. Я не буду воспроизводить эти рассказы.

В Зоологическом институте Академии наук под руководством выдающегося специалиста по систематике мух А.А. Штакельберга я начала исследования по эволюции крыла. Крыло насекомого — изобретение гениального авиастроителя. Моя детская мечта — познать законы эволюции сбывалась. Изменчивость, отбор, различия между видами — все было перед моими глазами. Я измеряла крылья мух разных видов, сопоставляла их размеры с расположением жилок на крыловой пластине и была... счастлива.

В августе 1946 г. мы с Мариной Померанцевой, моей спутницей по прошлогодней экспедиции и лаборанткой кафедры дарвинизма Софьей Львовной, пожилой женщиной, но за глаза называемой Софочкой, отправились через Одессу в Тирасполь. В Кишиневе был съезд виноделов. В нашем купе оказался старичок-профессор, специалист по биохимии вина. "Имею честь быть знакомым с вашим всеми уважаемым батюшкой", — сказал он, когда я представилась. Он в курсе всех событий на генетическом фронте, читал статью круп-

нейшего генетика-селекционера А.Р.Жебрака в журнале "Science" и знал, что Жебрака за нее судил общественный суд, был прекрасно осведомлен о провалах всех без исключения сенсационных проектов Лысенко.

Мы дивно поужинали креветками и помидорами, купленными на базаре в Одессе. Старичок спал, а я, лежа на второй полке, пела. Сим обожал блатные песни и обучил меня им.

Отчего меня девчонки не любят,  
Отчего мене ботиночки не покупать?

пела я.

Манька рупь, да Катька два,  
Ты бы, Любка, полтора,  
Вот тебе шевровые ботинки.  
Очень хочется мене жениться,  
Твоим мужем стать мене хотиться.

Я фартовый Петька Клин,  
Ты коса на глаз один,  
Вот тебе прелестнейшая па-а-ра...

Заливалась я, уверенная, что стук колес и качка усыпили профессора.

Но блатные мои рулады оборвались на ползвук. Яглянула вниз и увидела старичка. Он не спал. Вытянув шею, — складки кожи натянулись до предела — он с отвращением на лице слушал мое пение. Он едва попрощался утром и был глубоко оскорблен за моего всеми уважаемого батюшку, имя которого профанировалось столь бесстыдно. Отцу я об этом, конечно, не сказала ни слова. Но однажды у него был званый ужин, я рассказывала одному из гостей историю про старичка и цитировала (не пела, конечно) эту самую песню. И вдруг я увидела отца. Он слышал все, и по его лицу было видно, что слова песни доставляют ему большое удовольствие.

## **КРУШЕНИЕ**

В 1948 г. генетика прекратила свое существование. Разгром произошел на сессии ВАСХНИЛ.

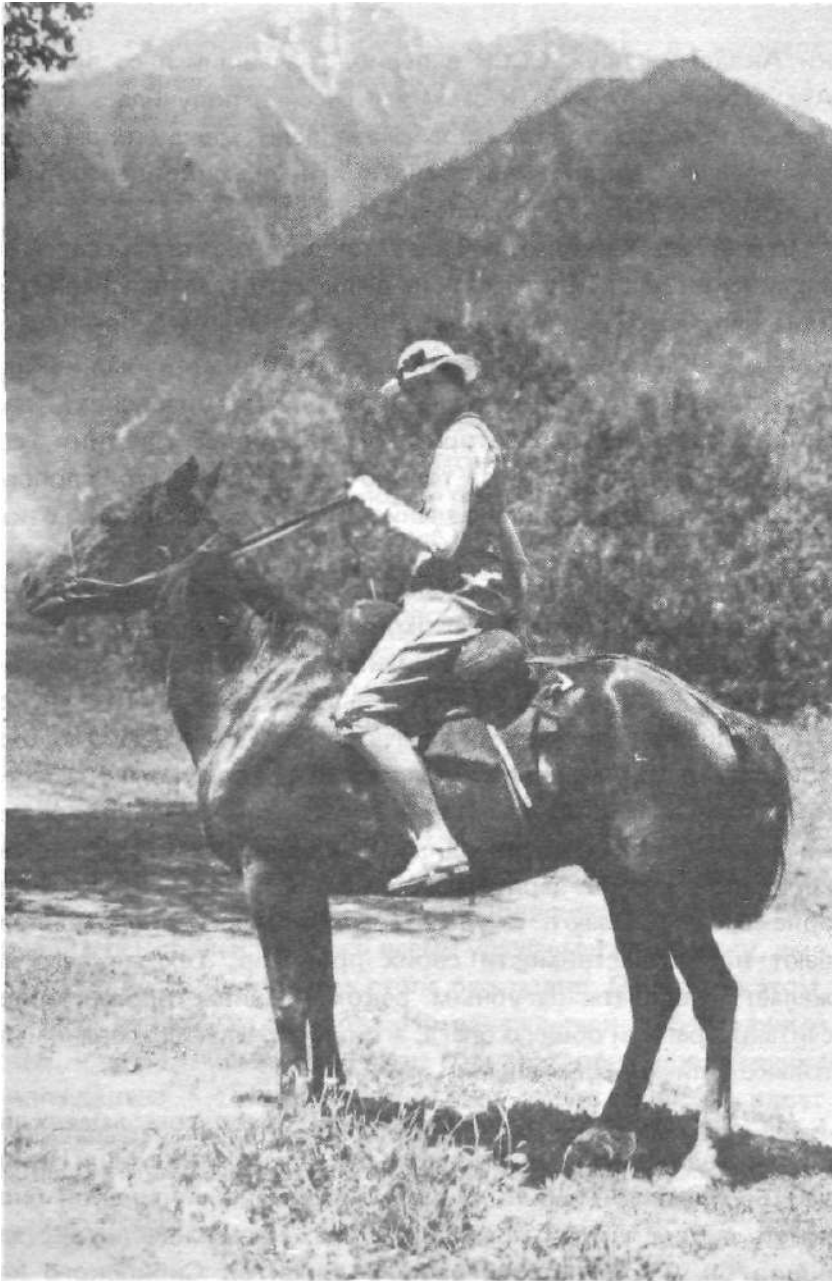
В 1723 г. Джонатан Свифт описал посещение Гулливером Лапуты и Академии в Легодо. Опиши Свифт Институт генети-

ки Академии наук СССР в период, начавшийся со времени Августовской сессии, и саму эту сессию, получилась бы отнюдь не менее злая сатира. Параллели между проектами персонажей Свифта и рекомендациями лысенковцев поразительны. Совпадение методологий полное.

Стенографический отчет Августовской сессии переведен на английский язык. Однако он не включает отдельные реплики, как, например, реплику Рапопорта, прервавшего президента криком: "Ты врешь, вонючий шакал!" Рапопорт был исключен из партии. (В 50-е годы, Дубинин, организовавший под эгидой физиков лабораторию радиационной генетики, соглашался взять Рапопорта только при условии, что Рапопорт выхлопочет себе восстановление в партии. Рапопорт отказался.)

Поистине очень легко сделать сопоставление двух Академий: той, что описана Свифтом, и той, чье заседание застенографировано. Гулливер знакомится с Академией проектировщиков в Легодо. Профессора вырабатывают новые способы повышения урожая. Их задача заставить все растения плодоносить в назначенное ими время и давать урожай, во сто крат превышающий нынешний. Единственное неудобство заключается в том, что ни один из выдвинутых планов не завершен, в стране царит мерзость запустения... Академики, однако, не унывают. С удесятеренной энергией они настаивают на осуществимости своих проектов. Тех же, кто не желает следовать пагубным рекомендациям прожектеров, считают врагами общего блага, эгоистами, заинтересованными только в личном обогащении.

На Августовской сессии главным идеологом лысенковщины, подлинным лапутянином двадцатого века был Николай Васильевич Турбин. Сила и значение мичуринской биологии в том, чтобы сокрушить вражескую идеологию, заявлял он. Турбина поддерживал директор Сибирского научно-исследовательского института зернового хозяйства Г.П. Высокок: "В 1942 г., — говорил он, — академиком Лысенко было сделано выдающееся открытие, показывающее, что озимая пшеница в степной Сибири может прекрасно зимо-



Раиса Берг. Тиберда. 1937 г.

вать при условии посева ее по совершенно не обработанной стерне яровых культур... Простота и доступность стерневого посева открывают каждому колхознику Сибири возможность разведения озимой пшеницы... Благодаря открытию академика Лысенко суровая сибирская природа оказалась побежденной"...

Теперь поставьте себя на место председателя колхоза, которому спущен план сеять по стерне. Что он делает?

Я достоверно знаю, как поступали колхозники Ленинградской области, когда в хрущевские времена от них требовали богатого урожая кукурузы. Они выращивали картофель, везли его на Украину и, продав его, покупали кукурузу. Затем сдавали ее, как если бы она уродилась на их родной земле. Вот так же проводилось в жизнь и "гениальное открытие" Лысенко.

Вот речь В.А.Шаумяна, директора Государственного племенного рассадника крупного рогатого скота костромской породы. Прежде чем приступить к восхвалению костромской породы, он призывает к уничтожению врага. Шаумян убежден, что вскрыть вражескую идеологию, прикрываемую хромосомной теорией наследственности куда важнее, чем повысить продуктивность домашних животных. Советский человек должен знать, что враг не дремлет. Бдительность важнее сытости. Нужно внушать советскому человеку, что виновники его голодного прозябания интеллигенты — менделисты-морганисты-вейсманисты. Они намеренно снижали урожай и работали на врага.

"Надо же наконец понять, — говорит Шаумян, — что сегодня наши органисты-менделисты объективно, а кое-кто, может быть, и субъективно блокируются с международной реакционной силой буржуазных апологетов, отстаивая не только неизменность генов, но и неизбежность капиталистической системы... Формальные генетики, — продолжает он, — пытаются обезоружить миллионы передовиков сельского хозяйства, которые не покладая рук, неустанно, творчески трудятся и создают богатство для нашей Родины. Мы должны окончательно и бесповоротно развенчать эту антинаучную и реак-

ционную теорию, и, пока мы не усилим нашего "внешнего воздействия" на умы наших противников и не создадим для них "соответствующие условия среды", нам их, конечно, не переделать. Я совершенно уверен, что, руководствуясь единственно правильной теорией Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина и той колоссальной заботой, которой окружает людей науки гениальный Сталин, мы безусловно справимся с этой задачей.

Стенографический отчет Августовской сессии ВАСХНИЛ занимает 631 страницу. Из пятидесяти докладчиков, призывающих устроить бойню, я привела слова только нескольких — как образец. Но речи Презента, Глущенко, Нуждина, Дворянкина, Столетова не менее воинственны. Вступительная речь и заключительное слово Лысенко — барабанная дробь, ритуальная музыка публичных казней. Только в заключительном слове он поведал участникам сессии (да и то делая вид, что отвечает на вопрос анонимной записки), что его доклад одобрен Сталиным. Нет, не одним Сталиным — Центральным комитетом партии. Реакция публики: "Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают".

Но и на этом представление не закончилось. Выступили с покаянными речами трое из восьми защитников генетики. В заключение приняли резолюцию сессии и послали письмо товарищу Сталину, которое кончалось словами: "Слава великому Сталину, вождю народа и корифею передовой науки!"

Сатира Свифта — это художественное произведение, навеянное реальностью, сгустившее эту реальность до гротеска. Стенографический отчет сессии ВАСХНИЛ — сама реальность, документ, ставший на многие годы руководством к действию для советских ученых.

## НА КРАЮ БЕЗДНЫ

Моим экспедициям надолго пришел конец. Каждое лето мы с мужем отправлялись в рыбный совхоз, расположенный поблизости от города Валдая и поблизости от деревни Яжелбицы, той, что на тракте Ленинград-Москва по самой середине. В 1947 г. мы уехали вдвоем. Вскоре у меня родилась

дочь Лиза. На следующий год, уже в Яжелбицах появилась Маша.

Поразжала нищета окрестных деревень. После смерти отца я писала книгу о его путешествиях по озерам Сибири и Средней Азии. Я расписывала великие трудности его путешествий, а сама ловила себя на мысли, что поездка в начале века на озеро Балхаш за тысячи километров от какого бы то ни было культурного центра была куда легче моих "дерзаний". В колхозном ларьке купить решительно ничего нельзя. Все буквально — крупу, сахар, масло — нужно везти из Ленинграда. Карточная система. Заготовить продукты невозможно. Молоко в деревне доставали с трудом. О мясе нечего было и думать. Разве что случайно.

Тогда же я получила и предсказание своего будущего. В одной из окрестных деревень однажды ко мне обратилась цыганка — сбруей ее лошади натерло рану. Я дала цыганке для лошади стрептоцидовой мази. В порыве благодарности она взялась погадать: отец твой скоро умрет, твой муж уже имеет другую семью и покинет тебя... Все сбылось. А пока не сбылось, меня ждали другие беды.

То, что генетике пришел конец, стало ясно, когда Лысенко объявил, что его доклад одобрен Центральным комитетом партии и лично товарищем Сталиным, и когда появилось в "Правде" покаянное письмо Юрия Жданова. Он каялся в поддержке, оказанной им генетикам. 7 августа 1947 г. "Правда" опубликовала это письмо. Юрий Жданов возглавлял отдел науки ЦК.

Постановление Августовской сессии ВАСХНИЛ искоренить прислужников империализма, прихлебателей буржуазии, расистов, менделистов-морганистов-вейсманистов плюс постановления всех исследовательских институтов, всех университетов и всех педагогических институтов (а я в то время была доцентом одного из таких институтов), всех издательств и музеев — выполнялись неукоснительно. Я подлежала искоренению. Была уволена, и теперь уже ни одно учреждение не имело права взять меня на работу. Но мой отец, избранный за два года до этого действительным членом Академии

наук СССР по Отделению географии, был не только географом, но и крупнейшим специалистом по рыбам. Рыбный институт был детищем моего отца. Мой муж, Кирпичников, работал в этом институте, теперь и я стала его сотрудником. Впрочем, довольно скоро я ушла из института, испугавшись угрозы старика-заведующего отделом, который по какому-то ничтожному поводу сказал мне: "Мы поговорим с вами в другом месте". Времена были сталинские, и лучше было при создавшейся ситуации сидеть дома.

### СМЕРТЬ ОТЦА

Все, что в благодарность за стрептоцидовую мазь напророчила мне цыганка, сбылось. 24 декабря 1950 г. умер отец. Семья моя развалилась. Жить было не на что. Я обратилась к директору Зоологического института Евгению Никаноровичу Павловскому с просьбой зачислить меня. Я прилежно работала над коллекцией мух Зоологического музея и охотно бы водила экскурсии по музею. Но Павловский отказал мне, сказав: "Вы такая знаменитая женщина, а я старый больной человек. Я не могу вас взять".

Может быть, другу отца Штакельбергу и удалось бы отстоять меня, но он тяжело болел, а когда дошла до него весть о смерти отца, у него случился инфаркт.

Панихида проходила в Петровском зале Академии наук СССР, отец лежал в открытом гробу, и на его сердце пылали огненные цикламены — дар одной из поклонниц — мачеха неизменно называла их обожалками. Похоронили отца на Волковом кладбище, на Литераторских мостках, неподалеку от могилы Тургенева, рядом с могилой Миклухи-Маклая.

Я ощущала себя потерянной. Меня покинуло не сознание, а способность что-либо чувствовать. Я не спала, но нисколько не страдала от этого, я могла не есть, но ни голода, ни сытости, никаких вообще желаний не испытывала, я не чувствовала ни жары, ни холода. Забросила и мух и ботанику. Скамеечка, на которой я сидела у ног моего бога, исчезла.

Единственное, что могло вернуть меня к деятельности, — это приобщение к жизни, к былой жизни моего отца. Его

архив находился у мачехи, значит, не существовал для меня. Мачеха передала архив в распоряжение Академии наук. К тому времени последние следы существования первой семьи отца исчезли. Но то единственное, что могло вернуть меня к жизни, произошло.

У Лизы был в то время фурункулез. Я водила ее в поликлинику университета, куда мы были прикреплены как члены семьи академика, пока нас не выдворили. На Университетской набережной мы встретили бывшую заведующую архивом Географического общества Блюму Абрамовну Вальскую — одну из "обожалок" отца. Ее перу принадлежат многие труды по истории географии. "Зайдите в архив Географического общества, — сказала она, — там спросите архив Игнатова. Лев Семенович ему письма писал".

Я пошла. Что это были за письма! Своим идеальным почерком отец описывал свои путешествия по Аральскому морю, свою жизнь в Казалинске, свою службу в качестве смотрителя рыбных промыслов на Сырдарье и на Аральском море. Они с Игнатовым путешествовали в 1898 г. вместе. Теперь они совместно писали монографию. Описывали группу озер Западной Сибири. Письма содержали всю эпопею создания первой в мире монографии по ландшафтоведению. За нее отец и Игнатьев получили Малые золотые медали Географического общества. Надпись на медали гласила: "За полезные труды". Других медалей отца я никогда не видела. А эту он в 1932 г. отдал тете Мусе, и позже мы загнали ее в Торгсине — отец для этого ее и давал — и я купила шерстяную кофточку и пирамидон, — иначе нельзя было достать.

Игнатов был двумя годами старше отца. Они одновременно закончили Московский университет. Игнатова оставили при университете для подготовки к профессорскому званию, как тогда называлась аспирантура. Для отца лучшего места, чем место смотрителя рыбных промыслов на Сырдарье и Аральском море, не подыскалось. В 1898г., по заданию Географического общества, отец и Игнатов отправились в Западную Сибирь изучать озера. Результат их исследования — возрождение географии как науки. Климатология, геоморфология, гидрология стали элементами ландшафтоведения.

В 1902 г. Игнатов скончался. Он умер от туберкулеза в страшных мучениях на берегу озера Щучье. Щучье относится к той же группе озер, что и Боровое. Сорок лет спустя Лев Семенович очутился среди озер, изученных перед самой смертью Игнатовым.

Итак, я взялась за книгу. Несколько глав из нее решил напечатать журнал "Вокруг света". Первая часть прошла без сучка без задоринки. Со второй начались затруднения. Оказалось — плохо пишу. Описываю архипелаг среди синих вод Аральского моря, гибель его первых поселенцев, приключения тех, кому удалось выжить. От голодной смерти их спас казах, накормив умирающих от голода людей "лепешками, айраном и лошадиным мясом". Редактор журнала исправил "лошадиное мясо" на "конину". Я протестовала: "А вот Пушкин описывает, как он пил чай в калмыкской юрте: "Я попросил что-либо, чтобы заесть это. Мне дали сушеной кобылятины. Я был и тому рад". — Так вы эту "кобылятину" тоже переправили бы на конину?" — "Конечно, переправил бы", — отвечал редактор.

Разгадка его таинственного поведения пришла много позже. Подруга вдовы Ферсмана рассказала мне, почему в таком изобилии и так великолепно издаются книги покойного Ферсмана. Наследница делится гонораром с издательством. Конина вместо лошадиного мяса (отброс вместо деликатеса!) — так и было напечатано в моем очерке. Взятка я не давала.

В Издательстве географической литературы моя книга "По озерам Сибири и Средней Азии. Путешествие Л.С.Берга (1898-1906 гг.) и П.Г.Игнатова (1898-1902 гг.)" увидела свет только в 1956 г. На обложке стоит год издания — 1955. Представить себе что-либо более жалкое, чем оформление моей книги, невозможно. И что обиднее всего — опечатка на опечатке. Именной и предметный указатель, даты жизни выброшены. Нет списка иллюстраций, сделанных художником по фотографиям, ни разу не публиковавшимся.

Взятка! Могучий стимул строительства коммунизма, лучшее из средств повышения качества продукции! Великая

традиция русской жизни! Былое не утратилось в настоящем...

## **РЫБЫ ПЛЫВУТ ОТ СМЕРТИ**

Через полгода после смерти отца я стала домовладельцем. Дача отца перешла по наследству ко мне. Когда отец получил ее в подарок, я его спросила: "Ты, кажется, очень рад?" Отец, вообще не любивший вещи, на этот раз утвердительно кивнул головой: "Воздух!"

Воздух этот, прекрасный воздух, был на Карельском перешейке на берегу Финского залива, близ станции Комарово. Станция именовалась раньше Келомяки, а затем переименована в Комарово в честь ботаника Владимира Леонтьевича Комарова. Карельский перешеек стал советским после войны, а до войны принадлежал Финляндии и считался финской Ниццей. Келомяки находятся на полпути между Куоккалой и Териоками. В Куоккале жил на своей даче Репин. В Териоках была дача Маннергейма. В 1947 г. поблизости от станции Комарово возник академический поселок.

В конце 1952 г. я познакомилась с Евгением Львовичем Шварцем. Шварц жил в Комарове постоянно. Его синенький домик находился между железной дорогой и почтой, по другую сторону от академического поселка. Домик ему не принадлежал. Союз писателей предоставил ему дачу в пожизненное пользование. Низкий забор окружал дачу. Молоденькие рябины уже плодоносили. Колпачки снега венчали алье грозди.

Познакомились мы со Шварцем при следующих обстоятельствах. Мы шли с Лизой на почту отправлять заказные письма. Из синенького домика вышел человек в фетровой шляпе. Он шел впереди нас, и продавцы со всех ларьков приветствовали его.

Очередь на почте состояла из меня с Лизой и человека в фетровой шляпе. Мы терпеливо ждали, пока он оформит подписку на все журналы и газеты, какие только есть на свете.

"Я вас задерживаю, — сказал незнакомец, — сдавайте ваше

письмо, я подожду". — "Спасибо, мы подождем. Писем у меня масса". — "Масса", - повторила Лиза, овладевая ситуацией. "А вы можете сложить пять и семь?" — спросила она. "Могу, а ты можешь?" — "Я ведь не зря вас спрашиваю. Вот на этом плакате пять листиков и семь цветочков". — "Только и делает, что считает, — сказала я незнакомцу. — Сегодня такой разговор слышала. Младшая моя говорит: "Когда сто пакетиков освободятся из-под горчичников, попроси их у мамы" А она отвечает: "Пакетиков не сто. В каждом пакете пять горчичников. Пакетиков, значит, двадцать!" — "Сто горчичников...", — повторил незнакомец, и в этот момент девушка как раз закончила оформлять его квитанции. "Мама, уйдем, мне жарко", — пожаловалась Лиза. "Я выйду с ней. Мы вас подождем", — сказал незнакомец, беря Лизу за руку.

"Знаете, кто это?" — спросила девушка в окне, когда они вышли. — Это Евгений Львович Шварц". Имя это я, конечно, знала: детский писатель, драматург, современный Андерсен, чьи сказки он инсценировал.

Когда я вышла, оказалось, что дружбе заложено прочное основание. "Вон в том ларечке живет медведь, а в этом ящике под крышей почты, — видишь, провода к ящику идут, — живет птичка. Она по телефону с медведем разговаривает". "Мы подружились, — сказал Евгений Львович. — Я уже знаю, что вы живете на розовой даче номер 27. Пожалуйста, приходите ко мне в гости". — "Не бросайтесь словами, — сказала я. — Мне теперь отбоя не будет: "Мама, пойдем в гости к новому академику". — "Скажите, а меньшими категориями ваши дети не мыслят?" — "Не меньшими, а иными", — поправила я.— "Нет, правда, приходите с ней", — сказал Шварц.— "Я не могу одного ребенка вести в гости к знаменитости, а другого оставить дома". — "Приведите и другого". — "Но вы не знаете, сколько у меня детей!" — "Сколько бы ни было".

В 1963 г. меня пригласили создать и возглавить лабораторию популяционной генетики в Академгородке Новосибирска. И пока не вышвырнул меня Комитет Госбезопасности, я пребывала там в числе привилегированных и считалась интересной личностью. Я удостоилась визита Гранина,

автора книги "Иду на грозу", где он чуточку лягнул Трофима Денисовича Лысенко, выведя его под именем ученого Денисова. Гранин входил в силу. Он руководил в Союзе писателей секцией молодых поэтов.

Вскоре после его визита я должна была ехать в Ленинград защищать докторскую диссертацию, Гранин просил оповестить его. "Я подарю вам букет роз, — сказал он, — я очень большой букет роз вам подарю".

Между тем судьба Бродского занимала в те дни мои мысли куда больше навязшей в зубах моей диссертации. Я сказала Гранину, что приму его дар только в случае, если он вступится за молодого поэта. Он ответил, что уже пытался повлиять на Бродского, предлагая ему писать стихи про цветы, про снег, про животных. Бродский не возражал против тем, но то, что выходило из-под его пера, оказывалось абсолютно непригодным для печати, например "Рыбы зимой".

Рыбы плывут от смерти  
Вечным путем рыбьим.  
Рыбы не льют слезы,  
Упираясь головой в глыбы...  
Рыбы всегда молчаливы,  
Ибо они — безмолвны.  
Стихи о рыбах, как рыбы,  
Встают поперек горла.

Во время суда над Бродским в театре шла премьера Гранина "Иду на грозу". Но он не пришел ни на суд, ни на представление, он уехал из города, и никто не знал, где он. От его имени Воеводин-младший читал осуждение поэта-тунеядца членами Союза писателей. Поэт, как известно, получил пять лет ссылки. Вынося приговор, суд основывался на отзыве Союза писателей. Я сказала несколько теплых слов Воеводину и какому-то проходимцу, по фамилии, Лернер: "Что радуетесь? Задушили ребенка собственными руками". Не расслышав, он закричал: "Милиция! Меня хотят задушить!"

Гранину я позвонила на другой день после суда. Его не было дома. Я попросила его жену передать, что ему надлежит смыть черное пятно... Я видела Гранина после этого еще

раз — просила за Бродского. Он ерничал, спрашивал, почему я сама не делаю того, о чем прошу его. Тогда-то он и похвастался мне, что видел картины Филонова в запасниках Русского музея. Говорили, что он все же заступился за Бродского, и не без его участия Бродский был возвращен из ссылки, не проработав на лесосплаве положенных пяти лет.

Но я отвлеклась. Между тем со Шварцем у нас возникла настоящая дружба. Я даже чуть было не стала детским писателем. Самое острое из всех ощущений моей жизни — было чувство стыда, которое я испытала, когда Шварц, выслушав мои рассказы, заметил: "Такая литература карается арестантскими ротами!" Мне захотелось немедленно исчезнуть с лица земли. Тем не менее Шварц сказал: "Работайте. Приходите через месяц". — "К вам, наверное, многие ходят и всякую дрянь читают? Что вы им говорите?" — "Говорю, что печататься так трудно, что лучше и не начинать". — "А мне почему так не говорите?" — "Потому что вам есть что сказать".

Я пришла к Шварцу через два месяца и принесла десять рассказов. Когда я уходила, Шварц сказал: "Об арестантских ротах не может быть и речи".

Я сделала книжку вроде бы для детей, вроде бы для взрослых. Художница Вера Федоровна Матюх взялась иллюстрировать. Когда через много месяцев она вернула мне рукопись, я уже не имела ни времени, ни желания печатать рассказы.

У Шварца я теперь бывала часто. Шла десталинизация. Шварц — блестящий знаток человеческих душ — ошибочно судил о масштабе дарованной свободы — совершенно в духе Кржижановского. Его пьесы, запрещенные при Сталине, ставил теперь в своем театре Акимов. "Обыкновенное чудо", "Дракон". Из Москвы на гастроли приезжал театр и показывал "Голого короля". Когда министр советовал королю, единственной одеждой которому служила орденская лента, продетая между ног: "Ваше величество, бегите, пока народ безмолвствует", — зал стонал от восхищения.

Три головы Дракона в постановке Акимова в Театре комедии говорили и были загримированы по-разному. Одна говорила с грузинским акцентом, другая картавила слад-

ким голосом, третья лаяла. Сталин, Ленин, Гитлер. Осмеяно решительно все. Произвол, местничество, декретированное свыше неравенство, антисемитизм, глупость правителей, борьба за власть, рабские инстинкты подчиненных...

Шварц просил меня ходить на спектакли и рассказывать ему о реакции публики. "А вы не боитесь, что вас и Акимова посадят?" — спросила я его. "Нет, — говорит. — Во-первых, слишком много тех, кого надо посадить. Во-вторых, я имел в виду немецкий фашизм, а не сталинскую эпоху". Он действительно писал своего "Дракона" во время войны. Но цензура пьесу не пропустила. Шварц очутился в числе опальных. После смерти Сталина он возвысился до положения полупопального. Однако книги его пьес печатались.

В те дни начали вслух говорить о страданиях в сталинских лагерях и о жертвах сталинского террора. Шварц рассказывал, как выпускали людей из лагеря на свободу по приказу Хрущева. Работала комиссия. Спрашивают заключенного, в чем его обвиняли. В подготовке убийства Сталина. Под пытками он сам показал, что такой-то человек, в таком-то месте вручил ему револьвер. "А на самом деле, что было?" — "А на самом деле ничего не было". — "Вы свободны".. Пересматривали дело старика-великороса. "В чем тебя, отец, обвиняли?" — "В том, что я сказал, если бы встретил Сталина, задушил бы его собственными руками". — "А на самом деле, что было?" — "А то самое и было". — "Ступай, отец, ты свободен".

Раз прихожу к Шварцу. Газету ему принесла, где о постановке его пьес писали. У него Юрий Герман — известный писатель. Герман рассказывал о злоключениях своего знакомого. Стал знакомый лысеть. Из-за границы удалось ему раздобыть жидкость для восстановления волос. Парикмахер заинтересовался — на лысине волосы растут. Знакомый поведал ему тайну. В тот же вечер за ним явилась милиция. "Пройдемте". И повезли его не на Лубянку, а к особняку, окна которого непроницаемо занавешены. Ввели несчастного в особняк и оставили одного. Через миг явился низкорослый лысый человек, рыжий, в расстегнутой рубашке, без

кителя и в брюках с генеральскими лампасами, пьяный в дрезину. Заплетающимся языком он сказал, что ему стало известно о жидкости для волос. Он предлагает отдать ему флакон. "А кто вы такой" — "Я сын Сталина".

Грузинский акцент Герман изображал артистически и с большим тактом — вроде бы и есть акцент, а вроде бы и нет. Флакон поступил в распоряжение младшего Сталина, который в долгу не остался. Знакомый получил от него в подарок музейную вещь — тевтонский меч — и короткошерстную породистую суку Геббельса.

В 1963 г. Б.С.Мейлах организовал симпозиум, где обсуждались проблемы творчества с точки зрения разных наук. Сразу после того как я прочла свой доклад, я получила записку. В изящных выражениях на французском языке автор просил разрешения познакомиться. Записка была написана на программе. Автор — Иван Алексеевич Лихачев — просил вернуть ему программу. Я написала по-русски: "Приходите ко мне домой сегодня в 8 вечера" и адрес. Контраст между робостью изящно выраженной просьбы и моей бесцеремонной готовностью забавлял меня. И вот Иван Алексеевич предстал передо мной. Высокий, сухощавый, не очень старый. Его вид вполне гармонировал с изысканным изяществом его французского обращения. Мы вместе пошли домой. У меня званый вечер. Девочки пекли блины. Лиза сказала Ивану Алексеевичу: "Как странно, что вы не бывали у нас раньше. Вы так подходите к нашему дому".

Иван Алексеевич Лихачев четырнадцать лет "протрубил по тем лагерям", как сказал поэт. Он знал восемь европейских языков, переводил в обоих направлениях стихи, был членом Союза писателей, как он говорил, лишь в расчете на пышные похороны.

Летом 1964 г. я жила в Новосибирске и Иван Алексеевич приезжал ко мне погостить. Втроем — третий — Станислав Игнатьевич Малецкий — отправились мы "дикарями" в туристскую поездку на Алтай. Такая поездка в России — безумное предприятие. Нужна сноровка, чтобы раздобыть самые элементарные вещи — транспорт, питание. Мы хлебнули горя.

Нас обокрали. Чемодан с продуктами, номерами "Юманите", красками, кистями и блокнотами исчез в грозе и в буре. Такой бури, молний и ливня, какие бушевали во время нашей ночевки на озере Ая, я не видела никогда.

Малецкий придумал своеобразную игру: мы не только любовались природой, мы ее оценивали по десятибалльной системе. Долина Катуня. Голубые кулисы расступающихся гор. "Сколько?" — "Три с минусом". Пороги Кутани, бурные мутные воды, острова-веретена, поросшие кедром. "Сколько?" — "Шесть с плюсом". Мы плыли по Телецкому озеру, по тому самому Телецкому озеру, которое изучал Игнатов и которое было мне так хорошо знакомо после работы над книжкой об исследованиях отца и Игнатова. У береговых скал играла вода, оливково-зеленая, цвета бутылочного стекла, чистая, прозрачная. Разноцветная крупная галька виднелась на глубине. Пеленами стлались над водой туманы, их отражения стлались над ними, дробясь и волнуясь. Горизонт замкнула гора, и обрывистые берега близко подошли друг к другу. "Сколько?" — "Десять", — говорил Станислав Игнатьевич с гордостью, как будто это он создал прекрасный мир с единственной целью показать его нам.

В 1966 г. Иван Алексеевич и Станислав Игнатьевич в составе моей экспедиции летели со мной на Дальний Восток.

Нас было много. Мы ехали изучать растения. Математик Калинин получил средства от Ленинградского университета, прилетел в Новосибирск и полетел со мной на Камчатку, чтобы принять участие в сборе статистического материала. Люся Колосова, ботаник, секретарь Биологического отделения Президиума Академии наук готовилась поступить ко мне в аспирантуру и ехала со мной. Две студентки Новосибирского университета — курносая прелестная Клара, которой подошло бы имя Катя, и черненькая Катя — ей надлежало бы называться Кларой — получили мизерные средства от Университета и тоже включены в состав экспедиции. Они так и назывались — Катя, которая Клара, и Клара, которая Катя. Лучших членов экспедиции нельзя и вообразить. И лучших людей.

Но красой и гордостью экспедиции был Борис Генрихович Володин — врач, журналист, писатель. В серии "Жизнь замечательных людей" его перу принадлежала биография Менделя. За год до Камчатской экспедиции он входил в мою экспедицию к мухам по традиционному маршруту: Никитский ботанический сад, Ереван, Дилижан. Теперь он добыл от "Литературной газеты" командировку на рыбные промыслы Дальнего Востока с единственной целью стать членом моей экспедиции. Он писал для ЖЗЛ книгу об Иване Петровиче Павлове, говорил, что сопьется с горя, так как договор заключен, но жизнь великого физиолога с требованиями цензуры расходитесь самым вопиющим образом. Внутренняя цензура, цензор, вселенный Сталиным в душу каждого, требовал от Володина лжи, а он не мог и не хотел лгать. Он хотел показать Павлова таким, каким он был на самом деле. Следующим его героем должен был стать мой отец. Когда Володин утверждал, что напишет для ЖЗЛ книгу об Иисусе Христе, мы с его женой воспринимали его слова как шутку. Но в этой шутке он был весь.

Почти мальчиком Володина посадили. Его принуждали дать ложные показания, он отказался и получил десять лет. Его чудом выхлопотали друзья его отца, и он не досидел положенного срока. В ссылке, заменившей лагерь, он опять же чудом окончил медицинский институт. Чудом вернулся в Москву и стал журналистом и писателем.

Без бороды он был похож на Евгения Львовича Шварца, а отрастив бороду, стал похож на Солженицына. Когда ему было 19 лет, тюремный парикмахер, брея его наголо, показал ему бритву. Казалось, что на бритве одна пена. "А ты, парень, совсем седой", — сказал парикмахер. Это была для него новость — зеркал в помещениях не было.

Он выглядел лет на двадцать старше, однако женщины им интересовались, и очень. В Петропавловске-на-Камчатке в гостинице буфетчицы, горничные обступили меня и долго про него выспрашивали. Володин негодовал: "Вот я про вас напишу, какая вы болтуха". - "Ну, это еще не известно, кто про кого напишет", — ответила я.

В прошлогодней экспедиции Володин прилежно помогал мне. Он был потрясен, когда старый хромой истопник гостиницы в Дилижане узнал меня, ведь это я 26 лет тому назад изучала мух, и мой микроскоп стоял на бапконе его соседей. Ему было тогда 14 лет. Его покалечило на войне, и это война, а не время сделала его стариком.

Мы все имели должности, сочиненные Володиным. Обязанности распределены. Есть повар — варит мухам корм. Есть министр морали — отсаживает девственных самок, чтобы с дикарями скрещивать. Есть ловец. То и дело слышалось: "И на муху бывает проруха". "Муха не воробей — вылетит не поймает". "Как муху ни корми, она все равно в лес смотрит". Для самого себя — "все под мухой ходим"; для меня: "муха мухе рознь"; для нас всех: "не мухой единой".

Неисчислимы смешные истории, которые сочинял для нас Володин. Вот он говорит от лица портного-еврея, работающего в ателье Союза писателей. "Федин — шью, Евтушенко — шью, Володин — не шью. Голодранец". Или передает разговор Сталина с Пушкиным: "Пишите правду, только правду, одну только правду".

Двери всех исследовательских учреждений, занятых рыбным промыслом, который Володину предстояло осветить на страницах "Литературной газеты", широко открывались перед ним.

Он потащил меня в Тихоокеанский рыбный институт, и там в кабинете директора я рассказывала сказки, которые сочинял отец. Седовласый директор плакал настоящими слезами, вспоминая отца, и я решила его посмешить.

Осенью того же года я уехала работать в Крым. Получаю на почте Никитского сада письмо от Володина. Он твердо решил писать книгу об отце, не буду ли я так добра написать ему те сказки, которые я рассказывала в Петропавловске-на-Камчатке директору Рыбного института. Я ответила, что рукопись сказок либо у мачехи, либо в архиве Академии. Тут меня обуяла лукавая мысль. Вот насочиняю сказок и выдам их за отцовские, и они будут напечатаны. Но подлог был бы быстро обнаружен. Я писала про профессоров в сюрреалистическом

стиле, занятая рассмотрением взаимоотношений человека и социалистического государства, отца же интересовали общечеловеческие свойства.

А теперь, после Володина, об Иване Алексеевиче Лихачеве. Может, лучше не писать о том, как однажды он мне опротивел — лучший из лучших когда-либо встреченных мною?

Иван Алексеевич — Дон Кихот особого типа, высшего, как мне кажется. Он служил не идее, а людям. И в деле служения людям он обладал особой сноровкой. Он отдавал другим свою жизнь не с унылым сознанием исполняемого долга, не из высоких соображений, не возвышая себя. Есть в помощи людям великая моральная корысть, гордыня, самовозвышение. Духовное бескорыстие Ивана Алексеевича не имело границ. Всякий обездоленный в присутствии Ивана Алексеевича начинал чувствовать себя человеком. Казалось, Ивана Алексеевича ничто не могло испортить. Но у него появился порок. На мое несчастье порок этот обнаружился во время Камчатской экспедиции.

Плыли мы вчетвером. Володин, Иван Алексеевич, ботаник Нина Алексеевна Ефремова и я. В Хабаровске я подхватила нечто вроде брюшного тифа и теперь медленно оправлялась от болезни. Холодно, пасмурно, штормовой ветер. Море вздымалось белой гривой, и в этом не было ничего хорошего. Иван Алексеевич шутил и все старался привлечь мое внимание к предметам, перемещающимся по отношению друг к другу. В столовой суп в тарелках ходил ходуном. "Посмотрите, посмотрите", — говорил Иван Алексеевич. "Это же сейши", — отвечала я. Сейши — периодические колебания уровня водоема. Вся масса воды вовлечена в одно колебательное движение. Мне в голову не приходило, что тут-то и заключена порочная страсть Лихачева. В конце концов не так уж часто представляется случай увидеть, как волнуемый океаном суп ходит в вашей тарелке. Но я знала по опыту моих путешествий, что созерцание предметов, качающихся у вас перед глазами, кончается рвотой.

"Посмотрите! Посмотрите!" — восклицал Иван Алексеевич. Но не мог же он привлекать мое внимание к качающимся

ся предметам, чтобы вызвать у меня рвоту. Опротивел мне Лихачев, когда я воочию убедилась, что страдал он именно этим странным пороком. О подобном извращении ни до, ни после этого я не слышала, а Володин — врач, бывший зэк — не хотел мне верить, когда я рассказывала ему об этой патологии.

Иван Алексеевич попался с "поличным". Я лежала в каюте на верхней полке, а внизу, напротив, лежала девочка лет десяти. Мне очень нездоровилось, девочка страшно мучилась от морской болезни. Входит Иван Алексеевич: "Посмотри, как занавеска качается", — говорит он девочке сладким голосом. "Иван Алексеевич, что вы делаете?! Уходите прочь сейчас же!" — закричала я. Он ушел. Он не стал оправдываться. Позже в ответ на мой вопрос: "Как вы могли?" — он ответил: "Я не знал, что вы в каюте".

Володин пьянствовал с командой. Он был великолепен в огромном брезентовом плаще, когда в подъемнике крана плыл над линией прибоя бушующего океана. Так нас высаживали с судна на остров Беринга. Иван Алексеевич оставался все тем же прекрасным участником экспедиции. Безропотный, выносливый, работающий, отлично понимающий задачи экспедиции, готовый жертвовать собою ради товарищей зэк. Я часто себя винила, но забыть качающуюся занавеску так и не могла.

В январе 1974 г. в особняке на улице Воинова состоялось собрание членов Союза писателей, посвященное памяти и семидесятилетию со дня рождения Ивана Алексеевича Лихачева. Незадолго до юбилея он скончался. Пришел в аптеку купить лекарство, упал и умер. Его хоронили с почестями, полагающимися члену Союза писателей, но с почестями, урезанными до крайности. Похоронили Ивана Алексеевича в Комарово, неподалеку от могилы Анны Ахматовой.

В январское заседание были включены и мои воспоминания. Говорили о нем много и хорошо. Предпоследним выступал литератор, врач, большой друг Ивана Алексеевича. (Мое выступление должно было быть последним.) Человек этот был врачом в лагере, где оба они отбывали

срок. Пришел приказ — изъять Лихачева из лагеря. Оба понимали, что в другом лагере будет заведомо хуже. Врач дал заключение, что Лихачев смертельно болен, нуждается в постельном режиме и не переживет транспортировку. На некоторое время хитрость сработала. Но вот снова пришел приказ — изъять живого или мертвого. И Ивана Алексеевича повезли, куда, он не знал. Свою поездку в обычном некупированном вагоне Лихачев описывал другу. Ехал он в сопровождении двух охранников в импровизированной камере. Недоступную стену заменяла простыня. Иван Алексеевич отдавал стражам полагавшееся ему питание и бегал для них с чайником за кипятком.

Бывший зэк читал теперь эти письма. Ивана Алексеевича привезли в какую-то тюрьму, какого-то большого города и объявили ему, что он свободен и может идти куда хочет. Он вышел без стражи впервые за много лет и впервые за много лет очутился в своем родном городе, в Ленинграде. Он пошел к себе домой, увидел разбомбленный дом и свою комнату, висящую над улицей. В тот день он мыл руки над раковиной перед тем, как сесть за стол в доме своих племянниц. Они были крошки, когда его посадили, и теперь видели его как будто впервые. "Как похож на папу!" — восклицала то одна, то другая. Письма вчерашнего и завтрашнего узника — ибо вскорости Ивана Алексеевича снова посадили — были полны иронии, обращенной прежде всего к себе самому.

Я тихонько пробралась в президиум собрания и попросила продлить время, отведенное для чтения этих писем, а меня из повестки исключить. Председатель отказался.

## СНОВА ЛЫСЕНКО

Не пора ли вернуться к прерванному повествованию? Брошенная жена с двумя маленькими девочками живет зимой на даче, унаследованной от отца, и пишет его биографию.

Умер Сталин. Его смерть внесла в мою жизнь кардинальные перемены. В 1954 г. я была зачислена на полставки на кафедру дарвинизма Ленинградского университета, зачис-

лена без учета ученой степени и стажа.

Кабинет Кирилла Михайловича Завадского — заведующего кафедрой дарвинизма отделен от главного коридора пятью дверьми. Положения заведующего кафедрой Завадский добился хитроумнейшими средствами — умелым сочетанием угодничества с видимостью научной полемики. Он прославлял Лысенко, Лепешинскую, но в одном-единственном вопросе — в вопросе о виде и видообразовании — он расходился с ними. Это делало его научным противником Презента и Лысенко. Тем не менее он дал Лысенко такие недвусмысленные свидетельства своего верноподданничества, что теперь, после смерти Сталина и с приходом к власти Хрущева, когда Лысенко временно впал в немилость, наступило его время дрожать за свою шкуру. Однако дрожал он напрасно. Ему не грозило решительно ничего.

Способы, как удержать баранку в должном положении при крутых поворотах, гениально описаны Пушкиным.

Борис Годунов, умирая, говорит наследнику престола:

Не изменяй теченья дел. Привычка —  
 Душа держав. Я нынче должен был  
 Восстановить опалы, казни — можешь  
 Их отменить; тебя благословят...

.....  
 Со временем и понемногу снова  
 Затягивай державные бразды.  
 Теперь ослабь, из рук не выпуская...

.....  
 Со строгостью храни устав церковный...

Когда при Хрущеве менделистам-морганистам-вейсманистам — этим мухолоубам, человеконенавистникам и наемникам Уолл Стрита — были возвращены права гражданства, лысенковцы задрожали. Представители правительственной идеологии, они ждали разгрома, смещения с должностей, публичных разоблачений, арестов, того, что в 1948 г. было учинено по отношению к генетикам. Завадский заготовил меня на случай разгрома. Рисовалась безупречная перспектива. Начнут громить лысенковцев — помилуйте, да какие же

мы лысенковцы, вон кто у нас преподает — генетик Раиса Берг. Ну а если все останется по-старому и начнут упрекать, что мракобеса допустили к занятиям со студентами, тогда — что вы! что вы! — она у нас на пол ассистентской ставки, занятия по биометрии ведет. Пожалели мы многодетную женщину...

Мне он сказал: "Я буду держать вас за горло и вышвырну". Так и сказал: "За горло и вышвырну при первом изменении ситуации. Согласны?" И я ответила: "Согласна. Мои недостающие полставки будут моей платой вам за свободу. Я буду читать по своим программам, а если ситуация изменится и вам прикажут разоблачать хромосомную теорию наследственности с позиций диалектического материализма, вы будете это делать без меня. У меня найдется другое дело".

Его цинизм не имел границ. Он усаживал меня в своем кабинете и говорил: "Вот я вам почитаю, а вы скажете, какой это прохвост писал?" — и читал нечто вроде этого: "Только Лепешинская вывела советскую науку на передовые рубежи мировой науки. Именно она обосновала возможность возникновения одного вида из живого вещества другого вида путем изменения крупинок этого живого вещества в результате ассимиляции внешних условий..." — и все в таком духе. Я ему говорю: "Ваш вопрос незаконен. Идеи Лысенко, а писать мог любой прихлебатель — Глущенко, Нуждин, Столетов, Кушнер, Презент, Дворянкин, Бошьян, Дмитриев, Бабаджанян — нет им числа". — "Это я писал, — говорит, — это бунт на коленях". — "Да где же бунт?" — Молчит с торжеством.

Он боялся, что его не переизберут и жаловался мне, что ему предлагают отречься самому. На это я ему отвечала: "Врут, берут вас на пушку. Вас переизберут, иначе кафедра получит Презента. А Презента они боятся как огня". Так и было.

Студенты не шли на кафедру к Завадскому. Их загоняли силком. Дипломные работы, которыми руководили сотрудники кафедры, представляли собой чудовищную профанацию науки. Объект — непременно важный для сельского хозяйства. Клевер, кролики. Была и лебеда — сорняк.

Подходит ли объект для решения поставленной задачи, никого не интересовало.

Однако именно Ленинградский университет стал форпостом антилысенковщины. Отчасти в силу того, что люди, способные восстановить генетику, сохранились, отчасти потому, что ученые смежных специальностей нашли в себе смелость защищать генетику. Они не рисковали потерять должность, но все же рисковали многим. Полянский, Насонов, Тахтаджян, Терентьев, Данилевский, Мальчевский, Шванвич. И все это не сработало бы, если бы не страх получить Презента. Как кстати здесь был Завадский!

Время после смерти Сталина и до свержения Хрущева — время надежд и разочарований. Хрущев попал под влияние Лысенко, и положение становилось все хуже. Оно становилось хуже во всех областях. Цензура завинчивала гайки. В центральной прессе появились разгромные статьи против генетиков и биологов, поддерживающих генетику. Разгромили редакцию "Ботанического журнала". Лысенко получил трибуну на страницах "Правды". Печальная эпопея с бычком жирномолочной джерсейской породы, которого надлежало скрещивать с жидкомолочными удойнными коровами для получения в первом же поколении новой советской породы жирномолочного скота, разыгралась именно в это время. Лысенко к своим лаврам агронома спешил прибавить лавры зоотехника и почвовода. Его статья в "Правде" весной 1963 г. занимала четыре страницы газеты, которая по этому случаю имела вкладыш.

Я еще работала в Университете. На нашу кафедру, где вот уже девять лет я оставалась единственным генетиком, обратился Николай Львович Гербильский — талантливый биолог-эндокринолог, тонкий исследователь, великолепный педагог — заведующий кафедрой ихтиологии ЛГУ. Он просил организовать семинар, где он мог бы сделать доклад. Мы создали семинар. И Гербильский доложил о значении работ Лысенко для науки и для практики. Он говорил, что нам надо скорее перестроиться, так как новый разгром генетики неизбежен. Нужно с величайшим вниманием следить за мыс-

лю Лысенко и пытаться понять его. С гордостью этот вполне интеллигентный пожилой человек с хорошим профилем и хорошей улыбкой говорил, что ему пришлось беседовать с Лысенко во время одной конференции. Они очутились в буфете за одним столиком. И Лысенко обратился к нему на "ты". Он что-то сказал о докладе Гербильского (доклад был посвящен способу получения зрелой икры у рыб, идущих на нерест, но не могущих достичь нерестилища из-за плотин электростанций), а потом спросил: "А ты можешь щенка вырастить?" Гербильский — специалист по выращиванию щенков, заядлый любитель-собаковод — говорит: "Могу" — "Ну как будешь дело начинать?" — "Пойду в аптеку, соску куплю, молочную смесь". — "Правильно. А зубную щетку ты купишь?" — "А зачем?" — "Нужно под хвостом у щенка зубной щеткой гладить, а иначе дехфекации не будет". Гербильский так и говорил "дехфекации", потому что Лысенко именно так произносил. Это были последние слова его доклада. И он с торжеством ждал реакции. Мое резкое выступление по поводу его доклада было для Гербильского неожиданностью, и он как-то весь сник. Был он болен тогда и, видно, из последних сил хорохорился.

История генетики — цепь триумфов. Конец 40-х и начало 50-х — время познания физико-химических основ наследственности. Родители передают своим детям некую субстанцию, клетку или часть ее, и из этой субстанции развивается организм. Что это? — готовый человек, которому надо только расти, или нечто на человека не похожее, но способное развиваться и стать человеком? Оказалось — ни то, ни другое. Генетика в контакте с цитологией — наукой о клетке — показала, что родители передают детям зашифрованную запись их признаков, код наследственной информации. Развитие зародыша — перевод записи с языка генов на язык признаков. Это генетики установили до того, как их наука вступила в физико-химическую, молекулярную фазу развития, еще, я бы сказала, в фазе стереометрической. Ген — элементарная единица наследственной информации. Он меняется — мутирует — и в потомстве появляются новые призна-

ки. Гены получили имена в соответствии с теми признаками, развитием которых они управляют. Где они, — знали. Стал известен порядок их расположения по отношению друг к другу. Но никто не знал, что же такое они сами.

1948 год — роковой для советской генетики — открыл блистательную эру в познании генов. Шаг за шагом изучена физико-химическая природа генов, познаны интимнейшие механизмы связи между геном и признаком. Оба языка — тот, на котором сделана запись наследственных императивов, и другой — язык развивающихся признаков — расшифрованы и не в общем (что было бы само по себе великим открытием), а в деталях. И профессор В.П.Эфроимсон с безумной смелостью доказывал, что расщепление в кратных отношениях — основа теории гена — не выдумка менделистов-морганистов, а факт и что численное равенство самцов и самок с необходимостью вытекает из него.

## МОДЕЛЬ МУЖА

Всю жизнь я шла от одного удивления к другому. В 1940 г. после экспедиции в Дилижан и Ереван я надолго слегла и весной очутилась в Кара-Даге на берегу Черного моря не для того, чтобы изучать природу, а чтобы восстановить утраченные силы. Цвели маки. Выпадает дождь, и распустившиеся цветки мака большие. Нет дождя несколько дней — цветки маленькие. Я даже писала об этом в письме Шмальгаузену.

В Яжелбицах в тот роковой пятидесятый год, когда домик мой утопал в цветах, среди которых цыганка навязывала мне свои пророчества, соцветия космеи удивляли меня разнообразием своих размеров.

Стандарт и независимость бросились мне в глаза и в 1953 г. Настурции увивали мою затененную соснами дачу. Все, что бы я ни растила, достигает гигантских размеров. Мои настурции имели листья величиной с чайное блюдце. Как, зачем я очутилась на соседней даче, о чем вели мы разговор с вдовой академика Баранникова, я не помню. Я смотрела на настурции. Дорожка усажена, поближе к даче кустики еще

ничего, подальше — совсем жалкие. Листья с гривенник. А цветки? Цветки этих все уменьшающихся кустиков сохраняли стандарт. Более того, цветки у Баранниковой ничуть не меньше моих, скрытых от глаз людских листьями, в сто раз превосходящими по площади листья ее неухоженных растений.

Мне казалось — вот случай, когда не отбор, а требования инженерного искусства ведут организмы по пути прогресса. Отбор, выживание наиболее приспособленного, задает задачу в самой общей форме. Задача эта — экономичность строения. Частные решения всецело определяются свойствами материала. Каковы они, эти изобретения? Уменьшение числа одинаковых частей — меньше лепестков, тычинок, пестиков... срастание частей, уменьшение числа элементов симметрии и стандарт размеров.

Все это оказалось заблуждением. Глаза на истину открылись у меня на докладе Бориса Николаевича Шванвича. Профессор энтомологии Шванвич говорил об опылении цветков мотыльковых растений пчелами и шмелями. Насекомое не валяется в пыльце этих растений. Растению нужен крылатый переносчик его пыльцы. За это оно согласно платить — немножко нектара, чуточку пыльцы. Каждый вид растения локализует крошечную порцию пыльцы, которая должна попасть на то место на теле насекомого, которым оно дотронется до рыльца другого цветка, прежде чем взять новую порцию пыльцы.

В случае с настурцией это выглядит так. Настурция нанимает транспортировщика ее пыльцы. Условия найма кабальные. И строение цветка, и его размеры, и соотношение размеров разных частей цветка — необходимые средства заставить шмеля сперва коснуться грудью рыльца цветка и отдать ему приставшую чужую пыльцу, а затем плотно прижаться грудью, тем же самым местом, где раньше была чужая пыльца, к тычинкам и взять новую порцию, предназначенную для другого цветка.

Роль отбора в возникновении стандарта размеров цветка очевидна. Кто обслуживает отдел технического конт-

роля, как работают его браковщики, — все разъяснилось. Переноса пыльцу с цветка на цветок, насекомые выполняют роль калибровщиков. Они отсекают все, уклоняющееся от стандарта, ибо нестандартные проносили комочек пыльцы мимо той единственной точки на теле насекомого, где ему надлежит быть.

Все это так, если размер переносчика пыльцы стандартен и транспортеры представлены одним видом насекомых. А если кто попало может опылять цветки, стандарта не будет. Ему неоткуда взяться. Мак тому ярчайший пример.

Где модель мужа? Я не шутила и не ехидничала, когда моего неверного мужа называла благородным. В борьбе за истину он рыцарь без страха и упрека. Он смел, бескорыстен, он талантливый ученый. Его низость строго ограничена сферой отношений с женщинами. В "бабском вопросе" он сущий подлец. Елена Александровна Тимофеева-Росовская, познакомившись с ним, сказала мне, что безусловно вина за разрыв лежит на мне, — такой прекрасный человек, как Кирпичников, не мог совершить ничего дурного. Сама святость говорила ее устами. Я не стала ее разочаровывать. Мои школьные приятельницы, на глазах у которых разыгрывалась моя семейная драма, были прямо противоположного мнения. Когда я говорила, что Кирпичников первоклассный ученый, принципиальный и бесстрашный в борьбе за истину, они негодовали. Моя высокая оценка свидетельствовала в их глазах о моем слепом чувстве к человеку, который ничего, кроме осуждения, не заслуживает, и питать это чувство, с их точки зрения, постыдно. Им я могла объяснить все толком. Я совершенно объективна. Все, что касается пола, не подчинено контролю со стороны тех категорических императивов, которые управляют общественным поведением человека. Независимость моральных критериев в разных сферах бытия и относится к той же самой категории явлений, что и независимость размера цветка от размера растения в целом. "Бабские дела" образуют свою корреляционную плеяду признаков, а все остальные свою. Непредсказуемость одних свойств характера на основе других подвела меня. Я выходила замуж

за высокоморального человека, а оказалась женой неожиданно отрицательного персонажа. Модель мужа, сделанная с помощью цветочков, конкретизировала туманные рассуждения о странной смеси хороших и дурных черт в характере каждого человека.

## ТВОРИТЕ ДЛЯ НАС - СОВРЕМЕННОКОВ

Я была уже на пенсии, когда меня пригласили в Горький для участия в конференции памяти Сергея Сергеевича Четверикова. Четвериков возглавлял кафедру до 1948 г. И те, кто изгнал его, уже в течение двадцати лет продолжали вершить судьбы факультета.

Ученики Четверикова — Астауров, Рокицкий, Никоро, Эфроимсон, Кирпичников — приурочили к конференции открытие памятника на могиле Сергея Сергеевича. Эфроимсон слушал, стиснув зубы, как бывшие преследователи восхваляют научные заслуги своей жертвы. В самой большой аудитории университета перед многосотенным наплывом слушателей Борис Львович Астауров рассказал о трагической судьбе основателей новой отрасли науки — экспериментальной популяционной генетики. Блистательно выступал Эфроимсон. Доклад он посвятил популяционной генетике психических заболеваний.

Я говорила об изменении частоты возникновения мутаций в популяциях дрозофилы и человека. Каждый подъем мутабильности индивидуален. Гребни волн выносят на поверхность мирового океана времени всякий раз новые мутации. Какое значение имеют эти подъемы и спады в появлении новшеств для преобразования вида в геологическом времени? Они — причина пульсаций эволюционного процесса. Благодаря им эволюция непредсказуема. Она непредсказуема и закономерна. Не только изобретательство инженера и технолога диктуют законы эволюции. Сам процесс наследственной изменчивости имеет свои законы. Эволюция — номогенез. Но она в то же время и неогенез — порождение нового. Будущее человечества непредсказуемо. Заботу о благе будущих

поколений следует ограничить охраной природы. Охранять надо прежде всего природу самого человека. Посмотрите, что остается в веках неизменно прекрасным, входит в сокровищницу мировой культуры. Создатели прекрасного творили для своих современников, и все последующие поколения наслаждаются их творениями. Рим, Ленинград, Рига, Флоренция... "Гении, сидящие здесь в зале, — обращалась я к присутствующим, — не навязывайте будущим поколениям ваши этические и эстетические каноны, творите для нас — ваших современников, и мы, и будущие поколения будем благодарны вам. Мир прекрасен своим разнообразием. Будущее непредсказуемо".

\* \* \*

Солженицын не без умысла выбрал для своего повествования благополучный день из лагерной жизни Ивана Денисовича и самого Ивана Денисовича сделал не избалованным интеллектуалом, а рядовым советским человеком, колхозником, солдатом, работягой. Он не хотел действовать на воображение читателей кровавыми зрелищами, а хотел представить жизнь такой, какая она есть, в ее обыденной повседневности.

Один из моих друзей — Эрвин Зиннер — рассказывал мне, сравнивая свои лагерные переживания с жизнью Ивана Денисовича, о своем начальнике лагеря. Так тот заставил зэков летом, пока почва не промерзла, рыть себе могилы, а потом гонял их зимой и летом на работы мимо этих могил.

Правда о жизни в Советском Союзе прозвучала со страниц книг, написанных великими страдальцами и страдальцами — Солженицыным, Евгенией Гинзбург, Надеждой Мандельштам. По сравнению с их судьбами и их писательским даром моя судьба и мои возможности описать ее ничтожны. И все же я взяла перо и пишу, и художественный прием, к которому обратился Солженицын в своей повести, поддерживает меня. Самая обыкновенная жизнь, описанная самым обыкновенным языком. Исключительно счастливая жизнь — по числу прекрасных людей, которых посчастливилось встретить и полюбить.

Публикуя письма Б.Шоссета, редакция продолжает знакомить читателей с впечатлениями об Америке и Западе новых эмигрантов. Письма В.Шляпентоха (№ 62-63) — это письма профессионала-социолога, уже в силу своей профессии склонного к обобщениям и глобальным выводам. Письма Б.Шоссета интересны именно тем, что их автор, не будучи специалистом в области общественных наук, выражает частное мнение. Его оценки зачастую чересчур мрачны, но зачастую и правдивы, и публикация этих писем, с нашей точки зрения, будет интересна читателям.

*Б. ШОССЕТ*

## ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ПРЕСНАЯ ЖИЗНЬ

*Письма из американской глубинки*

28 июня 1979 г.

Привет. Наше основное занятие сейчас — писание писем. Дела состоят в этом, в хождении в лингофонный кабинет, еде и сне. Гулять здесь в упор некуда, хотя город вполне дачного вида — только до моря, озера, леса без машины не добраться, а в лесу, говорят, еще и стаи голодных диких собак — студенты, уезжая, бросают. Недавно девочку съели. Если не врут.

Сразу попасть сюда было бы, может, и ничего: сильно улучшенный вариант какого-нибудь академгородка, как я его себе представляю, ну разве что в Ленинград съездить — зато работать удобно. Но по дороге нам показали, где следует жить. И это нас существенно испортило. Так не для всех, конечно. В Италии были люди, мечтавшие скорее добраться до Америки. И люди, которым просто не нравился итальянский бардак, бытовые неудобства, которых там хватает, гам, много чего еще. Но в Италии люди живут. А здесь вообще не знают, что это такое. Это абсолютно чужая страна, и не страна

чужой культуры, а страна, не понимающая, что такое культура. В Италии с литературой плоховато. Но в Италии течет поток жизни, пропитывающий все, в котором естественно чувствуешь свое место и в котором понимаешь, что страна имеет историю, даже если и ты в ней не грамотен, и люди, живущие в ней, не очень-то знакомы со славой предков. Это неважно: у них их культура в повадках, в движениях, в способе жизни. У них жизнь естественно порождает красоту, и людям эта красота нужна, А американцы считают это декорациями — богатые люди могут пригласить специалиста по интерьеру или съездить в Европу посмотреть на ихний интерьер, — но никак не вещью, заслуживающей серьезного отношения.

Вообще стоит совершить такой перескок, чтобы переоценить отношение к любви работать. Американцы — очень любят. По-моему, больше денег. Во всяком случае, вся жизнь построена так, чтобы ты мог с толком, удобно и продуктивно работать, тратя минимум времени на всякие пустяки — готовку, еду, прогулки... Кстати, тут очень распространен недельный отпуск. Настоящий отпуск в школах и университетах, а простые граждане вполне удовлетворяются недельным. Европейцы, как известно, не добились таких зарплат, но зато меньше месяца не имеют. А им — зачем? Здесь, не работая, можно со скуки сдохнуть. Итальянцы — ленивее русских. Там, где выгода не подгоняет, в государственных учреждениях, например, никто вообще не работает. Но зато — какая страна! И сколько в своей лениности они создают красоты — одно венецианское стекло чего стоит.

Мы попали в городок — столицу штата, 250 тысяч жителей, где есть невероятной уродливости центр с большими домами (хуже, чем в Москве у кино "Ударник"), и кругом — необъятной длины улицы вроде с разными, но почему-то однообразными двухэтажными домиками. Пешком не ходят. И некуда. Слава богу, у нас и университет, и магазин рядом, но все равно — машина здесь — первая покупка по необходимости. Домики без заборов, обсажены всякой растительностью — и тоже вроде красиво. Но опять-таки, почему-то скучно. Скуч-

но — это основное слово, применимое к характеристике нашего города. С первого дня стало понятно, что — ну пять лет можно выдержать, но потом на любую зарплату, как угодно надо перебираться в Европу. Для человека, действительно (а это проверяется не по словам) ставящего на первое место профессиональные интересы, конечно, лучше Америки не найти. Но всем остальным он должен пожертвовать. Может быть, еще здесь ничего людям, которым семья дает столько, что все внешние связи резко слабее, и можно жить и в чужом окружении, если оно не трогает. Им могу позавидовать — мне нужна среда. Я-то думал, что теряю ее все равно, но оказалось, что совсем в другом смысле в Европе она есть.

Но все же практически все даже лучше, чем можно было ожидать. Видимо, меня возьмут в здешний университет. Он вроде бы славится в теоретико-полевой статфизике, плюс солитоны и прочая мура. Тоже ничего, если правда.

Нас, конечно, испортила не только дорога, но и вообще жизнь в красивом городе. Америка же, с моей точки зрения (то, что я видел, конечно), не просто некрасива — ну предположим, наш штат таков, — но Нью-Йорк агрессивно некрасив. Или это красота, которая уж очень не для меня. Там, по мне, негде жить. Есть, где работать и где спать; раньше я еще думал, что есть, где пить, но похоже, что за последние десять лет американцы стали крайне добропорядочны во всех отношениях. Кстати, хотя здесь и можно делать что хочешь, ходить, в чем хочешь и т.п., но нет того ощущения полной свободы, которое было в Италии, потому что там принято свободно себя чувствовать, а здесь, похоже, что нет. Это сопряжено и с усталостью лиц. Первое, что удивило нас в Вене, — это праздничность толпы после рабочего дня. Для них прогулка после — важная часть жизни. Ну а в Италии вообще не переутруждаются, так что здесь и говорить не о чем. А в Нью-Йорке — типичные лица с ленинградского эскалатора. Поджата нижняя челюсть, выражения нет. Они устали. Какая уж тут свобода!

Думаю, что эти впечатления не совпадут полностью с мнением других. Не так много было людей, которым в Италии

было настолько хорошо, как оказалось нам, и это может коррелировать отношение к Америке. А кроме того, кто-то, имея уже готовую микросреду, может себе позволить не обращать на окружающее никакого внимания. Но кому нравятся вареники с вишнями, а кому господа офицеры. В общем ехать-то сюда, конечно, надо было, и надо всем, кто околачивает груши дома, потому что здесь бессмысленной работы не бывает, а от этого всегда лучше, но приятно здесь будет отнюдь не всем. Чего я не знал дома, — это реального разнообразия Запада и того, что если не нравится в Америке, то это еще не значит, что жить можно только в России.

Б.

5 октября 1979 г.

Дорогая Марианна Сергеевна! Давно надо было написать вам второй раз, но откладывал, потому что хотел определенности. Много работаю. Здесь докторантура в течение первого года состоит в чистом обучении, без конкретного руководителя, которого надо получить лишь с лета. Курсы можно выбирать самому, так что это обучение идет на очень разном уровне. Моя стипендия при этом обеспечивается "тичинг-ассистанс" — шесть часов в неделю вести лабораторию.

О деньгах действительно приходится думать гораздо больше, чем в России. Это при том, что никакого культа денег — не видно, скорее, культ работы. Но дело в том, что деньги здесь гораздо непосредственнее переводятся в возможности, причем совсем не таким способом, как в России и даже как в Европе. Жить так, как в Ленинграде, невозможно ни при каком доходе. Даже при маленьком доходе будет много удобств, которых не было, но даже при большом — не будет каких-то возможностей, к которым мы привыкли, но которые здесь рассматриваются как роскошь и потому дороги. Не нужно особых денег, чтобы одеваться, например. Начиная со сравнительно небольшого дохода, не надо думать о еде. Но деньги на концерты, поездки, книги, лечение зубов (на прочую медицину обычно есть страховка), квартиру — считать приходится всегда. Здесь в отличие от Европы нет конт-

роля за квартплатой, и цены невероятные и растут гораздо быстрее всего другого, то есть не компенсируются ростом зарплаты. Квартыры, с нашей точки зрения, неудобные и в гораздо меньшей степени принадлежат жильцу, чем не только в Союзе, но и в Европе. Например, в нашем доме нельзя селиться людям с детьми, — то есть если родишь — выезжай. Контракт заключается на год, в течение которого ты не имеешь права выехать, а после которого квартплата может быть повышена. Ремонта по собственному усмотрению делать нельзя и т.д.

В Америке есть много привлекательных черт, но все они, если подумать, — это просто отсутствие каких-то европейских недостатков, которые тут же "компенсируются" отсутствием гораздо более важных достоинств. Страна стерильная, не очень живая и крайне чужая, хотя в деловом смысле здесь помогут и посоветуют гораздо больше и проще, чем в Европе. Американцы очень доброжелательны, но разговаривать "просто так" с ними невозможно. Вся страна торопится, и торопится с толком, производительно, но что-то и теряет на этом.

Наш город — не такой плохой вариант. Здесь жизнь сравнительно менее утомительна, чем в Нью-Йорке. Нет жуткого транспорта, который там вынимает не меньше сил, чем у едущих из Дачного на Гражданку, устаешь только от реальной работы, и с этой точки зрения — все в порядке. Воздух чистый, зелено, сейчас — даже весьма красиво. Здесь необычная осень. Замечательное разнообразие красок, деревья стоят не только желтые, но розовые, багровые, фиолетовые, еще зеленые; осенние цветы на клумбах и шиповник — одновременно. Но скучно и очень замкнуто. Каким образом люди "американизируются", — я понимаю плохо, потому что на самом-то деле эмигранты, даже прожившие здесь лет пять, общаются в основном между собой. И не потому что американцы их не принимают — американцы-то примут всех, если эти все хотят считать себя американцами, — а потому что с американцами по существу разговаривать не о чем. Они

довольно наивны, очень нелюбопытны и заняты своими делами. Как говорят, в этом для эмиграции имеет большое преимущество Израиль: там живут живые люди, но работать там гораздо труднее. Именно работать, а не найти работу.

Так что в сумме — назвать нас довольными — нельзя. Потеряли мы много, но ехать надо было, потому что все-таки нет ничего важнее возможности управлять своей жизнью, и здесь лучше, чем то медленное загнивание (хоть и с друзьями), которое мы имели там. Американцами мы не станем, и очень надеемся суметь когда-нибудь жить в Европе. А вообще — очень здешняя жизнь похожа на то, каким представляли мы социализм будущего где-то в 30-х годах. Только что все на деньгах как на средстве управления держится, а результаты — те же. Производительно, скучновато, децентрализовано, все работают, оказывают деловую поддержку, с годом не умрешь, но чтобы жить хорошо, надо быть хорошим тружеником. Будьте здоровы.

Ваш Б.

9 ноября 1979 г.

Дорогая Мария Александровна! Получили мы от вас письмо давно, но времени совсем нет, и я все откладывал ответ. Теперь вот наконец собрался. У нас все время впечатление, что вовсе мы не в Америке, а где-то не так уж далеко. По телефону слышно хорошо, письма идут быстрее, чем из Италии, город похож более всего на Зеленогорск, — нешто ж это Америка!?

Дела в основном состоят в работе — без особенных вечеров и выходных. Я — в университете, где так работают все, тут отлынивание не в моде.

У нас здесь прошла замечательная осень, когда деревья такой раскраски, что нигде в России такого нету, и красота стояла неопишуемая — компенсировала лето, когда от этого города тошнило. Гулять вот только некогда. Я на велосипеде разъезжаю — купил — или пешком, все близко. Тут, видите ли, вместо вахтеров, материально ответственных, и прочего у каждого профессора или у кого другого (то есть и у аспиран-

тов) попросту ключ от здания и от всех нужных помещений, так что работай хоть ночью, хоть в праздник. И что странно, — работают! Библиотека роскошная, и научная и такая. Русских книг полно. При желании (иногда находит, но каждый раз раскаиваемся) можно и "Литературку" читать. Но в Коктебель очень хочется — здесь такого не водится.

Думаю, не слетать ли в Париж на Новый год, если успею с документами, — мне-то сложнее, чем американцам, то есть время нужно. Пока же думаю скататься в Нью-Йорк, где уже немало знакомых — все приезжают,

Вообще же имейте в виду, что Америка — глубокая дыра, где тьма всяких удобств, начиная от самоочищающейся раковины и кончая полным отсутствием бюрократии (я не преувеличиваю) и всеобщей доброжелательностью, но все равно дыра, где даже, что такое настоящий город, в котором, выйдя на улицу, можно испытать удовольствие, — не понимают. Не знают они об окружающем мире совсем ничего, иногда вплоть до того, что Россия и Советский Союз — одно и то же. А девица, которая сидит на России в международном телефоне, — наверное, в Нью-Йорке (не знаю, где уж он там помещается), — как-то попросила меня Ленинград сказать по буквам. А еще шлю вам стих Лимонова, который на этот раз вполне одобряю. Вот только на кой черт он сюда попер, не понимаю. У меня-то тут профессиональные препятствия исчезли, а ему кто мешал в России брюки шить? А впечатление у него вполне правильное — дыра, она дыра и есть. Так что если не в Коктебеле, то давайте встречаться в Европе. Сюда можете с визитом не приезжать. Вы без этого проживете. Будьте здоровы. И надеюсь удостоиться чести получить от вас письмо.

Б.

18 января 1980 г.

Дорогая Марианна Сергеевна! Уже с неделю или больше, как получили ваше письмо от середины декабря. У меня тут сессия, так что было не до ответа.

Впрочем, сессия не серьезная, только один экзамен, да еще

один пришлось проверять у студентов — я же одновременно ассистент, и надо еще к концу месяца подготовиться к докладу, так что как-то усталость накопилась.

У нас ничего особенного не происходило. Были каникулы в конце декабря (тут идиотическая система каникул перед сессией), никуда не поехали, отдыхали. Снега нет и в помине, ниже нуля было дело, но прошло, и дни стоят то весенние, то осенние.

Практически не гуляем — скучно. Работаем много. Но в общем довольно тоскливая жизнь — людей вокруг мало. Что до того, что к Америке трудно приспособиться, то это неточно: процесс приспособления или неприспособления занимает не так уж много времени. Думаю, что я ориентируюсь здесь уже неплохо и дальше буду узнавать не слишком много нового, и не думаю, чтобы к Америке когда-нибудь "приспособились".

Здесь можно жить, и можно Америку ценить, но как ее можно полюбить, — не представляю: надо тут родиться, да еще в Европе не бывать. Главное, чего не объяснить, — насколько это все противоречит сложившемуся мнению, что это многогранная страна (как все думают снаружи), на самом же деле — довольно однородная, провинциальная и скучная. Не джунгли капитализма, а подстриженные газончики в маленьких городках и кучи мусора — в больших. А все "бурление" культуры, — которое, если начать перечислять, здесь действительно есть, — не складывается в некую единую культурную жизнь, а состоит из отдельных событий, совершенно не влияющих на ж и з н ь ; да жизни, впрочем, и нет почти. Есть удобный, усовершенствованный быт и доброжелательные, внешне на нас очень похожие, но абсолютно чужие люди. Хотя они вполне могут оказаться моими четвероюродными братьями, — тут каждый второй еврей, а у каждого еврея кто-нибудь из Пинска, Минска, Гомеля и т.д., — но как-то любой итальянец мне ближе. А работать здесь продолжает оставаться приятным — этого от них не отнимешь. Похоже, что "противной" работы не существует вообще. Классической безработицы здесь нет вовсе, — говорят, в Европе есть — не

знаю. Тут же безработица означает для кого-то какой-то промежуток между увольнением с одной работы и устройством на другую, а для более постоянного контингента, например автомобильных рабочих, которые долго сидят без работы при сокращении производства, — нежелание испортить возможность снова попасть в крайне привилегированную группу, устроившись куда-то в другое место. Но в общем получается, что все объективные похвалы Америке, которые придумать нетрудно, потому что она их заслуживает, не перевешивают общего впечатления пресности. Тем не менее, я, конечно, в целом выиграл. Но печально (хотя, может, это рассуждение стало не ко времени), что это совершенно ясное представление, кому надо ехать, а кому — нет, — никак не передать.

Не думаю, что со времени моего отъезда то абсолютное отсутствие информации, которое было, например, у меня, как-то изменилось. Письма не читаются, а трактуются, и в них остается только то, что хочет читающий. Да и пишутся они в среднем не то чтобы очень объективно: во-первых, действительно очень трудно дать представление о стране, хотя бы тому, кто пишет, оно было совершенно ясно. А во-вторых, во всех письмах не самым близким и не едущим людям (а иногда и едущим) возникает совершенно естественный сдвиг в оптимизме: чего зря пугать. Но дело не в том, что американская реальность должна "пугать", а в том, что, вспоминая свои собственные представления, становится совершенно ясно, что как не объясняй, а читатель не поймет или не захочет понять соотношение того, насколько и какие стороны жизни здесь важны, или же скажет, что они важны соседу, а у меня все будет иначе. Например, я твердо знаю, что объяснять роль денег в здешней жизни, я не могу. Для этого надо писать социопсихологический трактат. Я знаю также, что роль денег в разных странах разная и что зависит это не от "степени капитализма", а от достаточно трудно объяснимого стиля устройства жизни и что тот факт, что в Америке быть бедным плохо, не связан ни с завистью более богатого соседа, ни с тем, что такая уж жуткая бедность, а вот

остается факт, что в России, Италии и, говорят, в Израиле, можно, живя объективно куда беднее, чувствовать себя куда уютнее. Это тоже достаточно важный факт для многих едущих, который совсем не оценить заранее.

Резюме состоит в том, что сюда имеет смысл попадать людям, которые достаточно внутренне независимы или которые либо имеют уже здесь среду, либо способны обходиться крепкой и существующей семьей, но ни в коем случае не одиночкам, потому что брак с американцами невозможен из-за слишком полного взаимонепонимания. И второе условие — либо достаточная молодость, чтобы приобрести специальность, либо наличие специальности, обеспечивающей нормальный заработок: обычно это сводится к инженерам, программистам и к "точникам". И все это относится отнюдь не к "Западу", который вообще оказывается фальшивым понятием, появившимся только в России, и которого просто не существует, а именно к Америке. Например, если говорить о странах, куда люди реально попадают, то здесь я имел достаточную возможность многое узнать про Израиль. И в университете — тут, по крайней мере, четыре человека, приехавших сюда учиться оттуда (первоначально из России) — и вообще, как это ни странно для страны в три миллиона, встречаешь их всюду часто да и знакомые оттуда пишут. Практически все там наоборот. Неэффективность, низкий уровень жизни, дикая бюрократия, все недовольны правительством (с разных сторон), шум, грязь — и все же для каждого найдется среда, можно существовать, если хочешь, тем же "птичьим" образом, что и в России, — что красиво И — главное — весело.

Время летит с необыкновенной быстротой. Хотя вы и пишете то же, но подозреваю, что с этой скоростью сравниться трудно. Главное это потому, что жизнь крайне упорядочена, день похож на день во всем, а событий не происходит никаких, если не считать событий, о которых мы узнаем из писем, или уж совсем внешнемировых. Но как бы все они ни были важны, они не определяют течения времени. Одновременно его очень не хватает, как всегда. Все развлечения, как и рань-

ше, сводятся к чтению. Слава богу, этого на много лет хватит — и иногда кино: много уже хорошего пересмотрели.

Новый год прошел неинтересно. Главное — снега нет, а, кроме того, мы так устали и столько дел накопилось, что и в Нью-Йорк не поехали и просто сидели здесь втроем с еще одним знакомым, причем что-то слабы на питье стали — не смогли выпить больше чем пол-литра сухого вина на троих и даже вовремя ли чокнулись — не знаем — здесь по радио ежечасных сигналов не передают, а Новый год у них не главный праздник: вместо него у евреев — ханука, а у христиан — рождество.

Получили ли вы мою новогоднюю открытку? Жду ваших писем.

Б.

12 апреля 1980

Привет, ребята! Про нашу жизнь тут рассказывать особенно нечего — течет себе, не оставляя ощущения прошедшего времени. Все в порядке, да вот как-то хотелось бы, чтобы в памяти хоть что-то, кроме полезных знаний, оставалось от прожитого.

Про Америку рассказывать не хочется, писать о ней и о нашем ее восприятии — труд. Оно интересно, да больно уж статейно, а что я ее не люблю, и даже очень, — это вы и так знаете.

А вот поездка была всем хороша, кроме короткости своей. Мы до самого последнего момента не знали, сумеем ли поехать — сначала были неурядицы с визой, наше дело где-то затерялось в Париже, а бюрократы французы отменные, и со стажем. Потом — сказали, что самолеты переполнены, а билеты у нас были "стэнд-бай", это самое дешевое, когда приходишь на аэродром с билетом, но без места и ждешь будет ли оно. А уезжали мы в самые первые дни пасхальных каникул, и, естественно, не нам одним хотелось. В результате всего этого мы только выиграли, правда, потеряв довольно много денег, но оно того стоило. Мест в Париж не было ни на субботу, когда мы объявились на аэродроме, ни на воскресенье, и нам предложили лететь в Лондон.

Описывать города я не умею. Но что хотелось бы передать, — это насколько мгновенно, только еще едучи в метро (наземном) с аэродрома, сразу чувствуешь после Америки, что попал в место, где живут люди, где хорошо, где разное, — в общем почти домой. Только при сравнении понимаешь, насколько американская жизнь, без красоты и впечатлений, вызывает у нас состояние, больше всего похожее на авитаминоз. За сколько-то там месяцев к нему привыкаешь, усталость начинаешь приписывать другим причинам, начинаешь абстрактно ценить американские удобства и нетрату времени на мелочи, но только попадешь туда, где не так, — как сразу понимаешь, что все чепуха, а жить надо в Европе, хоть бы и бедной и неудобной.

В Англии была весна. Когда мы уезжали, здесь ее еще не было, да и сейчас вдруг стало тепло, но трава только пробивается, и на склонах, около путей, нарциссы росли, как одуванчики. Трава ярко-зеленая, бархатная. Мы вдруг увидели, откуда взялись какие-то американские детали, смысл которых был совершенно непонятен, — что английскую траву действительно надо стричь, она от этого делается, как живой ковер, но ведь только она, а не та, что здесь. Дома, — из которых произошли здешние, — но только почему-то потерявшие по дороге прелесть. Язык — вроде бы тот же, — но без кошачье-рекламных интонаций, — нормальный человеческий язык, а то я уже думал, что мне просто английский не нравится.

В Лондоне было воскресенье, и вспомнилось уже полузабытое первое впечатление от Вены, когда видишь толпу людей после работы: она праздничная, они умеют отдыхать.

В Гайд-парке катались на роликах, весь парк по существу превратился в каток, просто катались или танцевали под музыку, но с той разницей, что среди этого другие спокойно прогуливались, или кормили лебедей, или сидели просто так (давно я не видел людей, сидящих просто так), а по дороге в Гайд-парк мы прошли длинные ряды торговавших художников, ювелиров и прочих в таком роде. Ну хватит про Лондон. Хороший город.

К вечеру мы были уже в Париже.

Парадные части Ленинграда и Парижа не похожи совершенно, и ленинградская, конечно, лучше. Но жилая часть старого Ленинграда попросту взята из Парижа. Такие же дома, такие же мансарды, разве что в Париже они иногда в три мансардных этажа, и решетчатых балконов больше. Но в общем впечатление очень близкое. Какие-то места просто вызывают впечатление Кировского, Майорова, а одно почему-то очень походило на Пушкинскую улицу.

Почему облупившаяся стена в Европе выглядит так, что хочется нарисовать, а в Америке — отвернуться? На обратном пути особенно жуток был контраст, когда мы прилетели за восемь часов в Бостон (называемый почти европейским городом), и взгляд сразу хочет уйти от разбросанных в заводском беспорядке бетонных конструкций, зданий из темного кирпича, похожих на старые заводы за Витебским вокзалом. Надо всем этим — заборно-зеленые металлические мосты дорог, грязно-серо-коричневые небоскребы, витрины, похожие на смесь советских с неумелым купечеством, и бродят по аэродрому, и ездят в слоноподобных машинах по улицам вежливые, удивительно доброжелательные, терпимые и потрясающе — нигде в мире больше такого нет — довольные своей жизнью американцы. Бог с ними, им хорошо, только хорошо бы я был в другом месте.

В письмах отсюда врут все. Те, кто снимается на фоне кадиллаков (очень, кстати, нынче дешевых, потому что жрут бензин безбожно) или описывают прекрасную работу, — врут, потому что не упоминают за нежеланием или отсутствием терминов о том, чего не хватает. Те, кто пытается писать про это, — я в том числе — врут в результате, потому что для каждого, кто побыл здесь несколько дней, короткие впечатления от Европы становятся неправдоподобными и начинает казаться, что вся тоска — от ностальгии по России. Но как только в Европе оказываешься, так выясняется, что это не так, что в ней тоже дома, не знаю, во всей ли, но в той, которую видел во всяком случае.

В общем, перебраться бы...

Ваш Б.

(Окончание в следующем номере.)

## ШЕСТЬ УПИТАННОСТЕЙ ШАБЛОНА

"Звучали и пели пять коротких строк — волшебство звукозаписи. И моя душа отвечала стиху". Это сказано о поэзии В.Хлебникова учеником художественной школы Виленом Барским. Сегодня ему 50, а тогда было лет 15. Знакомство с Хлебниковым стало для него первым "родным звуком", как говорит сам художник, первым импульсом к творчеству.

Но до аналогий с поэзией Хлебникова пока далеко. Ему еще предстоит закончить школу, получить в Киевском художественном институте диплом (1957 г.), пережить шок от обыска КГБ (1959 г.), испытать смешанное чувство удовлетворения и отчаяния от погромной статьи в местной газете, поскольку погром в советской печати часто оборачивается медалью, пройти определенную эволюцию творчества.

Даже работы начала 60-х годов, как ни мало они отвечали официальной советской линии искусства, все же вполне органичны для линии искусства мирового. "Вечер" с его багровыми, красно-коричневыми, доходящими до черноты тонами, или "Ребенок и старуха", где художник, деформируя человеческие лица, все же не порывает с изобразительностью, — вполне традиционны для живописи 20-го века.

Но с течением времени художник все дальше и дальше уходит от фигуративной и сюжетной живописи. И в конце 60-х годов появляются "Симметричные структуры" — пятиметровые монохромные щиты. Они, по мысли художника, должны заполнять стены пустого помещения, то есть Барский выступает здесь в роли архитектора, создающего интерьер. Интерьер этот "мягок", "дышит". А симметрия придает ему уравновешенность и ощущение прочности, хотя "строительный материал" Барского противопоставлен прочным и твердым камню, бетону, стеклу.

Однако вскоре предметный мир снова появляется в его работах: ладони, стрелки графиков, фотография женской ноги, женского лица, женская фигура, прочерченная пунктиром, еще ладонь, — сплошь черная или намеченная контуром. Он вовсе не стремится заявить о себе как о прекрасном рисовальщике. Нет, эти контуры примитивны, эти графики — одни из тысяч им подобных, эти фрагменты фотографий — обыденны. Возникает мысль о шаблоне.

Одна из его вещей так и названа: "Шесть упитанностей шаблона японской манекенщицы". Напрасно зритель будет искать здесь изображения прелестных японок. Не красота японской женщины сюжет этой работы. Сюжет ее — стандарт. Стандарт жизни, стандарт вкуса, восприятия, способа мыслить. И хотя в "упитанностях" есть различия, а именно — шесть, — все они укладываются в определенный "гост". График это подчеркивает. Не следует, однако, преувеличивать мотив обличения, хотя и он, конечно, присутствует. Для обличения, видимо, необходима большая горячность, а у Барского больше злой и точной математики, констатирующей стандарт и шаблон нашей жизни.

Математически точен и другой лист — "Проверено". Контуры плотно прижатой печати образуют справа и слева два профиля. Кто это? И почему увенчаны они руками-коронами с пронумерованными пальцами-зубцами? Нехитрая эта символика расшифровывается довольно легко. Лица безлики, однако классически правильны. Это лица "унифицированного человека массы", — поясняет сам художник. Коронованный стандарт. Прелесть классического лица утрачена, превращена в штамп.

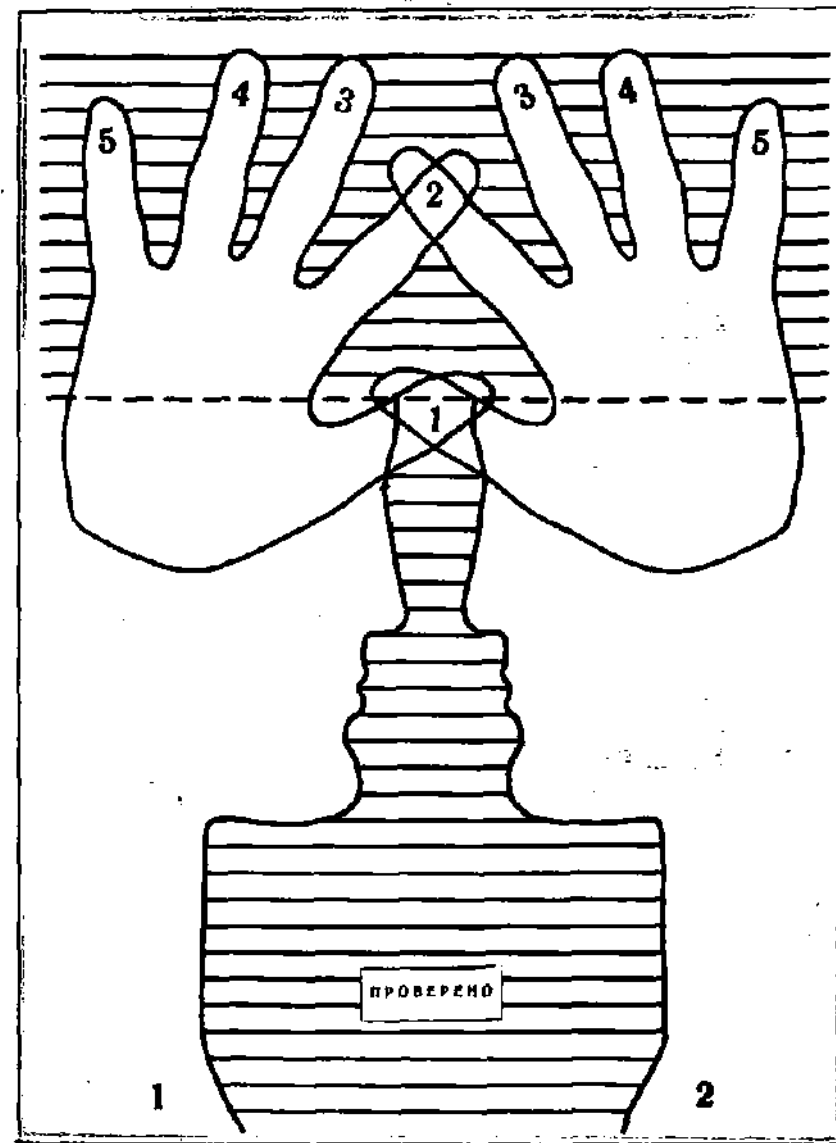
Однако рациональный разбор этой вещи все-таки недостаточен. Есть в ней и иррациональное начало, некий ужас безвыходности. Это ощущение безвыходности возникает не только от лобовой метафоры "проверено", но и от симметрии, уравновешенности, законченности стандарта.

В последние годы слово совершенно вытеснило изображение из работ Барского. Сейчас он занимается только текстами. Два из них мы воспроизводим в "Вернисаже".

"Нирвана" — работу можно воспринимать как чисто графическую — некое клеймо; можно увидеть в ней некий знак — просматривается свастика — древнеиндийский символ плодородия, жизни. Наконец, слова "нирвана" и "ничто", читаемые на этом листе, в конечном счете могут быть сближены по своей семантике — и это еще одна ступень восприятия.

Хлебниковское "волшебство звукозаписи" Барский пытается воспроизвести с помощью графики. (Это, кстати, один из уроков Хлебникова, воспринятый художником. Поэт усматривал в начертании букв-символическое значение.) Графика вносит новый неожиданный элемент в понятие "нирвана" — элемент не отрешенности, а заинтересованности.

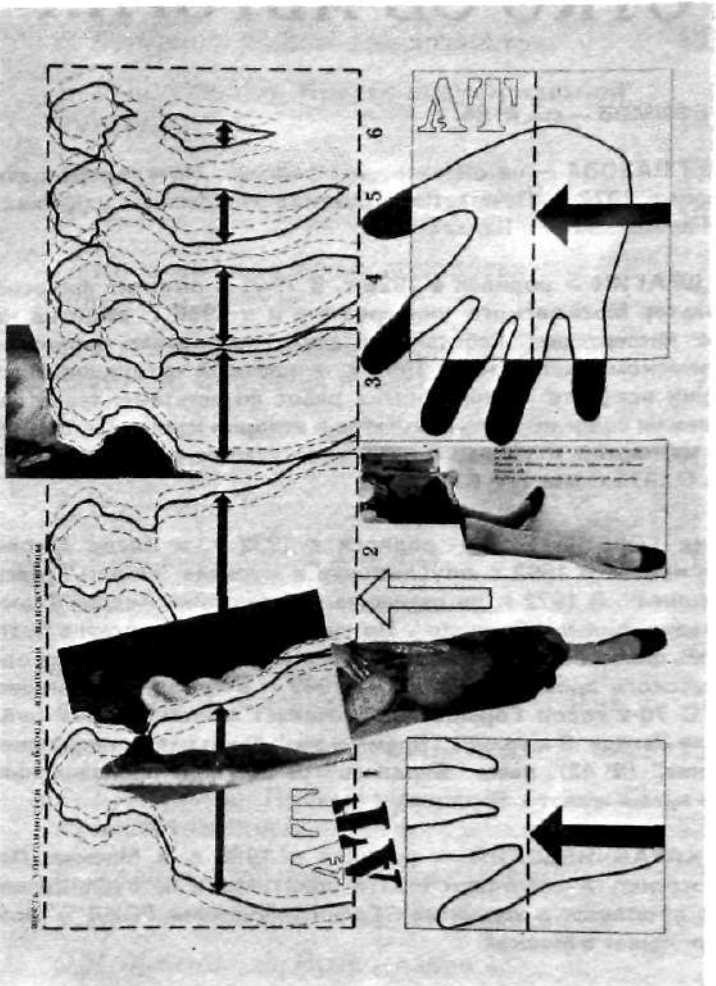
Другая работа "Штокхаузен — Бетховен" — любопытный графический силлогизм. Имена обоих композиторов сопровождаются скобками, в коих надлежит стоять датам жизни и смерти. Штокхаузен жив, Бетховен мертв, то есть Штокхаузен есть, Бетховена нет. Читатель, глядя на воспроизведение, сможет сам продолжить ход рассуждений, заканчивающийся словом "есть" у имени Бетховена. "Есть", — поскольку творчество Бетховена существует как культурный факт, проверенный временем.



Проверено. 1969



Шесть упитанностей  
шаблона японской  
манекенщицы.  
1976



ШТОКХАУЗЕН — БЕТХОВЕН

ШТОКХАУЗЕН	( 1928 —	) — ЕСТЬ
БЕТХОВЕН	( 1770—1827	) — НЕТ
	( 1928—НЕТ	)
	( 1770—1827	)
	( ЕСТЬ-НЕТ	)
	( ЕСТЬ-ЕСТЬ	)
ШТОКХАУЗЕН	( ЕСТЬ/НЕТ	) — ?
БЕТХОВЕН	( ЕСТЬ/ЕСТЬ	) — ЕСТЬ

Штокхаузен — Бетховен.  
1976-1980

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Игорь ЕФИМОВ — см. № 64.

Марина ГЛАЗОВА — по образованию филолог. Поэт и переводчик. В эмиграции с 1972 г. Печатается в русских зарубежных изданиях. В настоящее время живет в Канаде.

Борис ШРАГИН — родился в 1926 г. В 1949 г. окончил философский факультет Московского университета и в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал учителем, преподавал философию в педагогическом институте, с 1958 г. — научный сотрудник Института истории искусств. Автор многих работ по эстетике, теоретическим проблемам современного искусства и истории культуры. В 1968 г. исключен из партии и уволен с работы за участие в правозащитном движении. С 1974 г. живет в США.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН — родился в 1932 г. в Киеве. Окончил сценарные курсы. В 1962 г. опубликовал в журнале "Юность" рассказ "Дом с башней". В 1972 г. по сценарию Горенштейна Андрей Тарковский поставил фильм "Солярис". По сценариям Горенштейна поставлено восемь фильмов, в том числе три телевизионных. Однако ни одного прозаического произведения после 1962 г. в России опубликовано не было. С 70-х годов Горенштейн начинает систематически публиковаться на Западе. В журнале "Время и мы" были напечатаны повесть "Искушение" (№ 42), пьеса "Бердичев" (№ 50) и др. произведения. В настоящее время живет в Берлине.

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ — родился в 1938 г. в Москве. Поэт, прозаик, эссеист. В советской печати практически не публиковался. На Западе печатается в журналах "Грани", "Вестник РСХД", "Время и мы" и др. Живет в Москве.

Раиса БЕРГ — см. № 64.

i

## С H A L I D Z E P U B L I C A T I O N S

### Н О В Ы Е К Н И Г И

<i>З. Фрейд.</i> Толкование сновидений.	15.00
<i>С. Булгаков.</i> Философия хозяйства.	15.00
<i>Б. Вышеславцев.</i> Кризис индустриальной культуры.	15.00
<i>Трубецкой.</i> Энциклопедия права.	15.00
<i>Ф. Ницше.</i> Так говорил Заратустра.	15.00
<i>Л. Копелев.</i> На крутых поворотах короткой дороги.	7.00
<i>Ю. Алешковский.</i> Синенький скромный платочек. Скорбная повесть.	7.00
<i>И. Кичанов-Лифшиц.</i> Прости меня за то, что я живу.	10.00
<i>С. Киркегор.</i> Наслаждение и долг.	15.00
<i>С. Киркегор.</i> Страх и трепет.	6.00
<i>Е. Гнедин.</i> Выход из лабиринта.	8.00
<i>А. Дюма.</i> Ожерелье королевы.	9.50
<i>Р. Орлова.</i> Последний год жизни Герцена.	6.00
<i>Л. Шатуновская.</i> Жизнь в Кремле.	15.00
<i>В. Буковский.</i> Письма русского путешественника.	12.00
<i>В. Чалидзе.</i> Победитель коммунизма.	7.00
<i>Б. Рассел.</i> История западной философии.	30.00
<i>О.И. Мейендорф.</i> Православие в современном мире.	12.00
<i>Г. Федотов.</i> Россия и свобода.	15.00
<i>Ф. Яноух.</i> Китай далекий и близкий.	7.00
Грузинские блюда.	6.00

### Книги других издательств

<i>Л. Троцкий.</i> Моя жизнь. Моя жизнь.	20.00
<i>Л. Троцкий.</i> История русской революции.	30.00
<i>Добавьте 50 с за пересылку каждой книги</i>	

505 EIGHTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10018

*УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:*

Стоимость годовой подписки в США — 39 долларов; для библиотек — 44 доллара; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов; стоимость пересылки — 4 доллара. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции: "Time and We" 475 Fifth ave, suite 511 a, New York, N.Y. 10017.

Стоимость подписки в Израиле — 650 шкалим; для библиотек — 680 шкалим; с целью экономической поддержки журнала — 720 шкалим; стоимость пересылки — 50 шкалим. Заказы, и чеки высылать на адрес израильского отделения журнала "Время и мы": Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав.отделением Дора Штурман-Тиктина).

Стоимость подписки во Франции — 240 франц. франков; для библиотек — 280 франков; с целью экономической поддержки журнала — 300 франков; стоимость пересылки — 20 франков. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также во французском отделении журнала "Время и мы".

Стоимость подписки в Германии — 89 нем. марок; для библиотек — 99 марок; с целью экономической поддержки журнала — 110 марок; стоимость пересылки — 10 марок. Подписка осуществляется по адресу главной редакции в США, а также у представителя журнала в Германии.

Во всех других странах подписка осуществляется по адресу главной редакции, а также у представителей редакции.

Стоимость подписки авиапочтой в США — 78 долларов, во Франции — 400 франков, в Германии — 178 немецких марок.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия .....

Имя .....

Адрес .....

Подписной период .....

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы" на ..... год. Высылать с номера .....

Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись .....

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We"

475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.  
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE: 475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A,  
NEW YORK 10017, Tel. (212) 684-3014

**Художественная редакция и оформление  
Альфреда Тульчинского  
(Jacet and design by Alfred Tulchinsky)**

OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2010 г.  
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки: фотозпод  
Альфреда Тульчинского из серии "Всюду жизнь"**

